



А. И. КУПРИНЪ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНІЙ

331/167

ТОМЪ
IX
КНИГА
1-2

ИЗДАНИЕ
Т-ВА А. Ф.
МАРКСЪ
ПЕТРОГРАДЪ

Гг. подписчики 1915 г., желающие, кроме „НИВЫ“
получить еще 21 книгу

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ А. И. КУПРИНА

(приложенныя къ „Нивѣ“ въ 1912 г.)

доплачиваютъ 4 руб. 50 коп. съ пересылкой въ
Европ. Россіи.

Содержаніе этихъ книгъ, составляющихъ
8 томовъ, слѣдующее:

I томъ. Молохъ. Конокрады. Болото. На покоѣ. Въ циркѣ. Лѣсная глушь.
Жидовка. Рѣка жизни. Путаница.

II томъ. Поединокъ. Дознаніе. Ночлеги.

III томъ. Суламиѣ. Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ. Гамбринусъ. Мелюзга.
Ночная сѣна. Походъ. Одиночество. Свадьба. Трусъ. Бредъ. Святая любовь.

IV томъ. Изумрудъ. На переломѣ (Кадеты). Прапорщикъ армейскій. Съ
улицы. Корь. Мирное счастье. На глухарей. Какъ я былъ актеромъ.

V томъ. Гранатовый браслетъ. Листригоны. Олеся. Морская болѣзнь. Обида.
Осенніе цвѣты. Къ славѣ. Безъ заглавія. Ученикъ.

VI томъ. Полубогъ. Леночка. Лунной ночью. Блаженный. Славянская душа.
Искушеніе. Въ трамваѣ. Сказка. Чужой хлѣбъ. Брегетъ. Марианна. Капризъ.
Кляча. Страшная минута. Картина. Мясо. Печальный разговоръ (о Комарѣ,
Слонѣ и Верблюдѣ). Черный туманъ. Клоуны. Сентиментальный романъ. На-
талья Давыдовна. По-семейному. Попрыгунья-стрекоза. Королевскій паркъ. Въ
клубкѣ звѣря. Гости. Демиръ-Кая. Счастье. Сильнѣ смерти. Искусство. Allez!
Вечерній гость. Собачье счастье. Убийца. Брильянты. Вѣлыя ночи. Пустыя
дачи. Столѣтникъ. Долли. Исполины. Начальница тяги. Телеграфистъ. Въ зѣ-
ринцѣ. Надъ землей.

VII томъ. Пародіи. Предсказанія Нострадама на 2000 годъ. Механическое
правосудіе. Последнее слово. Мой паспортъ. Кусть сирени. Бѣлая акація. Ма-
рабу. О томъ, какъ профессоръ Леопарди ставилъ мнѣ голосъ. О Кнутѣ Гам-
сунѣ. О Чеховѣ. Забѣтка о Джеке Лондонѣ. Памяти А. И. Богдановича. Па-
мяти Чехова. Памяти Н. Г. Михайловскаго (Гарина). Редіардъ Киплингъ. Умеръ
смѣхъ. О томъ, какъ я видѣлъ Толстого на пароходѣ „Св. Николай“. Наше
оправданіе. Фараоново племя. Немножко Финляндіи. Вѣлый пудель. Лавры.
О пуделѣ. Чудесный докторъ. Слонъ. Палачъ. Въ нѣдрахъ земли. Бѣдный
принцъ. На рѣкѣ. Барбосъ и Жулька. Бонза. Таперъ.

VIII томъ. Студентъ-драгунъ. Диѣпровскій мореходъ. „Будущая Патти“.
Лжесвидѣтель. Иѣвчій. Пожарный. Квартирная хозяйка. Босякъ. Воръ. Ху-
дожникъ. „Стрѣлки“. Заяцъ. Докторъ. „Ханжушка“. Бенефициантъ. „Постав-
щикъ карточекъ“. Пеихея. Первый встрѣчный. Аль-Исса. Друзья. Забытый
поцѣлуй. Безуміе. Странный случай. Ужасъ. Нарциссъ. Негласная ревизія.
Духъ вѣка. Оборотень. Кровать. Первенецъ. Милліонеръ. Дѣтскій садъ. Чары.
Пиратка. Сны. Локонъ. Погибшая сила. По заказу. Легенда. Самоубійство.
Пасхальныя яйца. Травка. Зачарованный глухаръ. Путешественники. На разъ-
ѣздѣ. Въ Крыму. Яма (1-я часть).

Цѣна для подписчиковъ „НИВЫ“ 1915 г. 4 р. 50 к. (съ
пересылкою въ Европ. Россіи).

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ

А. И. КУПРИНА.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.



Приложеніе къ журналу „Низа“ на 1915 г.

ПЕТРОГРАДЪ.
Изданіе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

1915.



Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Марксъ, Измайл. просп., № 39.

Я М А.

Повѣсть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

До сихъ поръ еще, спусти десять лѣтъ, вспоминаютъ бывшіе обитатели Ямковъ тотъ обильный несчастными, грязными, кровавыми событіями годъ, который начался рядомъ пустиковыхъ маленькихъ скандаловъ, а кончился тѣмъ, что администрація въ одинъ прекрасный день взяла и разорила до тла старинное, насиженное, ею же созданное гнѣздо узаконенной проституціи, разметавъ его остатки по больницамъ, тюрьмамъ и улицамъ большого города. До сихъ поръ еще немногія, оставшіяся въ живыхъ, прежнія, въ концѣ одряхлѣвшія хозяйки и жирныя, хриплыя, какъ состарѣвшіеся монсы, бывшія экономки вспоминаютъ объ этой общей гибели со скорбью, ужасомъ и глупымъ недоумѣніемъ.

Точно картофель изъ мѣшка посыпались драки, грабежи, болѣзни, убійства и самоубійства, и, казалось, никто въ этомъ не былъ виновенъ. Просто-напросто всѣ злочкиненія сами собою стали учащаться, наворачиваться другъ на друга, шириться и расти, подобно тому, какъ маленькій снѣжный комочекъ, толкаемый ногами ребятъ, самъ собою, отъ прилипающаго къ нему талаго снѣга становится все больше,

больше, вырастаетъ выше человѣческаго роста и наконецъ, однимъ послѣднимъ небольшимъ усиленіемъ свергается въ оврагъ и скатывается внизъ огромной лавиной. Старыя хозяйки и экономки, конечно, никогда не слышали о рокѣ, но внутренне, душою, онѣ чувствовали его таинственное присутствіе въ неотвратимыхъ бѣдахъ того ужаснаго года.

И, правда, повсюду въ жизни, гдѣ люди связаны общими интересами, кровью происхожденія или выгодами профессіи въ тѣсныя, обособленныя группы,—тамъ непремѣнно наблюдается этотъ таинственный законъ внезапнаго накопленія, нагроможденія событій, ихъ эпидемичность, ихъ странная преемственность и связность, ихъ непонятная длительность. Это бываетъ, какъ давно замѣтила народная мудрость, въ отдѣльныхъ семьяхъ, гдѣ болѣзнь или смерть вдругъ нападаетъ на близкихъ неотвратимымъ загадочнымъ чередомъ. „Бѣда одна не ходитъ“. „Пришла бѣда—отвори ворота“. Это замѣчается также въ монастыряхъ, банкахъ, департаментахъ, полкахъ, учебныхъ заведенійхъ и другихъ общественныхъ учрежденійхъ, гдѣ, подолгу не измѣняясь, чуть не десятками лѣтъ жизнь течетъ ровно, подобно болотистой рѣчкѣ, и вдругъ, послѣ какого-нибудь совсѣмъ незначительнаго случая начинаются переводы, перемѣщенія, исключенія изъ службы проигрыши, болѣзни. Члены общества, точно сговорившись, умираютъ, сходятъ съ ума, проворываются, стрѣляются или вѣшаются, освобождается вакансія за вакансіей, повышенія слѣдуютъ за повышеніями, вливаются новые элементы, и, смотришь, черезъ два года нѣтъ на мѣстѣ никого изъ прежнихъ людей; все новое, если только учрежденіе не распалось окончательно, не расплодилось вкось. И не та ли же самая удивительная судьба постигаетъ громадныя общественныя, міровыя организаціи—города, государства, народы, страны и, почему знать, даже, можетъ-быть, цѣлые планетные міры?

Нѣчто, подобное этому неистовому року, пронеслось

и надъ Ямской слободой, приведи ее къ быстрой и скандальной гибели. Теперь вмѣсто буйныхъ Ямковъ осталась мирная будничная окраина, въ которой живутъ огородники, кошатники, татары, свиноводы и мясники съ ближнихъ боенъ. По ходатайству этихъ почтенныхъ людей даже самое названіе Ямской слободы, какъ позорящее обывателей своимъ прошлымъ, переименовано въ Голубевку, въ честь купца Голубева, владѣльца колониальнаго и гастрономическаго магазина, ктитора мѣстной церкви.

Первые подземные толчки этой катастрофы начались въ разгарѣ лѣта, во время ежегодной лѣтней ярмарки, которая въ этомъ году была сказочно-блестяща. Ея необычайному успѣху, многолюдству и огромности заключенныхъ на ней сдѣлокъ способствовали многія обстоятельство: постройка въ окрестностяхъ трехъ новыхъ сахарныхъ заводовъ и необыкновенно обильный урожай хлѣба и въ особенности свекловицы; открытіе работъ по проведенію электрическаго трамвая и канализаціи; сооруженіе новой дороги на разстояніе въ 750 верстъ; главное же—строительная горячка, охватившая весь городъ, всѣ банки и другія финансовыя учрежденія и всѣхъ домовладѣльцевъ. Кирпичные заводы росли на окраинѣ города, какъ грибы. Открылась грандіозная сельскохозяйственная выставка. Возникли два новыхъ пароходства, и они, вмѣстѣ со старинными, прежними, неистово конкурировали другъ съ другомъ, перевозя грузы и богомольцевъ. Въ конкуренціи они дошли до того, что понизили цѣны за рейсы съ семидесяти пяти копеекъ для третьяго класса до пяти, трехъ, двухъ и, наконецъ, одной копейки. Наконецъ, изнемогая въ непосильной борьбѣ, одно изъ пароходныхъ обществъ предложило всѣмъ пассажирамъ третьяго класса даровой проѣздъ. Тогда его конкурентъ тотчасъ же къ даровому проѣзду присовокупилъ еще полбулки бѣлаго хлѣба. По самымъ большимъ и значительнымъ предпріятіемъ этого года было оборудованіе об-

пирнаго рѣчнаго порта, привлекшее къ себѣ сотни тысячъ рабочихъ и стоимшее Богъ знаетъ какихъ денегъ.

Надо еще прибавить, что городъ въ это время справилъ тысячелѣтнюю годовщину своей знаменитой лавры, наиболѣе чтимой и наиболѣе богатой среди всѣхъ монастырей Россіи. Со всѣхъ концовъ Россіи, изъ Сибири, отъ береговъ Ледовитаго океана, съ крайняго юга отъ Чернаго и Каспійскаго морей, собрались туда безчисленные богомольцы на поклоненіе мѣстнымъ святынямъ, лаврскимъ угодникамъ, почивающимъ глубоко подъ землею, въ известковыхъ пещерахъ. Достаточно только сказать, что монастырь давалъ пріютъ и кое-какую пищу сорока тысячамъ человѣкъ ежедневно, а тѣ, которымъ не хватало мѣста, лежали по ночамъ вповалку, какъ дрова, на обширныхъ дворахъ и улицахъ лавры.

Это было какос-то сказочное лѣто. Населеніе города увеличилось чуть ли не втрое всякимъ пришлымъ народомъ. Каменщики, плотники, маляры, инженеры, техники, иностранцы, земледѣльцы, маклеры, темные дѣльцы, рѣчные моряки, праздные бездѣльники, туристы, воры, шулеры — всѣ они переполнили городъ, и ни въ одной, самой грязной сомнительной гостиницѣ не было свободнаго номера. За квартиры платились бѣшенныя цѣны. Биржа играла широко, какъ никогда ни до ни послѣ этого лѣта. Деньги милліонами такъ и текли ручьями изъ однихъ рукъ въ другія, а изъ этихъ въ третьи. Создавались въ одинъ часъ колоссальныя богатства, но зато многія прежнія фирмы лопались, и вчерашніе богачи обращались въ нищихъ. Самые простые рабочіе купались и грѣлись въ этомъ золотомъ потокѣ. Торговые грузчики, ломовики, дрогали, катали, подносчики кирпичей и землекопы до сихъ поръ еще помнятъ, какія суточные деньги они зарабатывали въ это сумасшедшее лѣто. Любой босыкъ при разгрузкѣ баржъ съ арбузами получалъ не менѣе четырехъ-пяти рублей

въ сутки. И вся эта шумная чужая шайка, одурманенная легкими деньгами, опьяненная чувственной красотой стариннаго прелестнаго города, очарованная сладостной теплотой южныхъ ночей, напоенныхъ вкрадчивымъ ароматомъ бѣлой акаціи, — эти сотни тысячъ ненасытныхъ разгульныхъ звѣрей во образѣ мужчинъ, всей своей массовой волей, кричали: „женщину!“.

Въ одинъ мѣсяць возникло въ городѣ нѣсколько десятковъ новыхъ увеселительныхъ заведеній—шикарныхъ Тиволи, Шато-де-Флеровъ, Олимпій, Альказаровъ и т. д. съ хоромъ и съ опереткой, много ресторановъ и портерныхъ, съ лѣтними садиками, и простыхъ кабачковъ—вблизи строящагося порта. На каждомъ перекресткѣ открывались ежедневно „фіалочныя заведенія“,—маленькіе досчатые балаганчики, въ каждомъ изъ которыхъ, подъ видомъ продажи кваса, торговали собою тутъ же рядомъ за перегородкой изъ шелевокъ по двѣ, по три старыхъ дѣвки, и многимъ матерямъ и отцамъ тяжело и памятно это дѣло по унижительнымъ болѣзнямъ ихъ сыновей, гимназистовъ и кадетовъ. Для прѣзжихъ случайныхъ гостей потребовалась прислуга, и тысячи крестьянскихъ дѣвушекъ потянулись изъ окрестныхъ деревень въ городъ. Неизбѣжно, что спросъ на проституцію сталъ необыкновенно высокимъ. И вотъ, изъ Варшавы, изъ Лодзи, изъ Одессы, изъ Москвы и даже изъ Петербурга, даже изъ-за границы наѣхало безчисленное множество шикарныхъ иностранокъ, кокотокъ русскаго издѣлія и самыхъ обыкновенныхъ рядовыхъ проституттокъ. Властно сказалось развращающее вліяніе сотенъ милліоновъ шальныхъ денегъ. Этотъ водопадъ золота какъ будто захлестнулъ, завертѣлъ и потопилъ въ себѣ весь городъ. Число кражъ и убійствъ возросло съ поражающей быстротой. Полиція, собранная въ усиленныхъ размѣрахъ, терялась и сбивалась съ ногъ. Но и то нужно сказать, что, обкормившись обильными взятками, она походила на сытаго

удава, поневоле соннаго и лѣниваго. Людей убивали ни за что ни про что, такъ себе. Случалось, просто подходили среди бѣла дня гдѣ-нибудь на малолюдной улицѣ къ человѣку и спрашивали: „Какъ твои фамилія?“ — Ѳедоровъ. — „Ага, Ѳедоровъ? Такъ получай!“ — и распарывали ему животъ ножомъ. Такъ въ городѣ и прозвали этихъ шадуновъ „подкалывателями“, и были между ними имена, которыми какъ будто бы гордилась городская хроника: Полищуки, два брата (Митька и Дундасъ), Володѣка-Грекъ, Ѳедоръ Миллеръ, капитанъ Дмитріевъ, Сивохо, Добровольскій, Шпачекъ и многіе другіе.

И днемъ и ночью на главныхъ улицахъ ошалѣвшаго города стояла, двигалась и орала толпа, точно на пожарѣ. Почти невозможно было описать, что дѣлалось тогда на Ямкахъ. Несмотря на то, что хозяйки увеличили болѣе, чѣмъ вдвое составъ своихъ паціентокъ и втрое увеличили цѣны, эти бѣдныя обезумѣвшія дѣвушки не успѣвали удовлетворять требованіямъ пьяной шальной публики, швырявшей деньгами, какъ щелками. Случалось, что въ переполненной народомъ залѣ, гдѣ было тѣсно, какъ на базарѣ, каждую дѣвушку дожидалось по семи, восьми, иногда даже по десяти человѣкъ. Было, поистинѣ, какое-то сумасшедшее, пьяное, припадочное время.

Съ него-то и начались все злоключенія Ямковъ, приведшія ихъ къ гибели. А вмѣстѣ съ Ямками погибъ и знакомый намъ домъ толстой, старой, блѣдноглазой Анны Марковны.

II.

Пассажирскій поѣздъ весело бѣжалъ съ юга на сѣверъ, пересѣкая золотыя хлѣбныя поля и прекрасныя дубовыя рощи, съ грохотомъ проносясь по желѣзнымъ мостамъ надъ свѣтлыми рѣчками, оставляя послѣ себя крутящіеся клубы дыма.

Въ купѣ второго класса, даже при открытомъ окнѣ, стояла страшная духота и было жарко. Запахъ сѣрнаго дыма першилъ въ горлѣ. Качка и жара совѣмъ утомили пассажировъ, кромѣ одного, веселаго, энергичнаго, подвижнаго еврея, прекрасно одѣтаго, услужливаго, общительнаго и разговорчиваго. Онъ ѣхалъ съ молодой женщиной, и сразу было видно, особенно по ней, что они молодожены: такъ часто ея лицо вспыхивало неожиданной краской при каждой, самой маленькой нѣжности мужа. И когда она поднимала свои рѣсницы, чтобы взглянуть на него, то глаза ея сіяли, какъ звѣзды, и становились влажными. И лицо ея было такъ прекрасно, какъ бываютъ только прекрасны лица у молодыхъ влюбленныхъ еврейскихъ дѣвушекъ, — все нѣжно-розовое, съ розовыми губами, прелестно-невинно дчерченными, и съ глазами такими черными, что на нихъ нельзя было различить зрачка отъ райка.

Не стѣсняясь присутствія трехъ постороннихъ людей, онъ поминутно расточалъ ласки, и, надо сказать, довольно грубыя, своей спутницѣ. Съ безцеремонностью обладателя, съ тѣмъ особеннымъ эгоизмомъ влюбленнаго, который какъ будто бы говоритъ всему міру: „посмотрите, какъ мы счастливы,—вѣдь это и васъ дѣластъ счастливыми, не правда ли?“ — онъ то гладилъ ее по ногѣ, которая упруго и рельефно выдѣлялась подъ платьемъ, то цинялъ ее за щеку, то щекоталъ ей шею своими жесткими черными, завитыми кверху усами... Но хотя онъ и сверкалъ отъ восторга, однако что-то хищное, опасливое, безпокойное мелькало въ его часто моргавшихъ глазахъ, въ подергиваніи верхней губы и въ жесткомъ рисункѣ его бритаго, выдвинувагося впередъ квадратнаго подбородка, съ едва замѣтнымъ углубомъ посрединѣ.

Противъ этой влюбленной парочки помѣщались трое пассажировъ: отставной генераль, сухенькій, опрятный старичокъ, нафиксатуаренный, съ начесанными напередъ ви-

сочками; толстый помѣщикъ, снявшій свой крахмальнѣй воротникъ и все-таки задыхавшійся отъ жары и поминутно вытиравшій мокрое лицо мокрымъ платкомъ, и молодой пѣхотный офицеръ. Безконечная разговорчивость Семена Яковлевича (молодой человѣкъ уже успѣлъ увѣдомить сосѣдей, что его зовутъ Семенъ Яковлевичъ Горизонтъ) немало утомляла и раздражала пассажировъ, точно жужжаніе мухи, которая въ знойный лѣтній день ритмически бьется объ оконное стекло закрытой душистой комнаты. Но онъ все-таки умѣлъ подымать настроеніе: показывалъ фокусы, рассказывалъ еврейскіе анекдоты, полные тонкаго, своеобразнаго юмора. Когда его жена уходила на платформу освѣжиться, онъ рассказывалъ такія вещи, отъ которыхъ генералъ расплывался въ блаженную улыбку, помѣщикъ ржалъ, колыхая черноземнымъ животомъ, а подпоручикъ, только годъ выпущенный изъ училища, безусый мальчикъ, едва сдерживая смѣхъ и любопытство, отворачивался въ сторону, чтобы сосѣди не видѣли, что онъ краснѣеть.

Жена ухаживала за Горизонтомъ съ трогательнымъ наивнымъ вниманіемъ: вытирала ему лицо платкомъ, обмахивала его вѣеромъ, поминутно поправляла ему галетку. И лицо его въ эти минуты становилось смѣшно-надменнымъ и глупо-самодовольнымъ.

— А позвольте узнать, — спросилъ, вѣжливо покашливая, сухенькій генералъ. — Позвольте узнать, почтеннѣйшій, чѣмъ вы изволите заниматься?

— Ахъ, Боже мой! — съ милой откровенностью возразилъ Семенъ Яковлевичъ. — Ну, чѣмъ можетъ заниматься въ наше время бѣдный еврей? Я себѣ немножко коммивояжеръ и комиссіонеръ. Въ настоящее время я далекъ отъ дѣла. Вы, хе! хе! хе! сами понимаете, господа. Медовый мѣсяць, — не краснѣй, Сарочка, — это вѣдь не по три раза въ годъ повторяется. Но потомъ мнѣ придется очень много

ѣздить и работать. Вотъ мы прїѣдемъ съ Сарочкой въ городъ, нанесемъ визиты ея родственникамъ, и потомъ опять въ путь. На первый вояжъ я думаю взять съ собой жену. Знаете, въ родѣ свадебнаго путешествія. Я представитель Сидриса и двухъ англійскихъ фирмъ. Не угодно ли поглядѣть: вотъ со мной образчики...

Онъ очень быстро досталъ изъ маленькаго, красиваго, желтой кожи чемодана нѣсколько длинныхъ картонныхъ складныхъ книжечекъ и съ ловкостью портного сталъ разворачивать ихъ, держа за одинъ конецъ, отчего створки ихъ быстро падали внизъ съ легкимъ трескомъ.

— Посмотрите, какіе прекрасные образцы: совсѣмъ не уступаютъ заграничнымъ. Обратите вниманіе. Вотъ, напримеръ, русское, а вотъ англійское трико, или вотъ кангаръ и шевіотъ. Сравните, пощупайте, и вы убѣдитесь, что русскіе образцы почти не уступаютъ заграничнымъ. А вѣдь это говоритъ о прогрессѣ, о ростѣ культуры. Такъ что совсѣмъ напрасно Европа считаетъ насъ, русскихъ, такими варварами .

— Итакъ, мы нанесемъ наши семейные визиты, посмотримъ ярмарку, побываемъ себѣ немножко въ Шато-де-Флеръ, погуляемъ, пофланируемъ, а потомъ на Волгу внизъ до Царицына, на Черное море, по всѣмъ курортамъ и опять къ себѣ на родину, въ Одессу.

— Прекрасное путешествіе, — сказалъ скромно подпоручикъ.

— Чтò и говорить, прекрасное, — согласился Семенъ Яковлевичъ, — но нѣтъ розы безъ шиповъ. Дѣло коммивояжера чрезвычайно трудное и требуетъ многихъ знаній, и не такъ знаній дѣла, какъ знаній, какъ бы это сказать... человѣческой души. Другой человѣкъ и не хочетъ дать заказа, а ты его долженъ уговорить, какъ слона, и до тѣхъ поръ уговариваешь, покамѣстъ онъ не почувствуетъ ясности и справедливости твоихъ словъ. Потому

что я беру съ только исключительно за дѣла совершенно чистыя, въ которыхъ нѣтъ никакихъ сомнѣній. Фальшиваго или дурного дѣла я не возьму, хотя бы мнѣ за это предлагали милліоны. Спросите гдѣ угодно, въ любомъ магазинѣ, который торгуетъ сукнами или подтяжками Глуаръ— я тоже представитель этой фирмы, — или пуговицами Геліосъ,—вы спросите только, кто такой Сементъ Яковлевичъ Горизонтъ, и вамъ каждый отвѣтитъ: „Сементъ Яковлевичъ,— это не человѣкъ, а золото, это человѣкъ безкорыстный, брилліантовой честности“. — И Горизонтъ уже разворачивалъ длинныя коробки съ патентованными подтяжками и показывалъ блестящія картонныя листики, усеянные правильными рядами разноцвѣтныхъ пуговицъ.

— Бываютъ большія непріятности, когда мѣсто избито, когда до тебя являлось много вояжеровъ. Тутъ ничего не сдѣлаешь: даже тебя совсѣмъ не слушаютъ, только махаютъ себѣ руками. Но это только для другихъ. Я — Горизонтъ! Я сумѣю его уговорить, какъ верблюда отъ господина Фальцфейна изъ Новой Асканіи. Но еще непріятнѣе бываетъ, когда сойдутся въ одномъ городѣ два конкурента по одному и тому же дѣлу. Да и еще хуже бываетъ, когда какой-нибудь шмаровозъ и самъ не сможетъ ничего и тебѣ же дѣло портить. Тутъ на всякія хитрости пускаешься: напоишь его пьянымъ или пустишь куда-нибудь по ложному слѣду. Нелегкое ремесло! Кромѣ того, у меня еще есть одно представительство — это вставные глаза и зубы. Но дѣло невыгодное. Я хочу его бросить. Да и всю эту работу подумываю оставить. Я принимаю, хорошо порхать, какъ мотылекъ, человѣку молодому, въ цвѣтѣ силъ, но разъ имѣешь жену, а можетъ-быть, и цѣлую семью...—онъ игриво похлопалъ по ногѣ женщину, отчего та сдѣлалась пунцовой и необыкновенно похорошѣла. — Вѣдь настъ, сврсевъ, Господь одарилъ за всѣ наши несчастья плодородіемъ... То хочется имѣть какое-нибудь собственное дѣло,

хочется, понимаете, усѣсться на мѣстѣ, чтобы была и своя хата, и своя мебель, и своя спальня, и кухни. Не такъ ли, ваше превосходительство?

— Да... да... э-э... Да, конечно, конечно, — снисходительно отозвался генераль.

— И вотъ я взялъ себѣ за Сарочкой небольшое приданое. Чтò значить небольшое приданое?! Такія деньги, на которыя Ротшильдъ и поглядѣть не захочетъ, въ моихъ рукахъ уже цѣлый капиталъ. Но надо сказать, что и у меня есть кое-какія сбереженія. Знакомыя фирмы дадутъ мнѣ кредитъ. Если Господь дастъ, мы таки-себѣ будемъ кушать кусокъ хлѣба съ масломъ и по субботамъ вкусную рыбу фишъ.

— Прекрасная рыба: щука по-жидовски!—сказалъ задыхающійся помѣщикъ.

— Мы откроемъ себѣ фирму „Горизонтъ и сыпъ“. Не правда ли, Сарочка, „и сыпъ“? И вы, надѣюсь, господа, удостоите меня своими почтенными заказами? Какъ увидите вывѣску „Горизонтъ и сыпъ“, то прямо и вспомните, что вы однажды ѣхали въ вагонѣ вмѣстѣ съ молодымъ человѣкомъ, который адеки оглушѣлъ отъ любви и отъ счастья.

— Об-язательно!—сказалъ помѣщикъ.

И Семень Яковлевичъ сейчасъ же обратился къ нему:

— Но я тоже занимаюсь и комиссіонерствомъ. Продать имѣніе, купить имѣніе, устроить вторую закладную—вы не найдете лучшаго специалиста, чѣмъ я, и притомъ самаго дешеваго. Могу вамъ служить, если понадобится,—и онъ протинулъ съ поклономъ помѣщику свою визитную карточку, а кстати уже вручилъ по карточкѣ и двумъ его сосѣдямъ.

Помѣщикъ полезъ въ боковой карманъ и тоже вытащилъ карточку.

— Иосифъ Ивановичъ Венгженевскій,—прочиталъ вслухъ Семень Яковлевичъ.—Очень, очень пріятно! Такъ вотъ, если я вамъ понадобится...

— Отчего же? Можетъ-быть... — сказалъ раздумчиво по-мѣщикъ. — Да чтò: можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ, насъ свелъ благопріятный случай! Я вѣдь какъ разъ ѣду въ К* насчетъ продажи одной лѣсной дачи. Такъ, пожалуй, вы того, навѣдайтесь ко мнѣ. Я всегда останавливаюсь въ Грандъ-отелѣ. Можетъ-быть, и сладимъ что-нибудь.

— О! Я уже почти увѣренъ, дражайшій Іосифъ Ивановичъ, — воскликнулъ радостный Горизонтъ и слегка кончиками пальцевъ потрепалъ осторожно по колѣнкѣ Венгжоновскаго. — Ужъ будьте покойны: если Горизонтъ за что-нибудь взялся, то вы будете благодарить, какъ родного отца, ни болѣе ни менѣе!

Черезъ полчаса Семенъ Яковлевичъ и безусый подпоручикъ стояли на площадкѣ вагона и курили.

— Вы часто, господинъ поручикъ, бываете въ К*? — спросилъ Горизонтъ.

— Представьте себѣ, только въ первый разъ. Нашъ полкъ стоитъ въ Чернобобѣ. Самъ я родомъ изъ Москвы.

— Ай, ай, ай! Какъ это вы такъ далеко забрались?

— Да, такъ ужъ пришлось. Не было другой вакансіи при выпускѣ.

— Да вѣдь Чернобобъ же — это дыра! Самый паскудный городишко во всей Подоліи.

— Правда, но ужъ такъ пришлось.

— Значить, теперь молодой господинъ офицеръ ѣдетъ въ К*, чтобы немножко себѣ развлечься?

— Да. Я думаю тамъ остановиться денька на два, на три. ѣду я, собственно, въ Москву. Получилъ двухмѣсячный отпускъ, но интересно было бы по дорогѣ поглядѣть городъ. Говорятъ, очень красивый.

— Охъ! Чтò вы мнѣ будете говорить? Замѣчательный городъ! Ну, совсѣмъ европейскій городъ. Если бы вы знали, какія улицы, электричество, трамваи, театры! А если бы вы знали, какіе кафе-шантаны! Вы сами себѣ пальчики

оближете. Непремѣнно, непремѣнно совѣтую вамъ, молодой человѣкъ, сходите въ Шато-де-Флеръ, въ Тиволи, а также проѣзжайте на островъ. Это что-нибудь особенное. Какія женщины, ка-ак-кія женщины!

Поручиѣъ покраснѣлъ, отвелъ глаза и спросилъ дрогнувшимъ голосомъ:

— Да, мнѣ приходилось слышать. Неужели такъ красивы?

— Ой! Накажи меня Богъ! Повѣрьте мнѣ, тамъ вовсе нѣтъ красивыхъ женщинъ.

— То-есть какъ это?

— А такъ: тамъ только однѣ красавицы. Вы понимаете, какое счастливое сочетаніе кровей: польская, малорусская и еврейская. Какъ я вамъ завидую, молодой человѣкъ, что вы свободный и одинокій. Въ свое время я таки-показалъ бы тамъ себя! И замѣчательнѣе всего, что необыкновенно страстныя женщины. Ну прямо какъ огонь! И знаете, что еще?—спросилъ онъ вдругъ многозначительнымъ шопотомъ.

— Что?!—испуганно спросилъ подпоручикъ.

— Замѣчательно то, что нигдѣ, ни въ Парижѣ ни въ Лондонѣ,—повѣрьте, это мнѣ рассказывали люди, которые видали весь бѣлый свѣтъ,—никогда нигдѣ такихъ утонченныхъ способовъ любви, какъ въ этомъ городѣ, вы не встрѣтите. Это что-нибудь особенное, какъ говорятъ наши еврейчики. Такія выдумываютъ штуки, которыхъ никакое воображеніе не можетъ себѣ представить. Съ ума можно сойти!

— Да неужели?—тихо проговорилъ подпоручикъ, у котораго захлестнуло дыханіе.

— Да пакажи меня Богъ! А впрочемъ, позвольте, молодой человѣкъ! Вы сами понимаете. Я былъ холостой, и, конечно, понимаете, всякій человѣкъ грѣшнень... Теперь уже, конечно, не то. Записался въ инвалиды. Но отъ прежнихъ дней у меня осталась замѣчательная коллекція. По-

дождите, я вамъ сейчасъ покажу ее. Только, пожалуйста, смотрите осторожнѣе.

Горизонтъ боязливо оглянулся направо и направо и извлекъ изъ кармана узенькую длинную сафьяновую коробочку, въ родѣ тѣхъ, въ которыхъ обыкновенно хранятся игральныя карты, и протянулъ ее подпоручику.

— Вотъ, поглядите. Только, прошу, осторожнѣе.

Подпоручикъ принялся перебирать одну за другой карточки простой фотографіи и цвѣтной, на которыхъ во всевозможныхъ видахъ изображалась въ самыхъ скотскихъ образахъ, въ самыхъ неправдоподобныхъ положеніяхъ та внѣшняя сторона любви, которая иногда дѣлаетъ человѣка неизмѣримо ниже и подлѣе павіана. Горизонтъ заглядывалъ ему черезъ плечо, подталкивалъ локтемъ и шепталъ:

— Скажите, развѣ это не шикъ? Это же настоящій парижскій и вѣнскій шикъ!

Подпоручикъ пересмотрѣлъ всю коллекцію отъ начала до конца. Когда онъ возвращалъ ящичекъ обратно, то рука у него дрожала, виски и лобъ были влажны, глаза помутнѣли, и по щекамъ разлился мраморно-пестрый румянецъ.

— А знаете что? — вдругъ воскликнулъ весело Горизонтъ.—Мнѣ все равно: я человѣкъ закабаленный. Я, какъ говорили въ старину, сжегъ свои корабли... сжегъ все, чему поклонялся. Я уже давно искалъ случая, чтобы сбыть кому-нибудь эти карточки. За цѣной я не особенно гонюся. Я возьму только половину того, что онѣ мнѣ самому стоили. Не желаете ли приобрести, господинъ офицеръ?

— Что же... Я, то-есть... Почему же?... Пожалуй...

— И прекрасно! По случаю такого пріятнаго знакомства я возьму по пятьдесятъ копеекъ за штуку. Что, дорого? Ну, нехай, Богъ съ вами! Вижу, вы человѣкъ дорожный, не хочу васъ грабить: такъ и быть, по тридцать. Что? Тоже не дешево? Ну, по рукамъ! Двадцать пять копеекъ штука. Ой! Какой вы неговорчивый! По двадцать! Потому

сами меня будете благодарить! И потомъ знаете что? Я когда приѣзжаю въ К., то всегда останавливаюсь въ гостиницѣ „Эрмитажъ“. Вы меня тамъ очень просто можете застать или рано утречкомъ, или часовъ около восьми вечера. У меня есть масса знакомыхъ прехорошенькихъ дамочекъ. Такъ я васъ познакомлю. И понимаете, не за деньги. О, нѣтъ. Просто имъ пріятно и весело провести время съ молодымъ, здоровымъ, красивымъ мужчиной, въ родѣ васъ. Денегъ не надо никакихъ абсолютно. Да что тамъ! Онѣ сами охотно заплатятъ за вино, за бутылку шампанскаго. Такъ помните же: „Эрмитажъ“, Горизонтъ. А если не это, то все равно помните!.. Можетъ-быть, я вамъ буду полезенъ. А карточки—это такой товаръ, такой товаръ, что онъ никогда у васъ не залежится. Любители дають по три рубля за экземпляръ. Ну, это, конечно, люди богатые, старички. И потомъ, вы знаете,—Горизонтъ нагнулся къ самому уху офицера, прищурилъ одинъ глазъ и произнесъ лукавымъ шопотомъ:—знаете, многія дамы обожаютъ эти карточки. Вѣдь вы человѣкъ молодой, красивый: сколько у васъ еще будетъ романовъ!

Получивъ деньги и тщательно пересчитавъ ихъ, Горизонтъ еще имѣлъ нахальство протянуть и пожать руку подпоручику, который не смѣлъ на него поднять глазъ, и оставивъ его на площадкѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, вернулся въ коридоръ вагона.

Это былъ необыкновенно общительный человѣкъ. По дорогѣ къ своему купѣ онъ остановился около маленькой прелестной трехлѣтней дѣвочки, съ которой онъ давно уже издали заигрывалъ и строилъ ей всевозможныя смѣшныя гримасы. Онъ опустился передъ ней на корточки, сталъ ей дѣлать козу и сюсюкающимъ голосомъ разспрашивать:

— А сто, куда же балисня ѣдетъ? Ой, ой, ой! Такая большая! ѣдетъ одна, безъ мамы? Сама себѣ купила би-

леть и ѣдетъ одна? Ай! Какая нехолодая дѣвочка. А гдѣ же у дѣвочки мама?

Въ это время изъ купѣ показалась высокая, красивая, самоувѣренная женщина и сказала спокойно:

— Отстаньте отъ ребенка. Чтò за гадость привязываться къ чужимъ дѣтямъ!

Горизонтъ вскочилъ на ноги и засуетился:

— Мадамъ! Я не могъ удержаться... Такой чудный, такой роскошный и шикарный ребенокъ! Настоящій купидонъ! Поймите, мадамъ, я самъ отецъ, у меня у самого дѣти... Я не могъ удержаться отъ восторга!..

Но дама повернулась къ нему спиной, взяла дѣвочку за руку и пошла съ ней въ купѣ, оставивъ Горизонта расшаркиваться и бормотать комплименты и извиненія.

Нѣсколько разъ въ продолженіе сутокъ Горизонтъ заходилъ въ третій классъ, въ два вагона, раздѣленные другъ отъ друга чуть ли не цѣлымъ поѣздомъ. Въ одномъ вагонѣ сидѣли три красивыя женщины, въ обществѣ чернобородого, молчаливаго, сумрачнаго мужчины. Съ нимъ Горизонтъ перекидывался странными фразами на какомъ-то спеціальному жаргонѣ. Женщины глядѣли на него тревожно, точно желая и не рѣшаясь о чемъ-то спросить. Разъ только, около полудня, одна изъ нихъ позволила себѣ робко произнести:

— Такъ это правда? То, чтò вы говорили о мѣстѣ?.. Вы понимаете: у меня какъ-то сердце тревожится!

— Ахъ! Чтò вы, Маргарита Ивановна! Ужъ разъ я сказала, то это вѣрно, какъ въ Государственномъ банкѣ. Послушайте, Лазерь, — обратился онъ къ бородатому: — сейчасъ будетъ станція. Купите барышнямъ разныхъ бутербродовъ, какихъ онѣ пожелаютъ. Поѣздъ стоитъ двадцать пять минутъ.

— Я бы хотѣла бульону, — несмѣло произнесла малень-

кая блондинка, съ волосами какъ спѣлая рожь и съ глазами какъ васильки.

— Милая Бѣла, все, что вамъ угодно! На станціи я пойду и распоряджусь, чтобы вамъ принесли бульону съ мясомъ и даже съ пирожками. Вы не беспокойтесь, Лазерь, я все это самъ сдѣлаю.

Въ другомъ вагонѣ у него былъ цѣлый разсадникъ женщинъ, человѣкъ двѣнадцать или пятнадцать, подъ предводительствомъ старой толстой женщины съ огромными, устрашающими, черными бровями. Она говорила басомъ, а ея жирные подбородки, груди и животы колыхались подъ широкимъ капотомъ въ тактъ тряскѣ вагона, точно яблочное желе. Ни старуха, ни молодыя женщины не оставляли ни малѣйшаго сомнѣнія относительно своей профессіи.

Женщины валялись на скамейкахъ, курили, играли въ карты, въ шестьдесятъ шесть, пили пиво. Часто ихъ задирала мужская публика вагона, и онѣ отругивались безцеремоннымъ языкомъ сиповатыми голосами. Молодежь угощала ихъ папиросами и виномъ.

Горизонтъ былъ здѣсь совсѣмъ неизнаваемъ: онъ былъ величественно-небреженъ и свысока-шутливъ. Зато въ каждомъ словѣ, съ которымъ къ нему обращались его клиентки, слышалось подобострастное заискиваніе. Онъ же, осматривъ ихъ всѣхъ—эту странную смѣсь румынокъ, евреекъ, полякъ и русскихъ—и удостовѣрися, что все въ порядкѣ, распорядился насчетъ бутербродовъ и величественно удалялся. Въ эти минуты онъ очень былъ похожъ на гуртовщика, который везетъ убойный скотъ по желѣзной дорогѣ и на станціи заходитъ поглядѣть на него и задать корму. После этого онъ возвращался въ свое купе и опять начинать миндальничать съ женой, и еврейскіе анекдоты, точно горохъ, сыпались изъ его рта.

При большихъ остановкахъ онъ выходилъ въ буфетъ

для того только, чтобы распорядиться о своихъ кліенткахъ. Самъ же говорилъ сосѣдямъ:

— Вы знаете, мнѣ все равно, что трѣфное, что кдшерное. Я не признаю никакой разницы. Но что я могу по-дѣлать съ моимъ желудкомъ! На этихъ станціяхъ чортъ знаетъ какой гадостью иногда накормятъ. Заплатишь какихъ-нибудь три-четыре рубля, а потомъ на докторовъ пролѣчишь сто рублей. Вотъ, можетъ-быть, ты, Сарочка,—обращался онъ къ женѣ: — можетъ-быть, сойдешь на станцію скушать что-нибудь? Или я тебѣ пришлю сюда?

Сарочка, счастливая его вниманіемъ, краснѣла, сіяла ему благодарными глазами и отказывалась.

— Ты очень добрый, Сеня, но только мнѣ не хочется. Я сыта.

Тогда Горизонтъ доставалъ изъ дорожной корзинки курицу, вареное мясо, огурцы и бутылку палестинскаго вина, не торопясь, съ аппетитомъ закусывалъ, угощалъ жену, которая ѣла очень жеманно, оттопыривъ мизинчики своихъ прекрасныхъ бѣлыхъ рукъ, затѣмъ тщательно заворачивалъ остатки въ бумагу и, не торопясь, аккуратно укладывалъ ихъ въ корзинку.

Вдали, далеко впереди паровоза, уже начали поблескивать золотыми огнями купола колоколенъ. Мимо купэ прошелъ кондукторъ и сдѣлалъ Горизонту какой-то неуловимый знакъ. Тотъ сейчасъ же вышелъ вслѣдъ за кондукторомъ на площадку.

— Сейчасъ контроль пройдетъ,—сказалъ кондукторъ:— такъ ужъ вы будьте любезны постоять здѣсь съ супругой на площадкѣ третьяго класса.

— Ну, ну, ну!—согласился Горизонтъ.

— А теперь пожалуйста денежки, по уговору.

— Сколько же тебѣ?

— Да какъ уговорились: половину приплаты, два рубля восемьдесятъ копеекъ.

— Чтò?! — вскипѣлъ вдругъ Горизонтъ: — два рубля восемьдесятъ копеекъ?! Чтò я, сумасшедшій тебѣ дался? На тебѣ рубль, и то благодари Бога!

— Простите, господинъ! Это даже совсѣмъ несообразно: вѣдь уговаривались мы съ вами?

— Уговаривались, уговаривались!.. На тебѣ еще полтинникъ, и больше никакихъ. Чтò это за нахальство! А я еще заявлю контролеру, что безбилетныхъ возишь. Ты, братъ, не думай! Не на такого напалъ!

Глаза у кондуктора вдругъ расширились, налились кровью.

— У! Жидова! — зарычалъ онъ. — Взять бы тебя, подлеца, да подъ поѣздъ!

Но Горизонтъ тотчасъ же пѣтухомъ налетѣлъ на него:

— Чтò?! Подъ поѣздъ?! А ты знаешь, чтò за такія слова бываетъ?! Угроза дѣйствиємъ! Вотъ я сейчасъ пойду и крикну „караулъ!“ и поверну сигнальную ручку,—и онъ съ такимъ рѣшительнымъ видомъ схватился за рукоятку двери, что кондукторъ только махнулъ рукой и плюнулъ.

Горизонтъ вызвалъ изъ купэ свою жену:

— Сарочка! Пойдемъ, посмотримъ на платформу: тамъ виднѣе. Ну, такъ красиво,—просто, какъ на картинѣ!

Сара покорно пошла за нимъ, поддерживая неловкой рукой новое, должно-быть, впервые надѣтое платье, изгибаясь и точно боясь прикоснуться къ двери или къ стѣнѣ.

Вдали, въ розовомъ праздничномъ туманѣ вечерней зари сіяли золотые купола и кресты. Высоко на горѣ бѣлыя стройныя церкви, казалось, плавали въ этомъ цвѣтистомъ волшебномъ маревѣ. Курчавые лѣса и кустарники сбѣжали сверху и надвинулись надъ самымъ оврагомъ. А отвѣсный бѣлый обрывъ, купавшій свое подножье въ синей рѣкѣ, весь, точно зелеными жилками и бородавками, былъ изборожденъ случайными порослями. Сказочно-пре-

красный древній городъ точно самъ шелъ навстрѣчу поѣзду.

Когда поѣздъ остановился, Горизонтъ приказалъ носильщикамъ отнести вещи въ первый классъ и велѣлъ женѣ итти за нимъ слѣдомъ. А самъ задержался въ выходныхъ дверяхъ, чтобы пропустить обѣ свои партіи. Старухѣ; наблюдавшей за дюжиной жепщинъ, онъ коротко бросилъ на ходу:

— Такъ помните, мадамъ Берманъ! Гостиница „Америка“, Иванюковская, двадцать два!

А чернородому мужчинѣ онъ сказалъ:

— Не забудьте, Лазерь, накормить дѣвушскъ обѣдомъ и сведите ихъ куда-нибудь въ кинематографъ. Часовъ въ одиннадцать вечера ждите меня. Я пріѣду поговорить. А если кто-нибудь будетъ вызывать меня экстренно, то вы знаете мой адресъ: „Эрмитажъ“. Позвоните. Если же тамъ меня почему-нибудь не будетъ, то забѣгите въ кафе къ Рейману, или напротивъ, въ еврейскую столовую. Я тамъ буду кушать рыбу фишъ. Ну, счастливаго пути!

III.

Всѣ рассказы Горизонта о его коммивояжерствѣ были просто наглымъ и бойкимъ лганьемъ. Всѣ эти образчики портновскихъ матеріаловъ, подтяжки Глуаръ и пуговицы Геліосъ, искусственные зубы и вставные глаза служили только щитомъ, прикрывавшимъ его настоящую дѣятельность, а именно торговлю женскимъ тѣломъ. Правда, когда-то, лѣтъ десять тому назадъ, онъ развѣзжалъ по Россіи представителемъ сомнительныхъ винъ отъ какой-то неизвѣстной фирмы, и эта дѣятельность сообщила его языку ту развязную непринужденность, которой, вообще, отличаются коммивояжеры. Эта же прежняя дѣятельность натолкнула его на настоящую профессію. Какъ-то, ѣдучи въ Ростовъ-на-Дону, онъ сумѣлъ влюбить въ себя молоденькую швейку. Эта дѣ-

лушка еще не успѣла попасть въ официальные списки полиціи, но на любовь и на свое тѣло глядѣла безъ всякихъ возвышенныхъ предразсудковъ. Горизонтъ, тогда еще совсѣмъ зеленый юноша, влюбчивый и легкомысленный, потащилъ швейку за собой, въ свои скитанія, полныя приключеній и неожиданностей. Спустя полгода она страшно надоѣла ему. Она, точно тяжелая обуза, точно мельничный жерновъ, повисла на шеѣ у этого человѣка энергіи, движенія и натиска. Къ тому же вѣчныя сцены ревности, недоверіе, постоянный контроль и слезы... неизбежныя послѣдствія долговременной совмѣстной жизни... Тогда онъ сталъ исподоволь поколачивать свою подругу. Въ первый разъ она изумилась, а со второго раза притихла, стала покорной. Известно, что „женщины любви“ никогда не знаютъ середины въ любовныхъ отношеніяхъ. Онѣ или истеричныя лгуны, обманщицы, притворщицы, съ холодно-развращеннымъ умомъ и извилистой темной душой, или же безгранично-самоотверженныя, слѣпо-преданныя, глупыя, наивныя животныя, которыя не знаютъ мѣры ни въ уступкахъ ни въ потерѣ личнаго достоинства. Швейка принадлежала ко второй категоріи, и скоро Горизонту удалось безъ большаго труда убѣдить ее выходить на улицу торговать собой. И съ перваго же раза, когда любовница подчинилась ему и принесла домой первые заработанные пять рублей, Горизонтъ почувствовалъ къ ней безграничное отвращеніе. Замѣчательно, что, сколько Горизонтъ послѣ этого ни встрѣчалъ женщинъ,—а прошло ихъ черезъ его руки нѣсколько сотенъ,—это чувство отвращенія и мужского презрѣнія къ нимъ никогда не покидало его. Онъ всячески издѣвался надъ бѣдной женщиной и истязалъ ее нравственно, выискивая самыя больныя мѣста. Она только молчала, вздыхала, плакала и, становясь передъ нимъ на колѣни, цѣловала его руки. И эта безсловесная покорность еще болѣе раздражала Горизонта. Онъ гналъ ее отъ себя. Она не уходила. Онъ

выталкивалъ ее на улицу, а она черезъ часъ или два возвращалась назадъ, дрожащая отъ холода, въ измокшей шляпѣ, въ загнутыхъ поляхъ которой, какъ въ желобахъ, плескалась дождевая вода. Наконецъ какой-то темный пріятель подаль Семену Яковлевичу жесткій и коварный совѣтъ, положившій слѣдъ на всю остальную его жизнедѣятельность: продать любовницу въ публичный домъ.

По правдѣ сказать, пускался въ это предпріятіе, Горизонтъ въ душѣ почти не вѣрилъ въ его успѣхъ. Но, противъ ожиданія, дѣло скроилось какъ нельзя лучше. Хозяйка заведенія (это было въ Харьковѣ) съ охотой пошла навстрѣчу его предложенію. Она давно и хорошо знала Семена Яковлевича, который забавно игралъ на роялѣ, прекрасно танцевалъ и смѣшилъ своими выходками всю залу, а главное, умѣлъ съ необыкновенной беззапѣчливой ловкостью „выставить изъ монетъ“ любую кутящую компанію. Оставалось только уговорить подругу жизни, и это оказалось самымъ труднымъ. Она ни за что не хотѣла отлипнуть отъ своего возлюбленнаго, грозила самоубійствомъ, клялась, что выжжетъ ему глаза сѣрной кислотой, обѣщала поѣхать и пожаловаться полицеймейстеру,—а она дѣйствительно знала за Семеномъ Яковлевичемъ нѣсколько грязныхъ дѣлишекъ, пахнувшихъ уголовщиной. Тогда Горизонтъ перемѣнилъ тактику. Онъ сдѣлался вдругъ нѣжнымъ, внимательнымъ другомъ, неутомимымъ любовникомъ. Потомъ внезапно онъ впалъ въ черную меланхолію. На безпокойные разспросы женщины онъ только отмалчивался, проговорился сначала какъ будто случайно, намекнулъ вскользь на какую-то жизненную ошибку, а потомъ принялся врагъ отчаянно и вдохновенно. Онъ говорилъ о томъ, что за нимъ слѣдитъ полиція, что ему не миновать тюрьмы, а можетъ-быть, даже каторги и висѣлицы, что ему нужно скрыться на нѣсколько мѣсяцевъ за границу. А главное, на что онъ

особенно сильно упиралъ, было какое-то громадное фантастическое дѣло, въ которомъ ему предстояло заработать нѣсколько сотъ тысячъ рублей. Швейка повѣрила и затревожилась той безкорыстной, женской, почти святой тревогой, въ которой у каждой женщины такъ много чего-то материнскаго. Теперь очень нетрудно было убѣдить ее въ томъ, что ѣхать съ ней вмѣстѣ Горизонту представляетъ большую опасность для него, и что лучше ей остаться здѣсь и переждать время, пока дѣла у любовника не сложатся благопріятно. Послѣ этого уговорить ее скрыться, какъ въ самомъ надежномъ убѣжищѣ, въ публичномъ домѣ, гдѣ она была бы въ полной безопасности отъ полиціи и сыщиковъ, было пустымъ дѣломъ. Однажды утромъ Горизонтъ велѣлъ ей одѣться получше, завить волосы, попудриться, положить немного румянъ на щеки и повезъ ее въ притонъ, къ своей знакомой. Дѣвушка тамъ произвела благопріятное впечатлѣніе, и въ тотъ же день ея паспортъ былъ смѣненъ въ полиціи на такъ называемый желтый билетъ. Разставшись съ нею, послѣ долгихъ объятій и слезъ, Горизонтъ зашелъ въ комнату хозяйки и получилъ плату—пятьдесятъ рублей (хотя онъ запрашивалъ двѣсти). Но онъ и не особенно сокрушался о малой цѣнѣ: главное было то, что онъ нашелъ, наконецъ, самъ себя, свое призваніе и положилъ краеугольный камень своему будущему благополучію.

Конечно, проданная имъ женщина такъ и осталась навсегда въ цѣпкихъ рукахъ публичнаго дома. Горизонтъ настолько основательно забылъ ее, что уже черезъ годъ не могъ даже вспомнить ея лица. Но почему знать? Можетъ-быть, самъ передъ собою притворился?

Теперь онъ былъ однимъ изъ самыхъ главныхъ спекулянтовъ женскимъ тѣломъ на всемъ югѣ Россіи. Онъ имѣлъ дѣла съ Константинополемъ и съ Аргентиной, онъ переправлялъ цѣлыми партіями дѣвушекъ изъ публичныхъ домовъ Одессы въ Кіевъ, кіевскихъ перевозилъ въ Харьковъ, а харь-

ковскихъ въ Одессу. Онъ же разсовывалъ по разнымъ второ-степеннымъ губерскимъ городамъ и по уѣздамъ, которые побогаче, товаръ, забракованный или слишкомъ примелькавшійся въ большихъ городахъ. У него завязалась громаднѣйшая кліентура, и въ числѣ своихъ потребителей Горизонтъ могъ бы насчитать немало людей съ выдающимся общественнымъ положеніемъ: видные адвокаты, извѣстные доктора, богатые помѣщики, кузниціе купцы. Весь темный міръ хозяекъ публичныхъ домовъ, кокотокъ-одиночекъ, сведенъ, содержательницъ домовъ свиданій, сутенеровъ, выходныхъ актрисъ и хористокъ—былъ ему знакомъ, какъ астроному звѣздное небо. Его изумительная память, которая позволяла ему благоразумно избѣгать записныхъ книжекъ, держала въ умѣ тысячи именъ, фамилій, прозвищъ, адресовъ, характеристикъ. Онъ въ совершенствѣ зналъ вкусы всѣхъ своихъ высокопоставленныхъ потребителей: одни изъ нихъ любили необыкновенно причудливый развратъ, другіе платили бѣшенныя деньги за невинныхъ дѣвушекъ, третьимъ надо было выписывать малолѣтнихъ. Ему приходилось удовлетворить и садическія и мазохическія наклонности своихъ кліентовъ, а иногда обслуживать и совсѣмъ противоестественныя половыя извращенія, хотя надо сказать, что за послѣднее онъ брался только въ рѣдкихъ случаяхъ, сулившихъ большую несомнѣнную прибыль. Раза два-три ему приходилось отсиживать въ тюрьмѣ, но эти высидки шли ему впрокъ: онъ не только не терялъ хищническаго нахрапа и упругой энергіи въ дѣлахъ, но съ каждымъ годомъ становился смѣлѣе, изобрѣтательнѣе и предприимчивѣе. Съ годами къ его наглой стремительности присоединилась огромная житейская дѣловая мудрость.

Разъ пятнадцать за это время онъ успѣлъ жениться и всегда изловчался брать порядочное приданое. Завладѣвъ деньгами жены, онъ въ одинъ прекрасный день вдругъ исчезалъ безслѣдно; а если бывала возможность, то выгодно

продавалъ жену въ тайный домъ разврата или въ шикарное публичное заведеніе. Случалось, что его разыскивали черезъ полицію родители обманутой жертвы. Но въ то время, когда повсюду наводили справки о немъ, какъ о Шперлингѣ, онъ уже разъѣзжалъ изъ города въ городъ подъ фамиліей Розенблюма. Во время своей дѣятельности, вопреки завидной пѣмяти, онъ переимѣнилъ столько фамилій, что не только позабылъ, въ какомъ году онъ былъ Натанаэльсономъ, а въ какомъ Бакаляромъ, но даже его собственная фамилія ему начинала казаться однимъ изъ псевдонимовъ.

Замѣчательно, что онъ не находилъ въ своей профессіи ничего преступнаго или предосудительнаго. Онъ относился къ ней такъ же, какъ если бы торговалъ седедками, известкой, мукой, говядиной или лѣсомъ. По-своему онъ былъ набоженъ. Если позволяло время, съ усердіемъ посѣщалъ по пятницамъ синагогу. Судный День, Пасха и Кущи неизмѣнно и благоговѣнно справлялись имъ всюду, куда бы ни забрасывала его судьба. Въ Одессѣ у него оставались старушка-мать и горбатая сестра, и онъ неуклонно высылалъ имъ то большія, то маленькія суммы денегъ, не регулярно, но довольно часто, почти изъ всѣхъ городовъ отъ Курска до Одессы и отъ Варшавы до Самары. У него уже скопились порядочныя денежныя сбереженія въ Лионскомъ Кредитѣ, и онъ постепенно увеличивалъ ихъ, никогда не затрогивая процентовъ. Но жадности или скупости почти совсѣмъ былъ чуждъ. Его скорѣе влекли къ себѣ въ дѣлѣ острота, рискъ и профессиональное самолюбіе. Къ женщинамъ онъ былъ совершенно равнодушенъ, хотя понималъ ихъ и умѣлъ цѣнить, и былъ въ этомъ отношеніи похожъ на хорошаго повара, который при тонкомъ пониманіи дѣла страдаетъ хроническимъ отсутствіемъ аппетита. Чтобы уговорить, прельстить женщину, заставить ее сдѣлать все, что онъ хочетъ, ему не требовалось никакихъ усилій: онъ сами или на его зовъ и становились въ его рукахъ безпрекословными, послушными

и податливыми. Въ его обращеніи съ ними выработался какой-то твердый, непоколебимый, самоувѣренный апломбъ, которому онѣ такъ же подчинялись, какъ инстинктивно подчиняется строптивая лошадь голосу, взгляду и поглаживанію опытнаго наѣздника.

Онъ пилъ очень умѣренно, а безъ компаніи совсѣмъ не пилъ. Къ ѣдѣ былъ совершенно равнодушенъ. Но, конечно, какъ у всякаго человѣка, у него была своя маленькая слабость: онъ страшно любилъ одѣваться и тратилъ на свой туалетъ немалыя деньги. Модные воротнички всевозможныхъ фасоновъ, галстуки, брилльянтовые запонки, брелоки, щегольское нижнее бѣлье и шикарная обувь—составляли его главнѣйшія увлеченія.

Съ вокзала онъ прямо поѣхалъ въ „Эрмитажъ“. Гостиничные носильщики, въ синихъ блузахъ и форменныхъ шалкахъ, внесли его вещи въ вестибюль. Вслѣдъ за ними вошелъ и онъ подъ руку со своей женой, оба нарядные, представительные, а онъ таки-прямо великолѣпный, въ своемъ широкомъ, въ видѣ колокола, англійскомъ пальто, въ новой широкополой панамѣ, держа небрежно въ рукѣ тросточку съ серебрянымъ набалдачникомъ въ видѣ голдой женщины.

— Не полагается безъ права жительства,—сказалъ, глядя на него сверху внизъ, огромный, толстый швейцаръ, храня на лицѣ сонное и неподвижно-холодное выраженіе.

— Ахъ, Захаръ! Опять „не полагается“!—весело воскликнулъ Горизонтъ и потрепалъ гиганта по плечу.—Что такое „не полагается“? Каждый разъ вы мнѣ тычете этимъ самымъ своимъ „не полагается“. Мнѣ всего только на три дня. Только заключу арендный договоръ съ графомъ Ипатьевымъ и сейчасъ же уѣду. Богъ съ вами! Живите себѣ хоть одинъ во всѣхъ номерахъ. Но вы только поглядите.

Захаръ, какую я вамъ привезъ игрушку изъ Одессы! Вы таки-будете довольны!

Онъ осторожнымъ, ловкимъ, привычнымъ движеніемъ всунулъ золотой въ руку швейцару, который уже держалъ ее за спиной приготовленной и сложенной въ видѣ лодочки.

Первое, что сдѣлалъ Горизонтъ, водворившись въ большомъ, просторномъ номерѣ съ альковомъ, это выставилъ въ коридоръ за двери номера шесть паръ великолѣпныхъ ботинокъ, сказавъ прибѣжавшему на звонокъ коридорному:

— Немедленно все вычистить! Чтобы блестѣло, какъ зеркало! Тебя—Тимошей, кажется? Такъ ты меня долженъ знать: за мной трудъ никогда не пропадетъ. Чтобы блестѣло, какъ зеркало!

IV.

Горизонтъ жилъ въ гостиницѣ „Эрмитажъ“ не болѣе трехъ сутокъ, и за это время онъ успѣлъ повидаться съ тремястами людей. Приѣздъ его какъ будто оживилъ большой веселый портовый городъ. Къ нему приходили содержательницы конторъ для найма прислуги, номерныя хозяйки и старья, опытыя, посѣдѣлыя въ торговлѣ женщинами, сводни. Не такъ изъ-за корысти, какъ изъ-за профессиональной гордости, Горизонтъ старался во что бы то ни стало выторговать какъ можно больше процентовъ, купить женщину какъ можно дешевле. Конечно, у него не было расчета въ томъ, чтобы получить десятью-пятнадцатью рублями больше, но одна мысль о томъ, что конкурентъ Ямпольскій получить при продажѣ болѣе, чѣмъ онъ, приводила его въ бѣшенство.

Послѣ приѣзда, на другой день, онъ отправился къ фотографу Мезеру, захвативъ съ собою соломенную дѣвушку Бѣлу, и снялся съ ней въ разныхъ позахъ, причемъ за каждый негативъ получилъ по три рубля, а женщинѣ даль

по рублю. Снимковъ было двадцать. Послѣ этого онъ поѣхалъ къ Барсуковой.

Это была женщина, вѣрнѣе сказать, отставная дѣвка, которыя водятся только на югѣ Россіи, не то полька, не то малороссіянка, уже достаточно старая и богатая для того, чтобы позволить себѣ роскошь содержать мужа (а вмѣстѣ съ нимъ и кафе-шантанъ), красиваго и ласковаго полячка. Горизонтъ и Барсукова встрѣтились, какъ старые знакомые. Кажется, у нихъ не было ни страха, ни стыда, ни совѣсти, когда они разговаривали другъ съ другомъ.

— Мадамъ Барсукова! Я вамъ могу предложить что-нибудь особеннаго! Три женщины: одна большая, брюнетка, очень скромная, другая маленькая, блондинка, но которая, вы понимаете, готова на все, третья—загадочная женщина, которая только улыбается и ничего не говоритъ, но много общается и—красавица!

Мадамъ Барсукова глядѣла на него и недовѣрчиво покачивала головой.

— Господинъ Горизонтъ! Что вы мнѣ голову дурачите? Вы хотите то же самое со мной сдѣлать, что въ прошлый разъ?

— Дай Богъ мнѣ такъ жить, какъ я хочу васъ обманывать! Но главное не въ этомъ. Я вамъ еще предлагаю совершенно интеллигентную женщину. Дѣлайте съ ней, что хотите. Вѣроятно, у васъ найдется любитель.

Барсукова тонко улыбнулась и спросила.

— Опять жена?

— Нѣтъ. Но дворянка.

— Значить, опять непріятности съ полиціей?

— Ахъ! Боже мой! Я съ васъ не беру большихъ денегъ: за всѣхъ четырехъ кака-нибудь паршивая тысяча рублей.

— Ну, будемъ говорить откровенно: пятьсотъ. Не хочу покупать кота въ мѣшкѣ.

— Кажется, мадамъ Барсукова, мы съ вами не первый

разъ имѣемъ дѣло. Обманывать я васъ не буду и сейчасъ же ее привезу сюда. Только прошу васъ не забыть, что вы моя тетка, и въ этомъ направленіи, пожалуйста, работайте. И не пробуду здѣсь, въ городѣ, болѣе, чѣмъ три дни.

Мадамъ Барсукова со всѣми своими грудями, животами и подбородками весело заколыхалась.

— Не будемъ торговаться изъ-за мелочей. Тѣмъ болѣе, что ни вы меня ни я васъ не обманываемъ. Теперь большой спросъ на женщинъ. Что вы сказали бы, господинъ Горизонтъ, если бы я предложила вамъ краснаго вина?

— Благодарю васъ, мадамъ Барсукова, съ удовольствіемъ.

— Поговоримте какъ старые друзья. Скажите, сколько вы зарабатываете въ годъ?

— Ахъ, мадамъ, какъ сказать? Тысячъ двѣнадцать, двадцать, приблизительно. Но подумайте, какіе громадныя расходы, постоянно въ поѣздкахъ.

— Вы откладываете немножко?

— Ну, это пустяки: какія-нибудь двѣ-три тысячи въ годъ.

— Я думала, десять, двадцать...

Горизонтъ насторожился. Онъ чувствовалъ, что его начинаютъ обманывать, и спросилъ вкрадчиво:

— А почему это васъ интересуетъ?

Лина Михайловна нажала кнопку электрическаго звонка и приказала нарядной горничной дать кофе съ топленымъ молокомъ и бутылку Шамбертена. Она знала вкусы Горизонта. Потомъ она спросила:

— Вы знаете господина Шепшеровича?

Горизонтъ такъ и вскинулся:

— Боже мой! Кто же не знаетъ Шепшеровича! это— богъ, это гений!

И, оживившись, забывъ, что его тянутъ въ ловушку, онъ восторженно заговорилъ:

— Представьте себѣ, что въ прошломъ году сдѣлалъ

Шепшеровичъ! Онъ отвезъ въ Аргентину тридцать женщинъ изъ Ковна, Вильна, Житомира. Каждую изъ нихъ онъ продалъ по тысячѣ рублей—итого, мадамъ, считайте, тридцать тысячъ! Вы думаете, на этомъ Шепшеровичъ успокоился? На эти деньги, чтобы оплатить себѣ расходы по пароходу, онъ купилъ нѣсколько негрятенокъ и разсвалъ ихъ въ Москву, Петербургъ, Кіевъ, Одессу и въ Харьковъ. Но вы знаете, мадамъ, это не человѣкъ, а орелъ. Вотъ кто умѣетъ дѣлать дѣла!

Барсукова ласково положила ему руку на колѣно. Она ждала этого момента и сказала дружелюбно:

— Такъ вотъ я вамъ и предлагаю, господинъ...—впрочемъ, я не знаю, какъ васъ теперь зовутъ...

— Скажемъ, Горизонтъ...

— Вотъ я вамъ и предлагаю, господинъ Горизонтъ,— не найдется ли у васъ зелени? Теперь на нее громадный спросъ. Я съ вами играю въ открытую. За деньгами мы не стоимъ. Теперь это въ модѣ. Замѣьте, Горизонтъ, вамъ возвращать вашихъ кліентовъ совершенно въ томъ же видѣ, въ какомъ онѣ были. Это, вы понимаете,—маленькое баловство, въ которомъ я никакъ не могу разобраться...

Горизонтъ потупился, потеръ голову и сказалъ:

— Видите ли, у меня есть жена... Вы почти угадали.

— Такъ. Но почему же почти?

— Мнѣ стыдно признаться, но она, какъ бы сказать... она мнѣ невѣста...

Барсукова весело расхохоталась.

— Вы знаете, Горизонтъ, я никакъ не могла ожидать, что вы такой мерзавецъ! Давайте вашу жену, все равно.

— Тысячу?—спросилъ Горизонтъ серьезно.

— Ахъ! Чтò за пустяки: скажемъ, тысячу. Но скажите, удастся ли мнѣ съ ней справиться?

— Пустяки!—сказалъ самоувѣренно Горизонтъ.—Предположимъ опять, вы—мой тетка, и я оставляю у васъ

жену. Представьте себѣ, мадамъ Барсукова, что эта женщина въ меня влюблена, какъ кошка. И если вы скажете ей, что для моего благополучія она должна сдѣлать то-то и то-то,—то никакихъ разговоровъ!

Кажется имъ больше не о чемъ было разговаривать. Мадамъ Барсукова вынесла вексельную бумагу, гдѣ она съ трудомъ написала свое имя, отчество и фамилію. Вексель, конечно, былъ фантастическій, но есть связь, спайка, каторжная совѣсть. Въ такихъ дѣлахъ не обманываютъ. Иначе грозитъ смерть. Все равно: въ острогѣ, на улицѣ или въ публичномъ домѣ.

Загѣмъ тотчасъ же, точно привидѣніе изъ люка, появился ея сердечный другъ, молодой полячокъ, съ высоко закрученными усами, хозяинъ кафе-пантана. Выпили вина, поговорили о ярмаркѣ, о выставкѣ, немножко пожаловались на плохія дѣла. Загѣмъ Горизонтъ телефонировалъ къ себѣ, въ гостиницу, вызвалъ жену. Познакомилъ ее съ теткой и съ двоюроднымъ братомъ тетки и сказалъ, что таинственные политическія дѣла вызываютъ его изъ города. Нѣжно обнявъ Сару, прослезился и уѣхалъ.

У.

Съ пріѣздомъ Горизонта (впрочемъ, Богъ знаетъ, какъ его звали: Гоголевичъ, Гидалевичъ, Окуневъ, Розмигальскій), словомъ, съ пріѣздомъ этого человѣка все перемѣнилось на Ямской улицѣ. Пошли громадныя перетасовки. Отъ Трещеля переводили дѣвушекъ къ Аннѣ Марковнѣ, отъ Анны Марковны—въ рублевое заведеніе и изъ рублеваго—въ полтинничное. Повышеній не было: только пониженія. На каждомъ перемѣщеніи Горизонтъ зарабатывалъ отъ ста до пяти рублей. Покстинѣ у него была энергія, равная приблизительно водонаду Иматрѣ! Сидя днемъ у Анны Марковны, онъ говорилъ, щурясь отъ дыма папиросы и раскочивая ногу на ногѣ:

— Спрашивается... для чего вамъ эта самая Сонька? Ей не мѣсто въ порядочномъ заведеніи. Ежели мы ее сплавимъ, то вы себѣ заработаете сто рублей, я себѣ двадцать пять. Скажите мнѣ откровенно, она вѣдь не въ спросѣ?

— Ахъ, господинъ Шацкій! Вы всегда сумѣете уговорить! Но представьте себѣ, что я ее жалѣю. Такая деликатная дѣвушка...

Горизонтъ на минутку задумался. Онъ искалъ подходящей цитаты и вдругъ выпалилъ:

— Падающаго толкни! И я увѣренъ, мадамъ Шайбесъ, что на нее нѣтъ никакого спроса.

Исай Саввичъ, маленькій, болѣзненный, мпительный старичокъ, но въ нужные минуты очень рѣшительный, поддержалъ Горизонта:

— И очень просто. На нее дѣйствительно нѣтъ никакого спроса. Представь себѣ, Анечка, что ея баракло стоитъ пятьдесятъ рублей, двадцать пять рублей получить господинъ Шацкій, пятьдесятъ рублей намъ съ тобой останется. И слава Богу, мы съ ней развязались! Но крайней мѣрѣ она не будетъ компрометировать нашего заведенія.

Такимъ-то образомъ Сонька-Руль, мпнулъ рублевое заведеніе, была переведена въ полтинничное, гдѣ всякій сбродъ цѣлыми ночами, какъ хотѣлъ, издѣвался надъ дѣвушками. Тамъ требовалось громадное здоровье и большая нервная сила.

Къ счастью, Соньку беспокоили немного: даже и въ этомъ учрежденіи она была слишкомъ некрасива. Никто не обращалъ вниманія на ея прелестные глаза, и брали ее только въ тѣхъ случаяхъ, когда подъ рукой не было никакой другой. Фармацевтъ разыскалъ ее и приходилъ каждый вечеръ къ ней. Но трусость ли, или спеціальная еврейская щепетильность, или, можетъ-быть, даже физическая брезгливость не позволяла ему взять и увести эту дѣвушку изъ дома. Онъ просаживалъ около нея цѣлыми почи и попреж-

нему терпѣливо ждалъ, когда она возвратится отъ случайнаго гостя, дѣлала ей сцены ревности и все-таки любила и, торча днемъ въ своей аптекѣ за прилавкомъ и закатывая какія-нибудь вонючія пилюли, неустанно думала о ней и тосковала.

VI.

Сейчасъ же при входѣ въ загородный кафе-пантанъ сіяла разноцвѣтными огнями искусственная клумба, съ электрическими лампочками вмѣсто цвѣтовъ, и отъ нея шла вглубь сада такая же огненная аллея изъ широкихъ полукруглыхъ арокъ, суживавшихся къ концу. Дальше была широкая, усыпанная желтымъ пескомъ площадка: налѣво—открытая сцена, театръ и тиръ, прямо—эстрада для воспныхъ музыкантовъ (въ видѣ раковины) и балаганчики съ цвѣтами и швомъ, направо—длинная терраса ресторана. Площадку ярко, блѣдно и мертвенно освѣщали электрическіе шары со своихъ высокихъ мачтъ. Объ ихъ матовыя стекла, обтнутыя проволочными сѣтками, блились тучи ночныхъ бабочекъ, тѣни которыхъ—смутныя и большія—рѣяли внизу, на землѣ. Взадъ и впередъ ходили попарно уже усталую, волочащуюся походкой голодная женщины, слишкомъ легко, нарядно и вычурно одѣтыя, сохраняя на лицахъ выраженіе безпечнаго веселья или надменной, обиженной неприступности.

Въ ресторанахъ были заняты всѣ столы—и падаъ ними плыла сплошной стукъ ножей о тарелки и пестрый, скачущій волнами говоръ. Пахло сытнымъ и ѣдкимъ кухоннымъ чадомъ. Посрединѣ ресторана, на эстрадѣ, играли румыны въ красныхъ фракахъ, всѣ смуглые, бѣлозубые, съ лицами усатыхъ, напомаженныхъ и прилизанныхъ обезьянъ. Дирижеръ оркестра, наклоняясь впередъ и манерно расбачиваясь, игралъ на скрипкѣ и дѣлала публикѣ непристойно-сладкіе глаза—глаза мужчины-проститутки. И все вмѣстѣ—это обилие пазойлвыхъ электрическихъ огней,

преувеличенно яркіе туалеты дамъ, запахи модныхъ пряхныхъ духовъ, эта звенящая музыка, съ произвольными замедленіями темпа, со сладострастными замираніями въ переходахъ, съ взвинчиваніемъ въ бурныхъ мѣстахъ,—все шло одно къ одному, образу общую картину безумной и глупой роскоши, обстановку поддѣлки веселаго непристойнаго кутежа.

Наверху, кругомъ всей залы, шли открытые хоры, на которые, какъ на балкончики, выходили двери отдѣльных кабинетовъ. Въ одномъ изъ такихъ кабинетовъ сидѣло четверо—двѣ дамы и двое мужчинъ: извѣстная всей Россіи артистка пѣвица Ровинская, большая красивая женщина съ длинными, зелеными, египетскими глазами и длиннымъ, краснымъ чувственнымъ ртомъ, на которомъ углы губъ хищно опускались книзу, баронесса Тефтингъ, маленькая, изящная, блѣдная,—ее повсюду видѣли вмѣстѣ съ артисткой,—знаменитый адвокатъ Рязановъ и Володя Чаплинскій, богатый свѣтскій молодой человекъ, композиторъ-дилетантъ, авторъ нѣсколькихъ миленькихъ романсовъ и многихъ злободневныхъ остротъ, ходившихъ по городу.

Стѣны въ кабинетѣ были красныя съ золотымъ узоромъ. На столѣ, между зажженными канделябрами, торчали изъ мѣльхиоровой вазы, отпотѣвшей отъ холода, два бѣлыхъ осмоленныхъ горлышка бутылокъ, и свѣтъ жидкимъ, дрожащимъ золотомъ игралъ въ плоскихъ бокалахъ съ виномъ. Снаружи у дверей дежурилъ, прислонясь къ стѣнѣ, лакей, а толстый, рослый, важный метръ-д'отель, у котораго на всегда оттопыренномъ мизинцѣ правой руки сверкалъ огромный брильянтъ, часто останавливался у этихъ дверей и внимательно прислушивался однимъ ухомъ къ тому, что дѣлалось въ кабинетѣ.

Баронесса со скучающимъ, блѣднымъ лицомъ лѣниво глядѣла сквозь лорнетъ внизъ, на гудящую, жующую, копошащуюся толпу. Среди красныхъ, бѣлыхъ, голубыхъ и

палевыхъ женскихъ платьевъ однообразныя фигуры мужчинъ походили на большихъ, коренастыхъ, черныхъ жуковъ. Ровинская небрежно, но въ то же время и пристально глядѣла внизъ на эстраду и на зрителей, и лицо ея выражало усталость, скуку, а можетъ-быть, и то пресыщеніе всѣми зрѣлищами, какія такъ свойственны знаменитостямъ. Ея прекрасные длинные, худые пальцы лѣвой руки лежали на малиновомъ бархатѣ ложи. Рѣдкостной красоты изумруды такъ небрежно держались на нихъ, что, казалось, вотъ-вотъ свалятся. Вдругъ она разсмѣялась.

— Посмотрите,—сказала она,—какая смѣшная фигура, или, вѣрнѣе сказать, какая смѣшная профессія. Вотъ, вотъ на этого, который играетъ на „семиствольной цѣвниці“.

Всѣ поглядѣли по направленію ея руки. И въ самомъ дѣлѣ, картина была довольно смѣшная. Сзади румынскаго оркестра сидѣлъ толстый, усатый человекъ, вѣроятно, отецъ, а можетъ-быть, даже и дѣдушка многочисленнаго семейства, и изо всѣхъ силъ свистѣлъ въ семь деревянныхъ свистулекъ, склеенныхъ вмѣстѣ. Такъ какъ ему было, вѣроятно, трудно передвигать этотъ инструментъ между губами, то онъ съ необыкновенной быстротой поворачивалъ голову то влѣво, то вправо.

— Удивительное занятіе,—сказала Ровинская.—А ну-ка вы, Чаплинскій, попробуйте такъ помотать головой.

Володя Чаплинскій, тайно и безнадежно влюбленный въ артистку, сейчасъ же послушно и усердно постарался это сдѣлать, но черезъ полминуты отказался.

— Это невозможно,—сказалъ онъ,—тутъ нужна или долгая тренировка, или, можетъ-быть, наследственные способности.

Баронесса въ это время отрывала лепестки у своей розы и бросала ихъ въ бокаль, потомъ, съ трудомъ подавивъ зѣвоту, она сказала, чуть-чуть поморщившись:

— Но, Боже мой, какъ скучно развлекаются у васъ въ К*! Посмотрите: ни смѣха, ни пѣнія, ни танцевъ. Точно какое-то стадо, которое пригнали, чтобы нарочно веселиться!

Рязановъ лѣниво взялъ свой бокалъ, отхлебнулъ немного и отвѣтилъ равнодушно, своимъ очаровательнымъ голосомъ:

— Ну, а у васъ, въ Парижѣ или Ниццѣ, развѣ веселѣе? Вѣдь надо сознаться: веселье, молодость и смѣхъ навсегда исчезли изъ человѣческой жизни, да и врядъ ли когда-нибудь вернуться. Мнѣ кажется, что нужно относиться къ людямъ терпѣливѣе. Почему знать, можетъ-быть, для всѣхъ сидящихъ тутъ, впризу, сегодняшній вечеръ—отдыхъ, праздникъ?

— Защитительная рѣчь,—вставилъ со своей спокойной манерой Чаплинскій.

Но Ровинская быстро обернулась къ мужчинамъ, и ея длинные изумрудные глаза сузились. А это у нея служило признакомъ гнѣва. Впрочемъ, она тотчасъ же сдержалась и продолжала вяло:

— Я не понимаю, о чемъ вы говорите. Я не понимаю даже, для чего мы сюда прѣехали. Вѣдь зрѣлищъ теперь совсѣмъ нѣтъ на свѣтѣ. Вотъ я, напримеръ, видала бои быковъ въ Севильѣ, Мадридѣ и Марсели—представленіе, которое, кромѣ отвращенія, ничего не вызываетъ. Видала и боксъ и борьбу—гадость и грубость. Пришлось мнѣ также участвовать на охотѣ на тигра, причемъ я сидѣла подъ балдахиномъ на спинѣ большого умнаго бѣлаго слона... словомъ, вы это хорошо сами знаете. И ото всей моей большой, пестрой, шумной жизни, отъ которой я состарилась...

— О, что вы, Елена Викторовна!—сказала съ ласковымъ упрекомъ Чаплинскій.

— Бросьте, Володя, комплименты! Я сама знаю, что еще молода и прекрасна тѣломъ, но, право, иногда мнѣ

кажется, что мнѣ девятисто лѣтъ. Такъ износила душа. Я продолжаю. Я говорю, что за всю мою жизнь только три сильныхъ впечатлѣнія прѣзались въ мою душу. Первое—это когда я еще дѣвочкой видѣла, какъ кошка крадась за воробьемъ, и я съ ужасомъ и съ интересомъ слѣдила за ея движеніями и за зоркимъ взглядомъ птицы. До сихъ поръ я и сама не знаю, чему я сочувствовала болѣе: ловкости ли кошки или увертливости воробья. Воробей оказался проворнѣе. Онъ мгновенно взлетѣлъ на дерево и началъ оттуда осыпать кошку такой воробьиной бранью, что я покраснѣла бы отъ стыда, если бы поняла хоть одно слово. А кошка обиженно подняла хвостъ трубою и старалась сама передъ собою дѣлать видъ, что ничего особеннаго не произошло. Въ другой разъ мнѣ пришлось пѣть въ оперѣ дуэтъ съ однимъ великимъ артистомъ...

— Съ кѣмъ?—спросила быстро баронесса.

— Не все ли равно? Къ чему имена? И вотъ, когда мы съ нимъ пѣли, я вся чувствовала себя во власти гения. Какъ чудесно, въ какую дивную гармонию слились наши голоса! Ахъ! Невозможно передать этого впечатлѣнія. Вѣроятно, это бывасть только разъ въ жизни. Мнѣ по роли нужно было плакать, и я плакала искренними, настоящими слезами. И когда послѣ заповѣса онъ подошелъ ко мнѣ и погладилъ меня своей большой горячей рукой по волосамъ и со своей обворожительно-свѣтлой улыбкой сказалъ: „Прекрасно! Первый разъ въ жизни я такъ пѣлъ“,—и вотъ я,—а я очень гордый человекъ,—я поцѣловала у него руку. А у меня еще стояли слезы въ глазахъ...

— А третье?—спросила баронесса, и глаза ея зажглись злыми искрами ревности.

— Ахъ, третье,—отвѣтила грустно артистка:— третье проще простаго. Въ проплогоднемъ сезонѣ я жила въ Ниццѣ и вотъ видѣла на открытой сценѣ, во Фрежюсъ,

„Кармень“ съ участіемъ Сесиль Кеттенъ, которая теперь, — артистка искренне перекрестилась, — умерла, не знаю, право, къ счастью или къ несчастью для себя?

Вдругъ, мгновенно, ея прелестные глаза наполнились слезами и засіяли такимъ волшебнымъ зеленымъ свѣтомъ, какимъ сіяетъ лѣтними теплыми сумерками вечерняя звѣзда. Она обернула лицо къ сценѣ, и нѣкоторое время ея длинные нервные пальцы судорожно сжимали обивку барьера ложи. Но когда она опять обернулась къ своимъ друзьямъ, то глаза уже были сухи, и на загадочныхъ, порочныхъ и властныхъ губахъ блестѣла непринужденная улыбка.

Тогда Рязановъ спросилъ ее вѣжливо, нѣжнымъ, но умышленно-спокойнымъ тономъ:

— Но вѣдь, Елена Викторовна, ваша громадная слава, поклонники, ревъ толпы... наконецъ тотъ восторгъ, который вы доставляете своимъ зрителямъ. Неужели даже это не щекочетъ вашихъ нервовъ?

— Нѣтъ, Рязановъ, — отвѣтила она усталымъ голосомъ: — вы сами не хуже меня знаете, чего это стѣбитъ. Наглый интервьюеръ, которому нужны контрмарки для его знакомыхъ, а встаетъ и двадцать пять рублей въ конвертѣ. Гимназисты, гимназистки, студенты и курсистки, которые выпрашиваютъ у васъ карточки съ подписями. Какой-нибудь старый титулованный болванъ, который громко мнѣ поддѣваетъ во время моей арии. Вѣчный шепотъ сзади тебя, когда ты проходишь: „Вотъ она, та самая, знаменитая!“. Анонимныя письма, наглость закулисныхъ завсегдатаевъ... да всего и не перечислишь! Вѣдь, навѣрное, васъ самого часто осаждаютъ судебныя психиатки?

— Да, — сказалъ твердо Рязановъ.

— Вотъ и все. А прибавьте къ этому самое ужасное, то, что каждый разъ, почувствовавъ настоящее вдохновеніе, я тутъ же мучительно ощущаю сознаніе, что я притворяюсь и кривляюсь передъ людьми... А боязнь успѣха со-

перницы? А вѣчный страхъ потерять голосъ, сорвать его или простудиться? Вѣчная мучительная возня съ горловыми связками? Нѣтъ, право, тяжело нести на своихъ плечахъ извѣстность.

— Но артистическая слава? — возразилъ адвокатъ. — Власть генія! Это вѣдь истинная моральная власть, которая выше любой королевской власти на свѣтѣ!

— Да, да, конечно, вы правы, мой дорогой. Но слава, знаменитость сладки лишь издали, когда о нихъ только мечтаешь. Но когда ихъ достигъ — то чувствуешь одни ихъ шины. И зато какъ мучительно ощущаешь каждый волотникъ ихъ убыли. И еще я забыла сказать. Вѣдь мы, артисты, несемъ каторжный трудъ. Утромъ упражненія, днемъ репетиція, а тамъ едва хватить времени на обѣдъ и пора на спектакль. Чудомъ урвешь часокъ, чтобы почитать или развлечься, вотъ какъ мы съ вами. Да и то... развлечение совсѣмъ изъ среднихъ...

Она небрежно и утомленно слегка махнула пальцами руки, лежавшей на барьерѣ.

Володя Чаплинскій, взволнованный этимъ разговоромъ, вдругъ спросилъ:

— Ну, а скажите, Елена Викторовна, чего бы вы хотѣли, что бы развлекло ваше воображеніе и скуку?

Она посмотрѣла на него своими загадочными глазами и тихо, какъ будто даже немножко застѣнчиво, отвѣтила:

— Въ прежнее время люди жили веселѣе и не знали никакихъ предрасудковъ. Вотъ тогда, мнѣ кажется, я была бы на мѣстѣ и жила бы полной жизнью. О, древній Римъ!

Никто ее не понялъ, кромѣ Рязанова, который, не глядя на нее, медленно произнесъ своимъ бархатнымъ актерскимъ голосомъ классическую, всѣмъ извѣстную латинскую фразу:

— Ave, Caesar, morituri te salutant!

— Именно! Я васъ очень люблю, Гязановъ, за то, что вы умница. Вы всегда схватите мысль палету, хотя должна сказать, что это не особенно высокое свойство ума. И въ самомъ дѣлѣ, сходятся два человѣка, вчерашніе друзья, собесѣдники, застольники, и сегодня одинъ изъ нихъ долженъ погибнуть. Понимаете, уйти изъ жизни навсегда. Но у нихъ нѣтъ ни злобы ни страха. Вотъ настоящее прекрасное зрѣлище, которое я только могу себѣ представить!

— Сколько въ тебѣ жестокости, — сказала раздумчиво баронесса.

— Да, ужъ ничего не подѣлаешь! Мои предки были всадниками и грабителями. Однако, господа, не уѣхать ли намъ?

Они всѣ вышли изъ сада. Володя Чаплинскій велѣлъ крикнуть свой автомобиль. Елена Викторовна опиралась на его руку. И вдругъ она спросила:

— Скажите, Володя, куда вы обыкновенно ѣздите, когда прощаетесь съ такъ называемыми порядочными женщинами?

Володя замлся. Однако онъ зналъ твердо, что гдѣ Ровинской пельзы.

— М-м-м... Я боюсь оскорбить вашу 'слухъ. М-м-м... Къ цыганамъ, напримеръ... въ починья кабарэ...

— А еще что-нибудь? похуже?

— Право, вы ставите меня въ неловкое положеніе. Съ тѣхъ поръ, какъ я въ васъ такъ безумно влюбленъ...

— Оставьте романтику!

— Ну, какъ сказать...—пролететаль Володя, почувствовавъ, что онъ краснѣетъ не только лицомъ, но тѣломъ, спиной, — ну, конечно, къ женщинамъ. Теперь со мною лично этого, конечно, не бываетъ...

Ровинская злобно прижала къ себѣ локоть Чаплинскаго.

— Въ публичный домъ?

Володя ничего не отвѣтилъ. Тогда она сказала:

— Итакъ, вотъ сейчасъ вы насъ туда свезете на автомобиль и познакомите насъ съ этимъ бытомъ, который

для меня чуждъ. Но помните, что я полагаюсь на ваше покровительство.

Остальные двое согласились на это, вѣроитно, неохотно, но Еленѣ Викторовнѣ сопротивляться не было никакой возможности. Она всегда дѣлала все, что хотѣла. И потому все они слышали и знали, что въ Петербургѣ свѣтскія кутящія дамы и даже дѣвушки позволяютъ себѣ изъ моднаго снобизма выходки куда похуже той, какую предложила Ровинская.

VII.

По дорогѣ на Ямскую улицу Ровинская сказала Володѣ:

— Вы меня повезете сначала въ самое роскопное учрежденіе, потомъ въ среднее, а потомъ въ самое грязное.

— Дорогая Елена Викторовна, — горячо возразилъ Чаплинскій, — я для васъ готовъ все сдѣлать. Говорю безъ ложнаго хвастовства, что отдамъ свою жизнь по вашему приказанію, разрушу свою карьеру и положеніе по вашему одному знаку... Но я не ризкую васъ везти въ эти дома. Русскіе нравы — грубые, а часто и просто безчеловѣчныя нравы. Я боюсь, что васъ оскорбитъ рѣзкимъ, непристойнымъ словомъ, или случайный посѣтитель сдѣластъ при васъ какую-нибудь нетѣную выходку...

— Ахъ, Боже мой, — нетерпѣливо прервала Ровинская, — когда я была въ Лондонѣ, то въ это время за мной многіе ухаживали, и я не постѣснялась въ избранной компаніи поѣхать смотрѣть самые грязные притоны Уайтчепла. Скажу, что ко мнѣ тамъ относились очень бережно и предупредительно. Скажу также, что со мной были въ это время двое англійскихъ аристократовъ, лорды, оба спортсмены, оба люди необыкновенно сильныя физически и морально, которые, конечно, никогда не позволили бы обидѣть женщину. Впрочемъ, можетъ-быть, вы, Володя, изъ породы трусовъ?..

Чаплинскій вспыхнулъ:

— О, нѣтъ, нѣтъ, Елена Викторовна. Я васъ предупреждалъ только изъ любви къ вамъ. Но если вы прикажете, то я готовъ идти, куда хотите. Не только въ это сомнительное предпріятіе, но хоть и на самую смерть.

Въ это время они уже подъѣхали къ самому роскошному заведенію на Ямкахъ—къ Треппелю. Адвокатъ Рязановъ сказалъ, улыбаясь своей обычной проницательной улыбкой:

— Итакъ, начнемъ обзоръ...

Ихъ провели въ кабинетъ съ малиновыми обоями, а на обояхъ повторялся, въ стилѣ „ампиръ“, золотой рисунокъ въ видѣ мелкихъ лавровыхъ вѣнковъ. И сразу Ровинская узнала своей зоркой артистической памятью, что совершенно такіе же обои были и въ томъ кабинетѣ, гдѣ они всѣ четверо только-что сидѣли.

Вошли четыре остзейскія нѣмки. Всѣ толстыя, полпогрудыя, блондинки, напудренные, очень важныя и почти-тѣльныя. Разговоръ сначала не завязывался. Дѣвушки сидѣли неподвижно, точно каменные изваянія, чтобы изъ всѣхъ силъ притвориться приличными дамами. Даже шампанское, которое потребовалъ Рязановъ, не улучшило настроеніе. Ровинская первая пришла на помощь обществу, обратившись къ самой толстой, самой бѣлокурой, похожей на булку, нѣмкѣ. Она спросила вѣжливо по-нѣмецки:

— Скажите,—откуда вы родомъ? Вѣроятно, изъ Германіи?

— Нѣтъ, gnädige Frau, я изъ Риги.

— Чтѣ же васъ заставляетъ здѣсь служить? Надѣюсь—не нужда?

— Конечно, нѣтъ, Gnädige Frau. Но, понимаете, мой женихъ, Гансъ, служить кельнеромъ въ ресторанъ-автоматъ, и мы слишкомъ бѣдны для того, чтобы теперь жениться. Я отношу мои сбереженія въ банкъ, и онъ дѣлаетъ то же самое. Когда мы накопимъ необходимыя намъ десять тысячъ рублей, то мы откроемъ свою собственную пивную

и, если Богъ благословить, тогда мы позволимъ себѣ роскошь имѣть дѣтей.

— Но, послушайте же, mein Fräulein! — удивилась Ровинская.— Вы молоды, красивы, знаете два языка...

— Три, мадамъ,— гордо вставила нѣмка.— Я знаю еще и эстонскій. Я окончила городское училище и три класса гимназій.

— Ну вотъ, видите, видите...—загорячилась Ровинская.— Съ такимъ образованіемъ вы всегда могли бы найти мѣсто на всемъ готовомъ рублей на тридцать. Ну, скажемъ, въ качествѣ экономки, бонны, старшей приказчицы въ хорошемъ магазинѣ, кассирши... И если вашъ будущій женихъ... Фрицъ...

— Гансъ, мадамъ...

— Если Гансъ оказался бы трудолюбивымъ и бережливымъ человѣкомъ, то вамъ совсѣмъ нетрудно было бы черезъ три-четыре года стать совершенно на ноги. Какъ вы думаете?

— Ахъ, мадамъ, вы немного ошибаетесь. Вы упустили изъ виду то, что на самомъ лучшемъ мѣстѣ я, даже отказывая себѣ во всемъ, не сумѣю отложить въ мѣсяцъ болѣе пятнадцати-двадцати рублей, а здѣсь, при благоразумной экономіи, я выгадываю до ста рублей и сейчасъ же отношу ихъ въ сберегательную кассу на книжку. А кромѣ того, вообразите себѣ, gnädige Frau, какое унижительное положеніе быть въ домѣ прислугой! Всегда зависѣть отъ каприза или расположенія духа хозяевъ! И хозяинъ всегда пристааетъ съ глупостями. Пфуй!.. А хозяйка ревнуетъ, придирается и бранится.

— Нѣтъ... не понимаю...—задумчиво протинула Ровинская, не глядя нѣмкѣ въ лицо, а потупивъ глаза въ полъ.— Я много слышала о вашей жизни здѣсь, въ этихъ... какъ это называется?... въ домахъ. Рассказываютъ что-то ужасное. Что васъ принуждаютъ любить самыхъ отвратительныхъ, старыхъ и уродливыхъ мужчинъ, что васъ обираютъ и эксплуатируютъ самымъ жестокимъ образомъ...

— О, никогда, мадамъ... У насъ, у каждой, есть своя расчетная книжка, гдѣ вписывается аккуратно мой доходъ и расходъ. За прошлый мѣсяцъ я заработала немного больше пятисотъ рублей. Какъ всегда, хозяйкѣ двѣ трети за столъ, квартиру, отопленіе, освѣщеніе, бѣлье... Мнѣ остается больше чѣмъ сто пятьдесятъ, не такъ ли? Пятьдесятъ я трачу на костюмы и на всякія мелочи. Сто собираю... Какая же это эксплуатація, мадамъ, я васъ спрашиваю? А если мужчина мнѣ совсѣмъ не нравится, — правда, бываютъ черезчуръ ужъ гадкіе, — я всегда могу сказаться больной, и вмѣсто меня пойдетъ какая-нибудь изъ новенькихъ...

— Но вѣдь... простите, я не знаю вашего имени...

— Эльза.

— Говорятъ, Эльза, что съ вами обращаются очень грубо... иногда бьютъ... принуждаютъ къ тому, чего вы не хотите и что вамъ противно?

— Никогда, мадамъ! — высокомерно уронила Эльза. — Мы всѣ здѣсь живемъ своей дружной семьей. Всѣ мы землячки или родственницы, и дай Богъ, чтобы многимъ такъ жилось въ родныхъ фамиліяхъ, какъ намъ здѣсь. Правда, на Ямской улицѣ бываютъ разные скандалы и драки и недоразумѣнія. Но это тамъ... въ этихъ... въ рублевыхъ заведеніяхъ. Русскія дѣвушки много пьютъ и всегда имѣютъ одного любовника. И онѣ совсѣмъ не думаютъ о своемъ будущемъ.

— Вы благородны, Эльза, — сказала тяжелымъ тономъ Ровинская. — Все это хорошо. Ну, а случайная болѣзнь? Зараза? Вѣдь это смерть! А какъ угадать?

— И опять — вѣтъ, мадамъ. Я не пушу къ себѣ въ кровать мужчину, прежде чѣмъ не сдѣлаю ему подробный медицинскій осмотръ... Я гарантирована, по крайней мѣрѣ, на семьдесятъ пять процентовъ.

— Чортъ! — вдругъ горячо воскликнула Ровинская и стукнула кулакомъ по столу. — Но вѣдь вашъ Фрицъ...

— Гансъ...—кратко поправила нѣмка.

— Простите... Вашъ Гансъ, навѣрно, не очень радуется тому, что вы живете здѣсь и что вы каждый день измѣняете ему?

Эльза поглядѣла на нее съ искреннимъ живымъ изумленіемъ.

— Но, gnädige Frau... Я никогда и не пзмѣнила ему! Это другія погибшія дѣвчонки, особенно русскія, имѣють себѣ любовниковъ, на которыхъ онѣ тратятъ свои тяжелыя деньги. Но чтобы я когда-нибудь допустила себя до этого? Цфуй!

— Бѣднаго паденія я не воображала! — сказала брезгливо и громко Ровинская, вставая.—Заплатите, Володи, и пойдемъ отсюда дальше.

Когда они вышли на улицу, Володи взялъ ее подъ руку и сказалъ умоляющимъ голосомъ:

— Ради Бога, не довольно ли вамъ одного опыта?

— О, какая пошлость! Какая пошлость!

— Вотъ и поэтому и говорю, бросимъ этотъ опытъ.

— Нѣтъ, во всякомъ случаѣ я иду до конца. Покажите мнѣ что-нибудь среднее, попроще.

Володя Чаплинскій, который все время мучился за Елену Викторовну, предложилъ самое подходящее: зайти въ заведеніе Анны Марковны, до котораго всего десять шаговъ.

Но тутъ-то ихъ и ждали сильныя впечатлѣнія. Сначала Симеонъ не хотѣлъ ихъ впускать, и лишь нѣсколько золотыхъ, которые далъ ему Рязановъ, смягчили его. Они заняли кабинетъ, почти такой же, какъ у Треннели, только немножко болѣе ободранный и полинялый. По приказанію Эммы Эдуардовны, согнали въ кабинетъ дѣвщцъ. Но это было то же самое, что пустить козла въ огородъ. А главной ошибкой было то, что пустили туда и Женьку—злую, раздраженную, съ дерзкими огнями въ глазахъ. Послѣдней вошла скромная, тихая Тамара со своей застѣпчивой и

развратной улыбкой Монны Лизы. Въ кабинетѣ собрался въ концѣ концовъ почти весь составъ заведенія. Ровинская уже не рисковала спрашивать— „какъ дошла ты до жизни такой?“. Но надо сказать, что обитательницы дома встрѣтили ее съ виѣшнимъ гостепріимствомъ. Елена Викторовна попросила спѣть ихъ обычныя пѣсни, и онѣ охотно спѣли:

Понедѣльникъ наступаетъ,
Мнѣ на выписку идти,
Докторъ Красовъ не пускаетъ,—
Ну, такъ чортъ его дерн.

И дальше:

Бѣдная, бѣдная, бѣдная я—
Казенка закрыта,
Болишь голова...

* * *

Любовь шармача
Горяча, горяча,
А проститутка
Какъ ледъ холодна...
Ха-ха-ха!

* * *

Сотшлись они
На подборъ, на подборъ:
Она—проститутка,
Онъ—карманный воръ...
Ха-ха-ха!

* * *

Вотъ утро приходитъ,
Онъ о кражѣ хлопочетъ,
Она же на кровати .
Лежить и хохочетъ...
Ха-ха-ха!

* * *

На утро мальчишку
Въ сыскную ведутъ,

Ее жъ, проститутку,
Товарищи ждуть...
Ха-ха-ха!..

И еще дальше арестантскую:

Погибъ я, мальчишка,
Погибъ навсегда,
А годы за годами —
Проходить лѣта.

И еще:

Не плачь ты, Маруся,
Будешь ты моя,
Какъ отбуду призывъ,
Женюсь на тебя.

Но тутъ вдругъ, къ общему удивленію, расхохоталась толстая, обычно молчаливая Катька. Она была родомъ изъ Одессы.

— Позвольте и мнѣ слѣть одну пѣсню. Ее поютъ у насъ на Молдаванкѣ и на Пересыпи воры и хипесницы въ трактирахъ.

И ужаснымъ басомъ, заржавленнымъ и неподатливымъ голосомъ она зашѣла, дѣлая самые нелѣпые жесты, но, очевидно, подражая когда-то видѣнной ею шансонетной пѣвицѣ третьяго разбора:

Ахъ, пойду я къ „дюковку“,
Сяду я за столъ,
Сбрасиваю шляпу,
Кидаю подъ столъ.
Спрашиваю милую,
Что ты будишь пить?
А она мнѣ отвѣчаетъ:
Голова болить.
Я тебѣ не спраую,
Что въ тебѣ болить,
А я тебѣ спраую,
Что ты будешь пить?
Или же пиво, или же вино,
Или же фіалку, или ничего?

И все обошлось бы хорошо; если бы вдругъ не ворвалась въ кабинетъ Манька-бѣленькая въ одной нижней рубашкѣ и въ бѣлыхъ кружевныхъ штайшкахъ. Съ нею купить какой-то купецъ, который наканунѣ устраивалъ райскую ночь, и злосчастный бенедиктинъ, который на дѣвushку всегда дѣйствовалъ съ быстротою динамита, привелъ ее въ обычное скандальное состояніе. Она уже не была больше Манька-маленькая и не „Манька-бѣленькая“, а была Манька-скандалистка. Вбѣжавъ въ кабинетъ, она сразу отъ неожиданности упала на полъ и, лежа на спинѣ, расхохоталась такъ искренно, что и всѣ остальные расхохотались. Да. Но смѣхъ этотъ былъ недологъ... Манька вдругъ усѣлась на полу и закричала:

— Ура, къ намъ новыя дѣвки поступили!

Это было совсѣмъ уже неожиданностью. Еще бѣольшую безтактность сдѣлала баронесса. Она сказала:

— Я—патронесса монастыря для падшихъ дѣвushекъ, и поэтому я, по долгу моей службы, должна собирать свѣдѣнія о васъ.

Но тутъ мгновенно вспыхнула Женька:

— Сейчасъ же убирайся отсюда, старая дура! Ветошка! Половая тряпка!.. Ваши пріюты Магдалины — это хуже, чѣмъ тюрьма. Ваши секретари пользуются нами, какъ собаки падалю. Ваши отцы, мужья и братья приходятъ къ намъ, и мы заражаемъ ихъ всякими болѣзнями... Нарочно!.. А они въ свою очередь заражаютъ васъ. Ваши надзирательницы живутъ съ кучерами, дворниками и городовыми, а насъ сажаютъ въ карцеръ за то, что мы разсмѣемся или пошутимъ между собой. И вотъ, если вы пріѣхали сюда для обзорѣнія нашего звѣринца, такъ вы должны выслушать правду прямо въ лицо.

Но Тамара спокойно остановила ее:

— Перестань, Женья, я сама... Неужели вы и вправду думаете, баронесса, что мы хуже такъ называемыхъ по-

рядочныхъ женщинъ? Ко мнѣ приходитъ человекъ, платитъ мнѣ два рубля за визитъ или пять рублей за ночь, и я этого ничуть не скрываю, ни отъ кого въ мірѣ... А скажите, баронесса, неужели вы не знаете семейныхъ замужнихъ женщинъ, которыя отдаются тайкомъ ради страсти—молодому, ради денегъ—старику? Мнѣ прекрасно извѣстно, что пятьдесятъ процентовъ изъ васъ состоятъ на содержаніи у любовниковъ, а тѣ, которыя постарше, содержатъ молодыхъ мальчишекъ, но вы эти секреты прячете въ какой-то потайной сундучокъ. И вотъ вся разница между нами. Мы — падшія, но мы не лжемъ и не притворяемся, а вы падаете и при этомъ лжете. Подумайте теперь сами: въ чью пользу эта разница?

— Bravo, Тамарочка, такъ ихъ!—закричала Манька, вставая съ полу, растрепанная, бѣлокурая, курчавая, похожая сейчасъ на тринадцатилѣтнюю дѣвочку.

— Ну, ну!—подтолкнула и Женька, горя воспламененными глазами.

— Отчего же, Женечка! Я пойду и дальше. Изъ насъ едва-едва одна на тысячу дѣлала себѣ абортъ. А вы всѣ по нѣскольку разъ. Чтѣ? Или это неправда? И тѣ изъ васъ, которыя это дѣлали, дѣлали не ради отчаянія или жестокой бѣдности, а вы просто боитесь испортить себѣ фигуру и красоту—этотъ вашъ единственный капиталъ! Или вы искали лишь скотской похоти, а беременность и кормленіе мѣшали вамъ ей предаваться!

Ровинская сконфузилась и быстрымъ шопотомъ произнесла:

— Faites attention, baronne, que dans sa position cette demoiselle est instruite *).

— Figurez-vous que moi, j'ai aussi remarqué cet étrange

* *) Обратите вниманіе, баронесса, въ ея положеніи эта дѣвушка довольно образована.

visage. Comme si je l'ai déjà vu... est-ce en rêve?.. en demi-delire? ou dans sa petite enfance *)?

— Ne vous donnez pas la peine de chercher dans vos souvenirs, baronne,—вдруг дерзко вмѣшалась въ ихъ разговоръ Тамара.—Je puis de suite vous venir en aide. Rappelez-vous seulement Kharkoff, et la chambre d'hôtel de Koniakine, l'entrepreneur Solovieitschik, et le ténor di grazzia... A ce moment vous n'étiez pas encore m-me la baronne de... **). Впрочемъ, бросимъ французскій языкъ... Вы были простой хористкой и служили со мной вмѣстѣ.

— Mais dites-moi, au nom de Dieu, comment vous trouvez vous ici, mademoiselle Marguerite ***)?

— О, объ этомъ насъ ежедневно спрашиваютъ. Просто взяла и очутилась...

И съ непередаваемымъ цинизмомъ она спросила:

— Надѣюсь, вы оплатите время, которое мы провели съ вами?

— Нѣтъ, чортъ васъ побралъ бы!—вдругъ вскрикнула, быстро поднявшись съ ковра, Манька-бѣленькая.

И вдругъ, вытащивъ изъ-за чулка два золотыхъ, швырнула ихъ на столъ.

— Нате!.. Это я вамъ даю на извозчика. Уѣзжайте сейчасъ же, иначе я разобью здѣсь всѣ зеркала и бутылки...

Ровинская встала и сказала съ искренними теплыми слезами на глазахъ:

— Конечно, мы уѣдемъ, и урокъ m-me Marguerite пой-

*) Представьте, что я тоже замѣтила это странное лицо. Но гдѣ я его видѣла? Во снѣ? Въ бреду? Въ раннемъ дѣтствѣ?

***) Не трудитесь напрягать вашу память, баронесса. Я сейчасъ приду вамъ на помощь. Вспомните только Харьковъ, гостиницу Конякина, антрепренера Соловейчика и одного лирическаго тенора... Въ то время вы еще не были баронессой де...

****) Но скажите, ради Бога, какъ вы очутились здѣсь, мадемуазель Маргарита?

детъ намъ въ пользу. Время ваше будетъ оплачено — по-заботьтесь, Володя. Однако вы такъ много пѣли для насъ, что позвольте и мнѣ спѣть для васъ.

Ровинская подошла къ піанино, взяла нѣсколько аккордовъ и вдругъ запѣла прелестный романсъ Даргомыжскаго:

„Разстались гордо мы—
Ни вздохомъ ни словами
Упрека ревности тебѣ не подала...
Мы разошлись навѣкъ.
Но если бы съ тобою
Я встрѣтиться могла!..
Ахъ, если бъ я хоть встрѣтиться могла!

* *
* *
*

Безъ слезъ, безъ жалобъ я
Склонилась предъ судьбою...
Не знаю, сдѣлавъ мнѣ
Такъ много въ жизни зла,
Любилъ ли ты меня?
Но если бы съ тобою
Я встрѣтиться могла!
Ахъ, если бъ я хоть встрѣтиться могла!

Этотъ нѣжный и страстный романсъ, исполненный великой артисткой, вдругъ напомнилъ всѣмъ этимъ женщинамъ о первой любви, о первомъ паденіи, о позднемъ прощаніи на весенней зарѣ, на утреннемъ холодкѣ, когда трава сѣда отъ росы, а красное небо красить въ розовый цвѣтъ верхушки березъ, о послѣднихъ объятіяхъ, такъ тѣсно сплетенныхъ, и о томъ, какъ не ошибающееся чуткое сердце скорбно шепчетъ: „нѣтъ, это не повторится, не повторится!“. И губы тогда были холодны и сухи, а на волосахъ лежалъ утренній влажный туманъ.

Замолчала Тамара, замолчала Манька-скандалистка, и вдругъ Женька, самая неукротимая изъ всѣхъ дѣвушекъ, подбѣжала къ артисткѣ, упала на колѣни и зарыдала у нея въ ногахъ.

И Ровинская, сама растроганная, обняла ее за голову и сказала:

— Сестра моя, дай я тебя поцѣлую!

Женька прошептала ей что-то на ухо.

— Да это—глупости,—сказала Ровинская,— нѣсколько мѣсяцевъ лѣченія, и все пройдетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ... Я хочу всѣхъ ихъ сдѣлать больными. Пускай они всѣ сгніють и подохнутъ.

— Ахъ, милая моя,—сказала Ровинская,—я бы на вашемъ мѣстѣ этого не сдѣлала.

И вотъ Женька, эта гордая Женька, стала цѣловать колѣни и руки артистки и говорила:

— Зачѣмъ же меня люди такъ обидѣли?.. Зачѣмъ мени такъ обидѣли? Зачѣмъ? Зачѣмъ? Зачѣмъ?

Такова власть генія!

Единственная власть, которая беретъ въ свои прекрасныя руки не подлый разумъ, а теплую душу человѣка! Самолюбивая Женька прятала свое лицо въ платъ Ровинской, Манька-бѣленькая скромно сидѣла на стулѣ, закрывъ лицо платкомъ, Тамара, опершись локтемъ о колѣно и склонивъ голову на ладонь, сосредоточенно глядѣла внизъ, а швейцаръ Симеонъ, подглядывавшій на всякій случай у дверей, таращилъ глаза отъ изумленія.

Ровинская тихо шептала въ самое ухо Женьки:

— Никогда не отчаивайтесь. Иногда все складывается такъ плохо, хоть вѣшайся, а—глядь—завтра жизнь круто пережѣнилась. Милая моя, сестра моя, я теперь мировая знаменитость. Но если бы ты знала, сквозь какія моря униженій и подлости мнѣ пришлось пройти! Будь же здорова, дорогая моя, и вѣрь своей звѣздѣ.

Она нагнулась къ Женькѣ и поцѣловала ее въ лобъ. И никогда потомъ Володи Чаплинскій, съ жуткимъ напряженіемъ слѣдившій за этой сценой, не могъ забыть тѣхъ теплыхъ и прекрасныхъ лучей, которые въ этотъ моментъ

зажглись въ зеленыхъ, длинныхъ, египетскихъ глазахъ артистки.

Компанія невесело уѣхала, но на минуту задержался Рязановъ.

Онъ подошелъ къ Женкѣ, почтительно и нѣжно поцѣловалъ ея руку и сказалъ:

— Если возможно, простите нашу выходку... Это, конечно, не повторится. Но если я когда-нибудь вамъ понадоблюсь, то помните, что я всегда къ вашимъ услугамъ. Вотъ моя визитная карточка. Не выставляйте ее на своихъ столахъ, но помните, что съ этого вечера я — вашъ другъ.

И онъ, еще разъ поцѣловавъ руку у Женки, послѣднимъ спустился съ лѣстницы.

VIII.

Въ четвергъ съ самаго утра пошелъ непрерывный дождикъ, и вотъ сразу позеленѣли листья каштановъ, акацій и тополей. И вдругъ стало какъ-то мечтательно-тихо и медлительно-скучно. Задумчиво и однообразно.

Въ это время всѣ дѣвушки собрались, по обыкновенію, въ комнату у Женки. Но съ ней дѣлалось что-то странное. Она не острила, не смѣялась, не читала, какъ всегда, своего обычнаго бульварнаго романа, который теперь безцѣльно лежалъ у нея на груди или на животѣ, но была зла, сосредоточенно-печальна, и въ ея глазахъ горѣлъ желтый огонь, говорившій о ненависти. Напрасно Манька-блѣдная, Манька-скандалистка, которая ее обожала, старалась обратить на себя ея вниманіе, — Женка точно ея не замѣчала, и разговоръ совсѣмъ не ладился. Было тоскливо. А можетъ-быть, на всѣхъ на нихъ вліялъ упорный августовскій дождикъ, зарядившій подъ-рядъ на нѣсколько недѣль.

Тамара присѣла на кровать къ Женкѣ, ласково обняла ее и, приблизивъ ротъ къ самому ея уху, сказала шопотомъ:

— Чтò съ тобою, Женечка? Я давно вижу, что съ тобою дѣлается что-то странное. И Манька это тоже чувствуетъ. Посмотри, какъ она извелась безъ твоей ласки. Скажи. Можетъ-быть, я сумѣю чѣмъ-нибудь тебѣ помочь?

Женька закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Тамара немного отодвинулась отъ нея, но продолжала ласково гладить ее по плечу.

— Твое дѣло, Женечка. Я не смѣю лѣзть къ тебѣ въ душу. Я только потому спросила, что ты единственный человѣкъ, который...

Женька вдругъ рѣшительно вскочила съ кровати, схватила за руку Тамару и сказала отрывисто и повелительно:

— Хорошо! Выйдемъ отсюда на минутку. Я тебѣ все расскажу. Дѣвочки, подождите насъ немного.

Въ свѣтломъ коридорѣ Женька положила руки на плечи подружки и съ искаженнымъ, внезапно поблѣднѣвшимъ лицомъ сказала:

— Ну, такъ вотъ слушай: меня кто-то заразилъ сифилисомъ.

— Ахъ, милая, бѣдная моя. Давно?

— Давно. Помнишь, когда у насъ были студенты? Еще они затѣяли скандалъ съ Платонскимъ? Тогда я въ первый разъ узнала объ этомъ. Узнала днемъ.

— Знаешь,—тихо замѣтила Тамара,—я объ этомъ почти догадывалась, а въ особенности тогда, когда ты встала на колѣни передъ пѣвицей и о чемъ-то говорила съ ней тихо. Но все-таки, милая Женечка, вѣдь надо бы полѣчиться.

Женька гнѣвно топнула ногой и разорвала пополамъ батистовый платокъ, который она нервно комкала въ рукахъ.

— Нѣтъ! Ни за что! Изъ васъ я никого не заражу. Ты сама могла замѣтить, что въ послѣднiя недѣли я пе обѣдаю за общимъ столомъ и что сама мою и перетираю посуду. Но этихъ двуногихъ подлецовъ я нарочно зара-

жаю и заражаю каждый вечеръ челоуѣкъ по десяти, по пятнадцати. Пускай они гнѣютъ, пускай переносятъ сифились на своихъ женъ, любовницъ, матерей, да, да, и на матерей, и на отцовъ, и на гувернантокъ, и даже хоть на прабабушекъ. Пускай они пропадутъ всѣ, честные подлецы!

Тамара осторожно и нѣжно погладила Женьку по головѣ.

— Неужели ты пойдешь до конца, Женечка?..

— Да. И безъ всякой пощады. Вамъ однако нечего опасаться меня. Я сама выбираю мужчинъ. Самыхъ глупыхъ, самыхъ красивыхъ, самыхъ богатыхъ и самыхъ важныхъ, но ни къ одной изъ васъ я потомъ ихъ не пушу. О! я разыгрываю передъ ними такія страсти, что ты бы расхохоталась, если бы увидѣла. Я кусаю ихъ, царапаю, кричу и дрожу, какъ сумасшедшая. Они, дурачье, вѣрятъ.

— Твое дѣло, твое дѣло, Женечка, — раздумчиво произнесла Тамара, глядя внизъ: — можетъ-быть, ты и права. Почему знать? Но скажи, какъ ты уклонилась отъ доктора?

Женька вдругъ отвернулась отъ нея, прижалась лицомъ къ углу оконной рамы и внезапно расплакалась ѣдкими жгучими слезами — слезами озлобленія и мести, и въ то же время она говорила, задыхаясь и вздрагивая:

— Потому что... потому что... у меня болитъ тамъ, гдѣ, пожалуй, никакому доктору не видать. А нашъ кромѣ того старъ и глупъ...

И внезапно какимъ-то необыкновеннымъ усиленіемъ воли Женька такъ же неожиданно, какъ расплакалась, такъ и остановила слезы.

— Пойдемъ ко мнѣ, Тamarочка, — сказала она. — Конечно, ты не будешь болтать лишнее?

— Конечно, нѣтъ.

И онѣ вернулись въ комнату Женьки, обѣ спокойныя и сдержанныя.

Въ комнату вошелъ Симеонъ. Онъ, вопреки своей природной наглости, всегда относился съ отгѣнкомъ уваженія къ Женкѣ. Симеонъ сказалъ:

— Такъ что, Женечка, къ Ваудѣ прѣехали ихній гость... Позвольте имъ уйти на десять минутъ.

Ванда, голубоглазая, свѣтлая блондинка, съ большимъ краснымъ ртомъ, съ типичнымъ лицомъ литвинки, поглядѣла умоляюще на Женку. Если бы Женка сказала: „нѣтъ“, то она осталась бы въ комнатѣ, но Женка ничего не сказала и даже умышленно закрыла глаза. Ванда покорно вышла изъ комнаты.

„Почтенный гость“ прѣзжалъ аккуратно два раза въ мѣсяць, черезъ двѣ недѣли (такъ же, какъ къ другой дѣвушкѣ Зоѣ прѣзжалъ ежедневно другой почтенный гость, прозванный въ домѣ директоромъ).

Женка вдругъ бросила черезъ себя старую, затрепанную книжку. Ея коричневыя глаза вспыхнули настоящимъ золотымъ огнемъ.

— Напрасно вы брезгуете имъ,—сказала она.—Я знавала хуже эгоповъ. У меня былъ одинъ гость—настоящій болванъ.

— Шамашечкины! — сказала рѣшительнымъ и неожиданно-низкимъ контрольтю голубоглазая проворная Вѣрка:— шамашечкины.

— Нѣтъ, отчего же? — вдругъ возразила ласковая и скромная Тамара.—Вовсе не сумасшедшій, а просто, какъ и всѣ мужчины, развратникъ. Дома ему скучно, а здѣсь за свои деньги онъ можетъ получить какое хочетъ удовольствіе. Кажется, ясно?

До сихъ поръ молчавшая Женя вдругъ однимъ быстрымъ движеніемъ сѣла на кровать.

— Всѣ вы дуры! — крикнула она.—Отчего вы имъ все это прощаете? Раньше я и сама была глупа, а теперь заставляю ихъ ползти передо мной на колѣнкахъ, заставляю

и ѣловать мои пятки, и они это дѣлають съ наслажденіемъ. Вы всѣ, дѣвочки, знаете, что я не люблю денегъ, но и обираю мужчинъ, какъ только могу. Они, мерзавцы, дарятъ мнѣ портреты своихъ женъ, невѣсть... Впрочемъ, вы, кажется, видали фотографіи въ нашемъ клозетѣ? Но вѣдь подумайте, дѣти мои... Жѣнщина любитъ одинъ разъ, но навсегда, а мужчина, точно борзой кобель... Это вичего, что онъ измѣняетъ, но у него никогда не остается даже простого чувства благодарности ни къ старой ни къ новой любовницѣ. Говорятъ, я слышала, что теперь среди молодежи есть много чистыхъ мальчиковъ. Я этому вѣрю, хотя сама не видѣла, не встрѣчала. А всѣхъ, кого видѣла, всѣ потаскуны, мерзавцы и подлецы. Не такъ давно я читала какой-то романъ изъ нашей разнесчастной жизни. Это было почти то же самое, что я сейчасъ говорю.

Вернулась Ваца. Она медленно, осторожно усѣлась на край Жѣнниной постели, тамъ, гдѣ падала тѣнь отъ лампового колпака. Изъ той глубокой, хотя и уродливой душевной деликатности, которая свойственна людямъ, приговореннымъ къ смерти, каторжникамъ и проституткамъ, никто не осмѣлился ее спросить, какъ она провела эти полтора часа. Вдругъ она бросила на столъ двадцать пять рублей и сказала:

— Принесите мнѣ бѣлаво вина и арбузъ.

И, уткнувшись лицомъ въ опустившіяся на столъ руки, она беззвучно зарыдала. И опять никто не позволилъ себѣ задать ей какой-нибудь вопросъ. Только Женька поблѣднѣла отъ злости и такъ прикусила себѣ нижнюю губу, что на ней потомъ остался рядъ бѣлыхъ пятенъ.

— Да, — сказала она: — вотъ теперь я понимаю Тамару. Ты слышишь, Тамара, я передъ тобой извиняюсь. Я часто смѣялась надъ тѣмъ, что ты влюблена въ своего вора Сеньку. А вотъ я теперь скажу, что изъ всѣхъ мужчинъ

онъ — самый порядочный. Онъ не скрываетъ того, что любитъ дѣвчонку, и, если нужно, сдѣлаетъ для нея преступленіе—воровство или убійство. А эти, остальные! Все вранье, ложь, маленькая хитрость, развратъ исподтишка. У мерзавца три семьи, жена и пятеро дѣтей. Гувернантка и два ребенка отъ нея за границей. И это всё, всё въ городѣ знаютъ, кромѣ его маленькихъ дѣтей. И, представьте себѣ, онъ—почтенное лицо, уважаемое всёмъ міромъ... Дѣти мои, кажется, у насъ никогда не было случая, чтобы мы пускались другъ съ другомъ въ откровенности, а вотъ я вамъ скажу, что меня, когда мнѣ было десять съ половиной лѣтъ, моя собственная мать продала въ городѣ Житомирѣ доктору Жижиленко. Я цѣловала его руки, умоляла пощадить меня, я кричала ему: „я маленькая!“ А онъ мнѣ отвѣчалъ :— „Ничего, ничего: подрастешь“... Ну, конечно, боль, отвращеніе, мерзость... А онъ потомъ это пустилъ, какъ ходячій анекдотъ. Отчаянный крикъ моей души.

— Ну, говорить, такъ говорить до конца, — спокойно сказала вдругъ Зоя и улыбнулась небрежно и печально.— Меня лишилъ невинности учитель, Иванъ Петровичъ Сусъ. Просто позвалъ меня къ себѣ на квартиру, а жена его въ это время пошла на базаръ. Угостилъ меня конфетами, а потомъ сказалъ, что одно изъ двухъ: либо я должна его во всемъ слушаться, либо онъ сейчасъ же меня выгнать изъ школы за дурное поведеніе. А вѣдь вы сами знаете, дѣвочки, какъ мы боимся учителей. Тогда вѣдь онъ намъ казался болѣе, чѣмъ царь и Богъ.

— А меня студентъ. Училъ у насъ барчуковъ. Тамъ, гдѣ я служила...

— Нѣтъ, а я!.. — воскликнула Нюра, но, внезапно обернувшись назадъ, къ двери, такъ и осталась съ раскрытымъ ртомъ. Поглядѣвъ по направленію ея взгляда, Женька всплеснула руками. Въ дверяхъ стояла Любка, исхудавшая,

съ черными кругами подъ глазами, и, точно сомнамбула, отыскивала рукою дверную ручку, какъ точку опоры.

— Любка, дура, что съ тобой?!. — закричала громко Женька: — что?!. —

— Ну, конечно, что: онъ взять и выгнать меня.

Никто не сказалъ ни слова. Женька закрыла глаза руками и часто задышала, и видно было, какъ подъ кожей ея щекъ быстро ходятъ напряженные мускулы скулъ.

— Женечка, на тебя только вся и надежда, — сказала съ глубокимъ выраженіемъ тоскливой беспомощности Любка. — Тебя такъ всѣ уважають. Поговори, душенька, съ Анной Марковной или съ Симеономъ... Пускай меня примуть обратно.

Женька выпрямилась на постели, вперилась въ Любку сухими, горящими, но какъ будто плачущими глазами и спросила отрывисто:

— Ты ѣла что-нибудь сегодня?

— Нѣтъ. Ни вчера ни сегодня. Ничего.

— Послушай, Женечка, — тихо спросила Ванда, — а что, если я дамъ ей бѣлаго вина? А Вѣрка покамѣстъ сбѣгаетъ на кухню за мясомъ. А?

— Дѣлай, какъ знаешь. Конечно, это хорошо. Да поглядите, дѣвчонки, вѣдь она вся мокрал. Ахъ, какал дурища! Ну! Живо! Раздѣвайся! Манька-бѣленькая, или ты, Тамарочка, дайте ей сухія панталоны, теплые чулки и туфли. Ну, теперь, — обратилась она къ Любкѣ, — рассказывай, идиотка, все, что съ тобой случилось!

IX.

Въ то раннее утро, когда Лихонинъ такъ внезапно и, можетъ-быть, неожиданно даже для самого себя увезъ Любку изъ веселаго заведенія Анны Марковны, былъ переломъ лѣта. Деревья еще стояли зелеными, но въ запахѣ воздуха, листьевъ и травы уже слегка чувствовался, точно издали,

нѣжный меланхолическій и въ то же время очаровательный запахъ приближающейся осени. Съ удивленіемъ глядѣлъ студентъ на деревья, такіа чистыя, невинныя и тихія, какъ будто бы Богъ, незамѣтно для людей, рассадилъ ихъ здѣсь ночью, и деревья сами съ удивленіемъ оглядываются вокругъ, на спокойную голубую воду, какъ будто еще дремлющую въ лужахъ и канавахъ и подъ деревяннымъ мостомъ, перекинутымъ черезъ мелкую рѣчку, на высокое, точно вновь обмытое небо, которое только-что проснулось и въ зарѣ, спросонокъ, улыбается розовой, лѣнливой, счастливой улыбкой навстрѣчу разгоравшемуся солнцу.

Сердце студента ширилось и трепетало: и отъ красоты этого блаженнаго утра, и отъ радости существованія, и отъ сладостнаго воздуха, освѣжавшаго его легкія послѣ ночи, проведенной безъ сна, въ тѣсномъ и накуренномъ помѣщеніи. Но еще болѣе умилила его красота и возвышенность собственнаго поступка.

„Да, онъ поступилъ, какъ человѣкъ, какъ настоящій человѣкъ въ самомъ высокомъ смыслѣ этого слова! Вотъ и теперь онъ не раскаивается въ томъ, что сдѣлалъ. Хорошо имъ (кому это „имъ“, Лиховинъ и самъ не понималъ какъ слѣдуетъ), хорошо имъ говорить объ ужасахъ проституціи, говорить, сидя за чаемъ, съ булками и колбасой, въ присутствіи чистыхъ и развитыхъ дѣвушекъ. А сдѣлалъ ли кто-нибудь изъ коллегъ какой-нибудь дѣйствительный шагъ къ освобожденію женщины отъ гибели? Ну-ка? А то есть еще и такіе, что придетъ къ этой самой Солечкѣ Мармеладовой, наговоритъ ей турусы на колесахъ, распишетъ всякіе ужасы, залѣзетъ къ ней въ душу, пока не доведетъ до слезъ, и сейчасъ же самъ расмачется и начнетъ утѣшать, обнимать, по головѣ погладитъ, поцѣлуетъ сначала въ щеку, потомъ въ губы, ну, и извѣстно что! Тьфу! А вотъ у него, у Лиховина, слово съ дѣломъ никогда не расходится“.

Онъ обнялъ Любку за станъ и поглядѣлъ на нее ласковыми, почти влюбленными глазами, хотя самъ подумалъ сейчасъ же, что смотритъ на нее какъ отецъ или братъ.

Любку страшно морилъ сонъ, слипались глаза, и она съ усиленіемъ тарасила ихъ, чтобы не заснуть, а на губахъ лежала та же наивная, дѣтская, усталая улыбка, которую Лихонинъ замѣтилъ еще и тамъ, въ кабинетѣ.

— Люба, дорогая моя! Милая, многострадальная женщина! Посмотри, какъ хорошо кругомъ! Господи! Вотъ уже пять лѣтъ, какъ я не видалъ восхода солнца. То карточная игра, то пьянство, то въ университетъ надо итти. Посмотри, душенька, вонъ тамъ заря расцвѣла. Солнце близко! Это — твоя заря, Любочка! Это начинается твоя новая жизнь. Ты смѣло обопрешься на мою сильную руку. Я выведу тебя на дорогу честнаго труда, на путь смѣлой, лицомъ къ лицу, борьбы съ жизнью!

Любка искоса взглянула на него. „Ишь, хмель-то еще играетъ, — ласково подумала она. — А ничего — добрый и хорошій. Только немножко некрасивый“. И, улыбнувшись полусонной улыбкой, она сказала тономъ капризнаго упрека:

— Да-а! Обма-анете, небось? Всѣ вы мужчины такіе. Вамъ бы сперва своего добиться, получить свое удовольствіе, а потомъ нуль вниманія!

— Я?! О! Чтобы я?! — воскликнулъ горячо Лихонинъ и даже свободной рукой ударилъ себя въ грудь. — Плохо же ты меня знаешь! Я слишкомъ честный человекъ, чтобы обмащивать беззащитную дѣвушку. Нѣтъ! Я положу всѣ свои силы и всю свою душу, чтобы образовать твой умъ, расширить твой кругозоръ, заставить твое бѣдное, изстрадавшееся сердце забыть всѣ раны и обиды, которыя нанесла ему жизнь! Я буду тебѣ отцомъ и братомъ! Я оберегу каждый твой шагъ! А если ты полюбишь кого-нибудь истинно-чистой, святой любовью, то я благословлю тотъ день и часъ, когда вырвалъ тебя изъ этого Дантова ада!

Въ продолженіе этой пылкой тирады старый извозчикъ многозначительно, хотя и молча, размѣялся, и отъ этого беззвучнаго смѣха тряслась его спина. Старые извозчики очень многое слышатъ, потому что извозчику, сидящему спереди, все прекрасно слышно, чего вовсе не подозреваютъ разговаривающіе сѣдоки, и многое старые извозчики знаютъ изъ того, что происходитъ между людьми. Почему знать, можетъ-быть, онъ слышалъ не разъ и болѣе безпорядочныя, болѣе возвышенныя рѣчи?

Любка почему-то показалось, что Лихонинъ на нее разсердился или заранѣе ревнуетъ ее къ воображаемому сопернику. Ужъ слишкомъ онъ громко и возбужденно декламировалъ. Она совсѣмъ проснулась, повернула къ Лихонину свое лицо, съ широко раскрытыми, недоумѣвающими и въ то же время покорными глазами, и слегка прикоснулась пальцами къ его правой рукѣ, лежавшей на ея талии.

— Не сердитесь, мой миленькій. Я никогда не смѣню васъ на другого. Вотъ вамъ, ей-Богу, честное слово! Честное слово, что никогда! Развѣ я не чувствую, что вы меня хотите обезпечить? Вы думаете, развѣ я не понимаю? Вы же такой симпатичный, хорошенькій, молоденькій. Вотъ, если бы вы были старикъ и некрасивый...

— Ахъ! Ты не про то! — закричалъ Лихонинъ и опять высокимъ слогомъ началъ говорить ей о равноправіи женщинъ, о святости труда, о человѣческой справедливости, о свободѣ, о борьбѣ противъ царящаго зла.

Изъ всѣхъ его словъ Любка не поняла ровно ни одного. Она все-таки чувствовала себя въ чемъ-то виноватой и вся какъ-то съежилась, запечалилась, опустила внизъ голову и замолчала. Еще немного, и она, пожалуй, расплакалась бы среди улицы, но, къ счастью, они въ это время подѣхали къ дому, гдѣ квартировалъ Лихонинъ.

— Ну вотъ мы и дома, — сказалъ студентъ. — Стой, извозчикъ!

А когда расплатился, то не удержался, чтобы не произнести патетически, съ рукой, театрально-протянутой впередъ, прямо передъ собой:

„И въ домъ мой смѣло и спокойно
Хозяйкой полною войди!“

И опять непонятная пророческая улыбка съежила старческое коричневое лицо извозчика.

Х.

Комната, въ которой жилъ Лихонинъ, помѣщалась въ пятомъ съ половиной этажѣ. Съ половиной потому, что есть такіе пяти-, шести- и семиэтажные доходные дома, биткомъ набитые и дешевые, сверху которыхъ возводятся еще жалкіе клоповники изъ кровельнаго желѣза, нѣчто въ родѣ мансардъ, или, вѣрнѣе, скворечниковъ, въ которыхъ страшно холодно зимой, а лѣтомъ жарко, точно на тропикахъ. Любка съ трудомъ карабкалась наверхъ. Ей казалось, что вотъ-вотъ, еще два шага, и она свалится прямо на ступени лѣстницы и безпробудно заснетъ. А Лихонинъ между тѣмъ говорилъ:

— Дорогая моя! Я вижу, вы устали. Но ничего. Обопритесь на меня. Мы идемъ все вверхъ! Все выше и выше! Не это ли символъ всѣхъ человѣческихъ стремленій? Подруга моя, сестра моя, обопрись на мою руку!

Тутъ бѣдной Любкѣ стало еще хуже. Она и такъ еле поднималась одна, а ей пришлось еще тащить на буксирѣ Лихонина, который черезчуръ отяжелѣлъ. И это бы еще ничего, что онъ былъ грузенъ, но се повемногу начинало раздражать его многословіе. Такъ иногда раздражаетъ непрестанный скучный, какъ зубная боль, плачь грудного ребенка, пронзительное верещанье канарейки, или если кто безпрерывно и фальшиво свиститъ въ комнатѣ рядомъ.

Наконецъ они добрались до комнаты Лихонина. Ключа

въ двери не было. Да обыкновенно ее никогда и не запирали на ключъ. Лихонинъ толкнулъ дверь, и они вошли. Въ комнатѣ было темно, потому что занавѣски были спущены. Пахло мышами, кербиномъ, вчерашнимъ борщомъ, заносеннымъ постельнымъ бѣльемъ, старымъ табачнымъ дымомъ. Въ полутьмѣ кто-то, кого не было видно, храпѣлъ оглушительно и разнообразно.

Лихонинъ приподнялъ штору. Обычная обстановка бѣднаго холостого студента: провисшая неубранная кровать со скомканнымъ одѣяломъ, хромой столъ и на немъ подсвѣчникъ безъ свѣчи, нѣсколько книжекъ на полу и на столѣ, окурки повсюду, а напротивъ кровати, вдоль другой стѣны—старый-престарый диванъ, на которомъ сейчасъ спать и храпѣть, широко раскрывъ ротъ, какой-то чернокудрый и черноусый молодой человекъ. Воротъ его рубахи были растегнуты, и сквозь ея прорѣху можно было видѣть грудь и черные волосы, такіе густые и курчавые, какіе бываютъ только у карачаевскихъ барашковъ.

— Нижерадзе! Эй, Нижерадзе, вставай!—крикнулъ Лихонинъ и толкнулъ спящаго въ бокъ.—Князь!

— М-м-м...

— Вставай, я тебѣ говорю, никакъ кавказскій, идіотъ осетинскій!

— М-м-м...

— Да будетъ проклятъ твой родъ въ лицѣ предковъ и потомковъ! Да будутъ они изгнаны съ высотъ прекраснаго Кавказа! Да не увидятъ они никогда благословенной Грузии! Вставай, подлець! Вставай, дромадеръ аравійскій! Кинтошка!..

Но вдругъ, совсѣмъ неожиданно для Лихонина, вѣзгала Любка. Она взяла его за руку и сказала робко:

— Миленый, зачѣмъ же его мучить? Можетъ-быть, онъ спать хочетъ, можетъ-быть, онъ усталъ? Пускай поспитъ. Ужъ лучше я поѣду домой. Вы мнѣ дадите полтишникъ на

извозчика? Завтра вы опять ко мнѣ прїѣдете. Правда, душенька?

Лихонинъ смутился. Такимъ страннымъ ему показалось внимательство этой молчаливой, какъ будто сонной дѣвушки. Конечно, онъ не сообразилъ того, что въ ней говорила инстинктивная бессознательная жалость къ человѣку, который не доспалъ, или, можетъ-быть, профессионально уваженіе къ чужому сну. Но удивленіе было только мгновенное. Ему стало почему-то обидно. Онъ поднялъ свѣсившуюся до полу руку лежащаго, между пальцами которой такъ и осталась потухшая папироса, и, крѣпко встряхнувъ ее, сказалъ серьезнымъ, почти строгимъ голосомъ:

— Слушай же, Нижерадзе, я тебя, наконецъ, серьезно прошу. Пойми же, чертъ тебя побери, что я не одинъ, а съ женщиной. Свины!

Случилось точно чудо: лежавшій человѣкъ вдругъ вскочилъ, точно какая-то пружина необыкновенной мощности мгновенно раскрутилась подъ нимъ. Онъ сѣлъ на диванъ, быстро потеръ ладонями глаза, лобъ, виски, увидалъ женщину, сразу сконфузился и пробормоталъ, торопливо застегивая свою разстегнувшуюся курточку:

— Это ты, Лихонинъ? А я тутъ тебѣ дожидался-дожидался и заснулъ. Попроси незнакомаго товарища, чтобы она отвернулась на минутку.

Онъ поспѣшно натянулъ на себя сѣрую студенческую туужурку и взлохматилъ обѣими пятернями свои роскошные черные кудри. Любка, со свойственнымъ всѣмъ женщинамъ кокетствомъ, въ какомъ бы возрастѣ и положеніи онѣ ни находились, подошла къ осколку зеркала, висѣвшему на стѣнѣ, поправить прическу. Нижерадзе искоса, вопросительно, однимъ движеніемъ глазъ показалъ на нее Лихонину.

— Ничего. Не обращай вниманія, — отвѣтилъ тотъ вслухъ.—А впрочемъ, выйдемъ отсюда. Я тебѣ сейчасъ все расскажу. Извините, Любочья, я только на одну минуту.

Сейчасъ вернусь, устрою васъ, а затѣмъ испарюсь, какъ дымъ.

— Да вы не беспокойте себя,—возразила Любка:—мнѣ и здѣсь, на диванѣ, будетъ хорошо. А вы устраивайтесь себѣ на кровати.

— Нѣтъ, это ужъ не модель, ангелъ мой! У меня здѣсь есть одинъ коллега. Я къ нему и пойду ночевать. Сію минуту я вернусь.

Оба студента вышли въ коридоръ.

— Что сей сонъ значить? — спросилъ Нижерадзе, широко раскрывая свои восточные, немножко бараньи глаза.— Откуда это прелестное дитя, этотъ товарищъ въ юбкѣ?

Лихонинъ многозначительно покрутилъ головой и сморщился. Теперь, когда поѣздка, свѣжій воздухъ, утро и дѣловая, будничная, привычная обстановка почти совсѣмъ стрезвили его, онъ началъ ощущать въ душѣ смутное чувство какой-то неловкости, ненужности своего внезапнаго постука и въ то же время что-то въ родѣ бессознательнаго раздраженія и противъ самого себя и противъ увзвепной имъ женщины. Онъ уже предчувствовалъ тѣготу совмѣстной жизни, множество хлопотъ, неприяностей и расходовъ, двусмысленныя улыбки или даже просто безцеремонные разспросы товарищей, наконецъ серьезную помѣху во время государственныхъ экзаменовъ. Но, едва заговоривъ съ Нижерадзе, онъ сразу устыдился своего малодушія и, начавъ вяло, къ концу опять загарцовалъ на героическомъ конѣ.

— Видишь ли, князь,—сказалъ онъ, въ смущеніи вертя пуговицу на тужуркѣ: товарища и не глядя ему въ глаза:— ты ошибся. Это вовсе не товарищъ въ юбкѣ, а это... просто я сейчасъ былъ съ коллегами, былъ... то-есть не былъ, а только заѣхалъ на минутку съ товарищами на Ямки, къ Аннѣ Марковнѣ...

— Съ кѣмъ?—спросилъ, оживившись, Нижерадзе.

— Ну не все ли тебѣ равно, князь? Былъ Толпыгинъ,

Рамзесъ, приватъ-доцентъ одинъ—Ярченко, Боря Сабашниковъ и другіе... не помню. Катались на лодкѣ цѣлый вечеръ, потомъ нырнули въ кабачару, а ужъ потомъ, какъ свиньи, на Ямки. Я, ты знаешь, человѣкъ очень воздержный. Я только сидѣлъ и насасывался коньякомъ, какъ губка, съ однимъ знакомымъ репортеромъ. Ну, а прочіе всѣ грѣхонаднули. И вотъ поутру отъ чего-то и совсѣмъ размякъ. Такъ мнѣ стало грустно и жалко гладѣть на этихъ несчастныхъ женщинъ. Подумалъ я и о томъ, что вотъ наши сестры пользуются нашимъ вниманіемъ, любовью, покровительствомъ, наши матери окружены благоговѣйнымъ обожаніемъ. Попробуй кто-нибудь сказать имъ грубое слово, тольнуть, обидѣть: вѣдь мы горло готовы перегрызть каждому! Не правда ли?

— М-м...? — протянулъ не то вопросительно, не то выжидательно грузинъ и скосилъ глаза въ бокъ.

— Ну вотъ я и подумалъ: а вѣдь каждую изъ этихъ женщинъ любой прохвостъ, любой мальчишка, любой развалившійся старецъ можетъ взять себѣ на минуту или на ночь, какъ мгновенную прихоть, и равнодушно еще въ лишній, тысяча первый разъ осквернить и опоганить въ ней то, что въ человѣкѣ есть самое драгоценное—любовь... Позимаешь, надругаться, растоптать ногами, заплатить за визитъ и уйти спокойно, ручки въ брючки, посвистывая. А ужаснѣе всего, что это все вошло уже у нихъ въ привычку: и ей все равно и ему все равно. Притупились чувства, померкла душа. Такъ вѣдь? А вѣдь въ каждой изъ нихъ погибаетъ и прекрасная сестра и святая мать. А? Не правда ли?

— Н-на...?—промычала Нижерадзе и опять отвелъ глаза въ сторону.

— Я и подумалъ: къ чему слова и лишнія восклицанія? Къ чорту лицемѣрныя рѣчи на съѣздахъ. Къ чорту аболіціонизмъ, регламентацію (ему вдругъ невольно пришли на умъ недавнія слова репортера) и всѣ эти раздачи свя-

ценныхъ книгъ въ заведеніяхъ и магдалинскіе пріюты! Вотъ я возьму и поступлю, какъ настоящій честный человекъ, вырву дѣвушку изъ омота, внѣдрю ее въ настоящую твердую почву, успокою ее, ободрю, приласкаю.

— Г-м! — крикнулъ Нижерадзе, усмѣхнувшись.

— Эхъ, князь! У тебя всегда сальности на умѣ. Ты же понимаешь, что я не о женщинѣ говорю, а о человекѣ, не о мясѣ, а о душѣ.

— Хорошо, хорошо, душа мой, дальше!

— А дальше то, что я, какъ задумалъ, такъ и сдѣлалъ. Взялъ се отъ Анны Марковны и привезъ покаместъ къ себѣ. А тамъ что Богъ дастъ. Научу ее сначала читать, писать, потомъ открою для нея маленькую кухмистерскую или, скажемъ, бакалейную лавочку. Думаю, товарищи мнѣ не откажутся помочь. Сердце человѣческое, братецъ мой, князь, всякое сердце въ согрѣвѣ, въ теплѣ нуждается. И вотъ посмотри: черезъ годъ, черезъ два я возвращу обществу хорошаго, работающаго, достойнаго члена, съ дѣвственной душой, открытой для всякихъ великихъ возможностей... Ибо она отдавала только тѣло, а душа ея чиста и невинна.

— Цс-це-це,—почмокалъ языкомъ князь.

— Что это значитъ, никакъ тифлисскій?

— А купишь ей швейную машинку?

— Почему именно швейную машинку? Не понимаю.

— Всегда, душа мой, такъ въ романахъ. Какъ только герой спасъ бѣдное, но погибшее созданіе, сейчасъ же онъ ей заводилъ швейную машинку.

— Перестань говорить глупости, — сердито отмахнулся отъ него рукой Лихонинъ.—Паяцъ!

Грузинъ вдругъ разгорячился, засверкалъ черными глазами, и въ голосъ его сразу слышались кавказскія интонаціи.

— Нѣтъ, не глупости, душа мой! Тутъ одно изъ двухъ,

и все съ одинъ и тотъ же результатъ. Или ты съ ней сойдешься и черезъ пять мѣсяцевъ выбросишь ее на улицу, и она вернется опять въ публичный домъ или пойдетъ на панель. Это фактъ! Или ты съ ней не сойдешься, а станешь ей навязывать ручной или головной труда и будешь стараться развивать ея невѣжественный, темный умъ, и она отъ скуки убѣжитъ отъ тебя и опять очутится либо на панели, либо въ публичномъ домѣ. Это тоже фактъ! Впрочемъ, есть еще третья комбинація. Ты будешь о ней заботиться какъ братъ, какъ рыцарь Ланчелоть, а она тайкомъ отъ тебя полюбитъ другого. Душа мой, повѣрь мнѣ, что женишпына, покаместъ она женшпына, такъ она—женшпына. И безъ любви жить не можетъ. Тогда она сбѣжитъ отъ тебя къ другому. А другой поиграется немножко съ ся тѣломъ, а черезъ три мѣсяца выброситъ ее на улицу или въ публичный домъ.

Лихонинъ глубоко вздохнулъ. Гдѣ-то глубоко, не въ умѣ, а въ сокровенныхъ, почти неуловимыхъ тайникахъ сознанія промелькнуло у него что-то похожее на мысль о томъ, что Нижерадзе правъ. Но онъ быстро овладѣлъ собою, встряхнулъ головой и, протянувъ руку князю, произнесъ торжественно:

— Обѣщаю тебѣ, что черезъ полгода ты возьмешь свои слова обратно и въ знакъ извиненія, чурчхела ты эриванская, бадриджанъ армавирскій, поставишь мнѣ дюжину кахетинскаго.

— Ва! Идетъ!—Князь съ размаху ударилъ ладонью по рукѣ Лихонина. — Съ удовольствіемъ. А если по-моему, то — ты.

— То я. Однако до свиданья, князь., Ты у кого ночуешь?

— Я здѣсь же, по этому коридору, у Соловьева. А ты, конечно, какъ средневѣковый рыцарь, положишь обоюдоострый мечъ между собой и прекрасной Розамундой? Да?

— Глупости. Я самъ было хотѣлъ у Соловьева перенос-

чевать. А теперь пойду поброжу по улицамъ и заверну къ кому-нибудь: къ Зайцевичу или къ Штрумпу. Прощай, князь!

— Постой, постой!—позвалъ его Нижерадзе, когда онъ отошелъ на нѣсколько шаговъ.—Самое главное я тебѣ забылъ сказать: Парцанъ провалился!

— Вотъ какъ?—удивился Лихонинъ и тотчасъ же длинно, глубоко и сладко зѣвнулъ.

— Да. Но ничего страшнаго нѣтъ: только одно храненіе брошюритины. Отсидить не больше года.

— Ничего, онъ хлопецъ крѣпкій, не раскиснеетъ.

— Крѣпкій,—подтвердилъ князь.

— Прощай!

— До свиданья, рыцарь Грюнвальдусъ.

— До свиданья, жеребецъ кабардинскій.

XI.

Лихонинъ остался одинъ. Въ полутемномъ коридорѣ пахло керосиновымъ чадомъ догорающей жестяной лампочки и запахомъ застоявшагося дурного табака. Дневной свѣтъ тускло проникалъ только сверху, изъ двухъ маленькихъ стеклянныхъ рамъ, продѣланныхъ въ крышѣ на обоихъ концахъ коридора.

Лихонинъ находился въ томъ одновременно разслабленномъ и приподнятомъ настроеніи, которое такъ знакомо каждому человѣку, которому случилось надолго выбиться изъ сна. Онъ какъ будто бы вышелъ изъ предѣловъ обыденной человѣческой жизни, и эта жизнь стала для него далекой и безразличной, но въ то же время его мысли и чувства приобрѣли какую-то спокойную ясность и равнодушную четкость, и въ этой хрустальной пирванѣ была скучная и томительная прелесть.

Онъ стоялъ около своего номера, прислонившись къ стѣнѣ, и точно ощущалъ, видѣлъ и слышалъ, какъ около

него и подъ нимъ спять нѣсколько десятковъ людей, спять поелѣднимъ крѣпкимъ утреннимъ сномъ, съ открытыми ртами, съ мѣрнымъ глубокимъ дыханіемъ, съ сонной блѣдностью на глянцевитыхъ отъ сна лицахъ, и въ головѣ его пронеслась давнишняя, знакомая еще съ дѣтства мысль о томъ, какъ страшны спящіе люди—гораздо страшнѣе, чѣмъ мертвецы.

Потомъ онъ вспомнилъ о Любкѣ. Его подвальное, подпольное, таинственное „я“ быстро-быстро шеннуло о томъ, что надо было бы зайти въ комнату и поглядѣть, удобно ли дѣвушкѣ, а также сдѣлать нѣкоторыя распоряженія насчетъ утренняго чая, но онъ самъ сдѣлалъ передъ собой видъ, что вовсе и не думалъ объ этомъ, и вышелъ на улицу.

Онъ шелъ, вглядываясь во все, что встрѣчали его глаза, съ новымъ для себя, лѣнивымъ и мѣткимъ любопытствомъ, и каждая черта рисовалась ему до такой степени рельефной, что ему казалось, будто онъ оцупываетъ ее пальцами... Вотъ прошла баба. У нея черезъ плечо коромысло, а на обоихъ концахъ коромысла по большому ведру съ молокомъ; лицо у нея не молодое, съ сѣтью морщинокъ на вискахъ и съ двумя глубокими бороздами отъ ноздрей къ угламъ рта, но ея щеки румяны и, должно-быть, тверды наощупь, а каріе глаза лучатся бойкой хохлацкой усмѣшкой. Отъ движенія тяжелаго коромысла и отъ плавной поступи ея бедра раскачиваются ритмично то влѣво, то вправо, и въ ихъ волнообразныхъ движеніяхъ есть грубая, чувственная красота.

„Бѣдовая бабенка, и прожила она пеструю жизнь“,—подумалъ Лихонинъ. И вдругъ, неожиданно для самого себя, почувствовалъ и неудержимо захотѣлъ эту совсѣмъ незнакомую ему женщину, некрасивую и немолодую, вѣроятно, грязную и вульгарную, но все же похожую, какъ ему представилось, на крупное яблоко антоновку-падалку, немного

подточенное червею, чуть-чуть полежалос, но еще сохранившее яркій цвѣтъ и душистый винный аромать.

Перегоняя его, пронесся пустой черный погребальный катафалкъ: двѣ лошади въ запряжкѣ, а двѣ привязаны сзади, къ заднимъ колонкамъ. Факельщики и гробовщики, уже съ утра пьяные, съ красными звѣроподобными лицами, съ порыжѣлыми цилиндрами на головахъ, сидѣли безпорядочной грудой на своихъ форменныхъ ливреяхъ, на лошадиныхъ сѣтчатыхъ попонахъ, на траурныхъ фонаряхъ, и ржавыми, сильными голосами орали какую-то несладкую пѣсню. „Должно-быть, къ выносу торопятся, а, пожалуй, уже и закончили,—подумаль Лихонинъ:—веселые ребята!“ На бульварѣ онъ остановился и присѣлъ на низенькую деревянную, крашеную зеленымъ скамейку. Два ряда мощныхъ столѣтнихъ каштановъ уходили вдаль, сливаясь гдѣ-то далеко въ одну прямую зеленую стрѣлу. На деревьяхъ уже висѣли колючіе крупныя орѣхи. Лихонинъ вдругъ вспомнилъ, что въ самомъ началѣ весны онъ сидѣлъ именно на этомъ бульварѣ и именно на этомъ самомъ мѣстѣ. Тогда былъ тихій, нѣжный, пурпурно-дымчатый вечеръ, беззвучно засыпавшій, точно улыбающаяся усталая дѣвушка. Тогда могучіе каштаны, съ листвою, широкою внизу и узкой кверху, сплошь были усеяны гроздьями цвѣтовъ, растущихъ свѣтлыми розовыми тонкими пишками прямо къ небу, точно кто-то по ошибкѣ взялъ и прикрѣпилъ на всѣ каштаны, какъ на люстры, розовыя елочные рождественскія свѣчи. И вдругъ съ необычайной остротой Лихонинъ почувствовалъ, — каждый человѣкъ неизбѣжно рано или поздно проходить черезъ эту полосу внутренняго чувства, — что вотъ уже зрѣютъ орѣхи, а тогда были розовыя цвѣтушія свѣчки, и что будетъ еще много весень и много цвѣтовъ, но той, что прошла, никто и ничто не въ силахъ ему возратить. Грустно глядя въ глубь уходящей густой аллеи, онъ вдругъ замѣтилъ, что сентиментальныя слезы щиплютъ ему глаза.

Онъ всталъ и пошелъ дальше, приглядываясь ко всему встрѣчному съ неустаннымъ обостреннымъ и въ то же время спокойнымъ вниманіемъ, точно онъ смотрѣлъ на созданный Богомъ міръ въ первый разъ. Мимо него прошла по мостовой артель каменщиковъ, и всѣ они преувеличенно ярко и цвѣтисто, точно на матовомъ стеклѣ камеръ-обскуры, отразились въ его внутреннемъ зрѣніи. И старшій рабочій, съ рыжей бородой, свалаявшейся на-бокъ, и съ голубыми строгими глазами; и огромный парень, у котораго лѣвый глазъ затекъ и отъ лба до скулы и отъ носа до виска расплывалось пятно черно-сизаго цвѣта; и мальчишка съ наивнымъ, деревенскимъ лицомъ, съ разинутымъ ртомъ, какъ у щенца, безвольнымъ, мокрымъ; и старикъ, который, припоздавши, бѣжалъ за артелью смѣшной козлиной рысью: и ихъ одежды, запачканныя известкой, ихъ фартуки и ихъ зубила—все это мелькнуло передъ нимъ неодушевленной вереницей,—цвѣтной, пестрой, но мертвой лентой кинематографа.

Ему пришлось пересѣкать Ново-Кишиневскій базаръ. Вдругъ вкусный жирный запахъ чего-то жаренаго заставилъ его раздуть ноздри. Лихонинъ вспомнилъ, что со вчерашняго полдня онъ еще ничего не ѣлъ, и сразу почувствовалъ голодъ. Онъ свернулъ направо, вглубь базара.

Въ дни голодовокъ, — а ему приходилось испытывать ихъ неоднократно, — онъ приходилъ сюда на базаръ и на жалкіе, съ трудомъ добытые гроши покупалъ себѣ хлѣба и жареной колбасы. Это бывало чаще всего зимою. Торговка, укутанная во множество одеждъ, обыкновенно сидѣла для теплоты на горшкѣ съ угольями, а передъ нею на желѣзномъ противнѣ пилѣла и трещала толстая домашняя колбаса, нарѣзанная кусками по четверть аршина длиною, обильно сдобренная чеснокомъ. Кусокъ колбасы обыкновенно стоилъ десять копеекъ, хлѣбъ—двѣ копейки.

Сегодня на базарѣ было очень много народа. Еще

издали, протискиваясь къ знакомому любимому ларьку, Лихонинъ услышалъ звуки музыки. Пробившись сквозь толпу, окружавшую одинъ изъ ларьковъ сплошнымъ кольцомъ, онъ увидалъ наивное и милое зрѣлище, какое можно увидѣть только на благословенномъ югѣ Россіи. Десять или пятнадцать торговокъ, въ обыкновенное время злоязычныхъ сплетницъ и неустойчивыхъ, неистощимыхъ въ разнообразіи ругательницъ, а теперь льстивыхъ и ласковыхъ подругъ, очевидно, разгулялись еще съ прошлаго вечера, прокутили цѣлую ночь и теперь вынесли на базаръ свое шумное веселье. Пасмные музыканты—двѣ скрипки, первая и вторая, и бубень—наяривали однообразный, но живой, залихватскій и лукавый мотивъ. Однѣ бабы чокались и цѣловались, поливая другъ друга водкой, другія разливали ее по рюмкамъ и по столамъ, слѣдующія, прихлопывая въ ладоши въ тактъ музыкѣ, ухали, взвизгивали и присѣдали на мѣстѣ. А посрединѣ круга, на камняхъ мостовой, кружилась и дробно топталась на мѣстѣ толстая женщина, лѣтъ сорока пяти, но еще красивая, съ красными мясистыми губами, съ влажными, пнящими, точно обмасленными глазами, весело сіявшими подъ высокими дугами черныхъ правильныхъ малорусскихъ бровей. Вся прелесть и все искусство ея танца заключались въ томъ, что она то наклоняла внизъ голову и выглядывала задорно исподлбья, то вдругъ откидывала се назадъ и опускала внизъ рѣсницы и разводила руки въ стороны, а также въ томъ, какъ, въ размѣръ пляскѣ, колыхались и вздрагивали у нея подъ красной ситцевой кофтой огромныя груди. Во время пляски она пѣла, перебирая то каблуками, то носками козловыхъ башмаковъ:

На вулиці скрипка грає,
Васъ гуде, вимовляє.
Менє маті не пускає,
А мій милий дожидає.

Это-то и была знакомая Лихонину баба Лукерья, та самая, у которой въ крутыя времена онъ не только бывалъ кліентомъ, но даже кредитовался. Она вдругъ узнала Лихонина, бросилась къ нему, обняла, притиснула къ груди и поцѣловала прямо въ губы мокрыми, горячими толстыми губами. Потомъ она размахнула руки, ударила ладонь объ ладонь, скрестила пальцы съ пальцами и сладко, какъ умѣютъ это только подольскія бабы, заворковала:

— Панычу жъ мій, золотко жъ мое серебряное, любимый мой! Вы жъ мене, бабу пьиную, простыте. Ну, що жъ? Загуляла!—Она кинулась-было цѣловать ему руку.—Та я же знаю, що вы не гордый, якъ другіе папы. Ну, дайте, рыбонька моя, я жъ вамъ ручку поцѣлую! Ни, ни, ни! Просю, просю васъ!..

— Ну, вотъ глупости, тетя Лукерья!—перебилъ ее, внезапно оживляясь, Лихонинъ.—Ужъ лучше такъ поцѣлуюсь. Губы у тебя больно сладкія!

— Ахъ, ты, сердынытнычко мое! Солнечко мое ясное, яблочко жъ мое райское,—разнѣжилась Лукерья,—дай же мнѣ твои бузи! Дай же мнѣ твои бузенички!..

Она жарко прижала его къ своей исполинской груди и опять облюнявила влажными, горячими готтептотскими губами. Потомъ схватила его за рукавъ, вывела на середину круга и заходила вокругъ него плавно сѣменящей походкой, кокетливо изогнувъ станъ и голоса:

Ой! хто до кого, а я до Параски,
Бо у мене чортъ ма въ штанивъ,
А въ неи запаски!

И потомъ вдругъ перешла, поддержанная музыкантами, къ развеселому малорусскому гопаку:

Ой! Чукъ гай байдуже
Задрипала фартукъ дуже.
А ты, Прысто, ге журысь,

Доки мокро, тай утрысь!
Траляля, траляля...
Спить Хима, тай не чусе,
Що казакъ съ неи почусе.
Брешешь, Химо, ты все чусешь,
Тылько такъ соби мандруешь.
Тай, тай, траляляй...

Лихонинъ, окончательно развеселенный, неожиданно для самого себя, вдругъ заскакалъ козломъ около нея, точно спутникъ вокругъ несущейся планеты, длинноногий, длиннорукій, сутудоватый и совершенно нескладный. Его выходъ привѣтствовали общимъ, но довольно дружескимъ ржаніемъ. Его усадили за столъ, потчевали водкой и колбасой. Онъ со своей стороны послалъ знакомаго босяка за пивомъ и, со стаканомъ въ рукѣ, произнесъ три нелѣпныхъ рѣчи: одну о самостоятельности Украины, другую о достоинствѣ малорусской колбасы, въ связи съ красотой и семейственностью малорусскихъ женщинъ, а третью почему-то о торговлѣ и промышленности на югѣ Россіи. Сидя рядомъ съ Лукерьей, онъ все пытался обнять ее за талию, и она не противилась этому. Но даже и его длинныя руки не могли обхватить ея изумительнаго стана. Однако она крѣпко, до боли, тискала подъ столомъ его руку своей огромной, горичей, какъ огонь, мягкой рукою.

Въ это время между торговцами, до сихъ поръ нѣжко пѣловавшимися, вдругъ промелькнули какія-то старыя, неоплаченныя ссоры и обиды. Двѣ бабы, наклонившись другъ къ другу, точно пѣтухи, готовые вступить въ бой, подпершись руками въ бока, поливали другъ дружку самыми пошлыми ругательствами.

Лихонинъ воспользовался минутой. Будто что-то вспомнивъ, онъ торопливо вскочилъ съ лавки и крикнулъ:

— Подождите меня, тетя Лукерья, я черезъ три минуты приду!—и швырнулъ съвозъ живое кольцо зрителей.

— Паньчу! Паньчу!—кричала ему встѣдъ его сосѣдка:— вы же скорѣйше назадъ идите! Я вамъ одно словцо маю сказаты.

Зайдя за уголь, онъ нѣкоторое время мучительно старался вспомнить, что такое ему нужно было непременно сдѣлать сейчасъ, вотъ сію минуту. И опять въ нѣдрахъ души онъ зналъ о томъ, что именно надо сдѣлать, но медлил самъ себя къ этому признаться. Былъ уже яркій, свѣтлый день, часовъ около девяти-десяти. Дворники поливали улицы изъ резиновыхъ рукавовъ. Цвѣточницы сидѣли на площадяхъ и у калитокъ бульваровъ, съ розами, левкоями и нарциссами. Свѣтлый, южный, веселый, богатый городъ оживился. Продребезжала по мостовой желѣзная кѣбка, наполненная собаками всевозможныхъ мастей, породъ и возрастовъ. На козлахъ сидѣло двое гицелей,—или, какъ они сами себя называютъ почтительно, „крулевскихъ гицелей“, т.-е. ловцовъ бродячихъ собакъ,—возвращавшихся домой съ сегодняшнимъ утреннимъ уловомъ.

„Она уже, должно-быть, проснулась, — оформилъ наконецъ свою тайную мысль Лихонинъ:—а если не проснулась, то я тихонько прилягу на диванъ и посплю“.

Въ коридорѣ попрежнему тускло свѣтила и чадила умирающая керосиновая лампа, и водянисто-грязный полусвѣтъ едва проникалъ въ узкій длинный ящикъ. Дверь номера такъ и осталась незапертой. Лихонинъ беззвучно отворилъ ее и вошелъ.

Слабый синій полусвѣтъ лился изъ прозоровъ между шторами и окномъ. Лихонинъ остановился посреди комнаты и съ обостренной жадностью услышалъ тихое сонное дыханіе Любки. Губы у него сдѣлались такими жаркими и сухими, что ему приходилось, не переставая, ихъ облизывать. Колѣни задрожали.

„Спросить, не надо ли ей чего-нибудь“,—вдругъ пронеслось у него въ головѣ.

Какъ пьяный, тяжело дыша, съ открытымъ ртомъ, шатаясь на трясущихся ногахъ, онъ подошелъ къ кровати.

Люба спала на спинѣ, протянувъ одну голую руку вдоль тѣла, а другую положивъ на грудь. Лихонинъ наклонился къ ней ближе, къ самому ея лицу. Она дышала ровно и глубоко. Это дыханье молодого здорового тѣла было, несмотря на сонъ, чисто и почти ароматно. Онъ осторожно провелъ пальцами по голой рукѣ и погладилъ грудь немножко ниже ключицы. „Что дѣлаю?“—съ ужасомъ крикнулъ вдругъ въ немъ разсудокъ, но кто-то другой отвѣтилъ за Лихонина: „Я же ничего не дѣлаю. Я только хочу спросить, удобно ли ей было спать и не хочетъ ли она чаю“.

Но Любка вдругъ проснулась, открыла глаза, зажмурила ихъ на минуту и опять открыла. Потянулась длинно-длинно и съ ласковой, еще не осмыслившейся улыбкой окружила жаркой крѣпкой рукой шею Лихонина.

— Дуся! Милый,—ласково произнесла женщина воркующимъ, немного хриплымъ со сна голосомъ,—а и тебя ждала-ждала и даже разсердилась. А потомъ заснула и всю ночь тебя во снѣ видѣла. Иди ко мнѣ, моя цыпочка, моя ляленька!—Она притянула его къ себѣ.

Лихонинъ почти не противился; онъ весь трясся какъ отъ озноба и бессмысленно повторилъ скачущимъ шопотомъ, лякая зубами:

— Нѣтъ же, Люба, не надо... Право, не надо, Люба, такъ... Ахъ, оставимъ это, Люба... Не мучь меня. Я не ругаюсь за себя... Оставь же меня, Люба, ради Бога!..

— Глупенькій мо-ой!—воскликнула она смѣющимся, веселымъ голосомъ.—Иди ко мнѣ, моя радость!—и, преодолевая послѣднее, совѣмъ незначительное сопротивление, она прижала его ротъ къ своему и поцѣловала крѣпко и горячо, поцѣловала искренне, можетъ-быть, въ первый и послѣдній разъ въ своей жизни.

„О, подлець! Чтò я дѣлаю?“—продекламировалъ въ Лихонинѣ кто-то честный, благоразумный и фальшивый.

XII.

Съ душевной болью, со злостью и съ отвращеніемъ къ себѣ и къ Любкѣ и, кажется, ко всему міру, бросился Лихонинъ, не раздѣваясь, на деревянный кособокій пролежаный диванъ и отъ жгучаго стыда даже заскрежеталъ зубами. Сонъ не шель къ нему, а мысли все время вертѣлись около этого дурацкаго, какъ онъ самъ называлъ увозъ Любки, поступка, въ которомъ такъ противно переделся скверный водевиль съ глубокой драмой. „Все равно,—упрямо твердилъ онъ самъ себѣ,—разъ я обѣщался, и доведу дѣло до конца. И, конечно, то, чтò было сейчасъ, никогда-никогда не повторится! Боже мой, кто же не падалъ, поддавался минутной расхлябанности нервовъ? Глубокую, замѣчательную истину высказалъ какой-то философъ, котòрый утверждалъ, что цѣнность человѣческой души можно познавать по глубинѣ ея паденія и по высотѣ взлетовъ. Но все-таки чортъ бы побралъ весь сегодняшний идиотскій день, и этого двусмысленнаго резонера—репортера Платонова, и его собственный, Лихонина, нелѣпый рыцарскій порывъ! Точно, въ самомъ дѣлѣ, все это было не изъ дѣйствительной жизни, а изъ романа „Чтò дѣлать“ писателя Чернышевскаго. И какъ, чортъ побери, какими глазами погляжу я на нес завтра?“

У него горѣла голова, жгло вѣки глазъ, сохла губы. Онъ нервно курилъ папиросу за папиросой и часто приподымался съ дивана, чтобы взять со стола графинъ съ водой и жадно, прямо изъ горлышка, выпить нѣсколько большихъ глотковъ. Потомъ какимъ-то случайнымъ усиленіемъ воли ему удалось оторвать свои мысли отъ прошедшей ночи, и сразу тяжелый сонъ, безъ всякихъ видѣній и образовъ, точно обволòкъ его черной ватой.

Онъ проснулся далеко за полдень, часа въ два или въ три, и сначала долго не могъ прійти въ себя, чавкаль ртомъ и озирался по комнатѣ мутными отяжелѣвшими глазами. Все, что случилось ночью, точно вылетѣло изъ его памяти. Но когда онъ увидѣлъ Любку, которая тихо, беззвучно, неподвижно сидѣла на кровати, опутивъ голову и сложивъ на колѣняхъ руки, онъ застоналъ и закрихтѣлъ отъ досады и смущенія. Теперь онъ вспомнилъ все. И въ эту минуту онъ самъ на себѣ испыталъ то, какъ тяжело бываетъ утромъ во очію увидѣть результаты сдѣланной вчера ночью глупости.

— Проснулся, дусенька?—спросила ласково Любка.

Она встала съ кровати, подошла къ дивану, сѣла въ ногахъ у Лихонина и осторожно погладила его ногу поверхъ одѣяла.

— А я давно уже проснулась и все сидѣла: боялась тебя разбудить. Очень ужъ ты крѣпко спалъ.

Она протянулась къ нему и поцѣловала его въ щеку. Лихонинъ поморщился и слегка отстранилъ ее отъ себя.

— Подожди, Любочка! Подожди: этого не надо. Понимаешь, совѣмъ, никогда не надо. То, что вчера было, ну, это случайность. Скажемъ, моя слабость. Даже болѣе: можетъ-быть, мгновенная подлость. Но, ей-Богу, повѣрь мнѣ, я вовсе не хотѣлъ сдѣлать изъ тебя любовницу. Я хотѣлъ видѣть тебя другомъ, сестрой, товарищемъ... Ну, да ничего: все сладится, стерпится. Не надо только падать духомъ. А покамѣстъ, дорогая моя, подойди и посмотри немножко въ окно: я только приведу себя въ порядокъ.

Любка слегка надула губы и отошла къ окну, повернувшись спиной къ Лихонину. Всѣхъ этихъ словъ о дружбѣ, братствѣ и товариществѣ она не могла осмыслить своимъ куринымъ мозгомъ и простой крестьянской душой. Ея воображенію гораздо болѣе льстило,^а что студентъ,—все-таки не кто-нибудь, а человѣкъ образованный, который можетъ на доктора выучиться, или на адвоката, или на судью,—взять

ее себѣ на содержаніе... А вотъ теперь вышло такъ, что онъ только исполнилъ свой капризъ, добился, чего ему нужно, и уже на попятный. Всѣ они таковы, мужчины!

Лихонинъ послѣшно поднялся, плеснулъ себѣ на лицо нѣсколько пригоршней воды и вытерся старой салфеткой. Потомъ онъ поднялъ шторы и распахнулъ обѣ ставни. Золотой солнечный свѣтъ, лазоревое небо, грохотъ города, зелень густыхъ липъ и каштановъ, звонки конокъ, сухой запахъ горячей пыльной улицы—все это сразу вторгнулось въ маленькую чердачную комнатку. Лихонинъ подошелъ къ Любкѣ и дружелюбно потрепалъ ее по плечу.

— Ничего, радость моя... сдѣланнаго не поправишь, а впередъ наука. Вы еще не спрашивали себѣ чаю, Любочка?

— Нѣтъ, я васъ все дожидалась. Да и не знала, кому сказать. И вы тоже хороши. Я вѣдь слышала, какъ вы послѣ того, какъ ушли съ товарищемъ, вернулись назадъ и постояли у дверей. А со мной даже и не попрощались. Хорошо ли это?

„Первая семейная ссора“,—подумалъ Лихонинъ, но подумалъ беззлобно, шутя.

Умываніе, прелесть золотого и синяго южнаго дня и наивное, отчасти покорное, отчасти недовольное лицо Любки и сознаніе того, что онъ все-таки мужчина, и что ему, а не ей надо отвѣчать за кашу, которую онъ заварилъ,—все это вмѣстѣ взбудоражило его нервы и заставило взять себя въ руки. Онъ отворилъ дверь и рявкнулъ во тьму вонючаго коридора:

— Ал-лекса-андра! Сомова-аръ! Двѣ бу-улки, ма-асла и колбасы! И мерзавчикъ во-одки!

Въ коридорѣ послышалось шлепанье туфель, и старческой голосъ еще издали зашамкалъ:

— Чего орешь? Чего орешь-то? Го-го-го! Го-го-го! Точно жеребецъ стоялый! Чай, не маленький: запсовѣлъ ужъ, а держишь себя, какъ мальчишка уличный! Ну, чего тебѣ?

Въ комнату вошла маленькая старушка, съ красновѣкими глазами, узкими, какъ щелочки, и съ удивительно-пергаментнымъ лицомъ, на которомъ угрюмо и зловѣще торчалъ внизъ длинный острый носъ. Эта была Александра, давнишняя прислуга студенческихъ скворечниковъ, другъ и кредиторъ всѣхъ студентовъ, женщина лѣтъ шестидесяти пяти, резонерка и ворчунья.

Лихонинъ повторилъ ей свое распоряженіе и далъ рублевую бумажку. Но старуха не уходила, толкалась на мѣстѣ, сопѣла, жевала губами и недружелюбно глядѣла на дѣвушку, сидѣвшую спиной къ свѣту.

— Ты что же, Александра, точно окостенѣла?—смѣясь, спросилъ Лихонинъ:—или залюбовалась? Ну, такъ знай, это моя кузина, то-есть двоюродная сестра, Любовь...—онъ замаялся всего лишь на секунду, но тотчасъ же выпалилъ:— Любовь Васильевна, а для меня просто Любочка. И вотъ та-кой ее еще зналъ,—показалъ онъ на четверть аршина отъ стола.—И за уши дралъ и шлепалъ за капризы по тому мѣсту, откуда ноги растутъ. И тамъ... жуковъ для нея разныхъ ловилъ... Ну однако... однако ты иди, иди, египетская мумія, обломокъ прежнихъ вѣковъ! Чтобы одна нога тамъ, другая здѣсь!

Но старуха медлила. Топчась вокругъ себя, она еле-еле поворачивалась къ дверямъ и не спускала остраго, ехиднаго, бокового взгляда съ Любки. И въ то же время она бормотала запавшимъ ртомъ:

— Двоюродная! Знаемъ мы этихъ двоюродныхъ! Много ихъ по Каштановой улицѣ ходить. Ишь, кобели несытые!

— Ну, ты, старая барка! Живо и не ворчать!—прикрикнулъ на нее Лихонинъ.—А то и тебя, какъ твоей другъ, студентъ Трясовъ, возьму и запру въ уборную на двадцать четыре часа!

Александра ушла, и долго еще слышались въ коридорѣ

ся старческіе шлепающіе шаги и невнятное бормотанье. Она склонна была, въ своей суровой ворчливой добротѣ, многое прощать студенческой молодежи, которую она об-служивала уже около сорока лѣтъ. Прощала пьянство, картежную игру, скандалы, громкое глѣніе, долги, но, увы, она была дѣвственницей, и ея цѣломудренная душа не перепо-сила только одного: разврата.

XIII.

— Вотъ и чудесно... И хорошо и мило,—говорилъ Лиховинъ, суетясь около хромоногаго стола и безъ нужды переставляя чайную посуду.—Давно я, старый крокодилъ, не пилъ чайку, какъ слѣдуетъ, по-христіански, въ семейной обстановкѣ. Садитесь, Люба, садитесь, милая, вотъ сюда, на диванъ, и хозяйничайте. Водки вы, вѣрно, по утрамъ не пьете, а я, съ вашего позволенія, выпью... Это сразу подымаетъ нервы. Мнѣ, пожалуйста, покрѣпче, съ кусочкомъ лимона. Ахъ, что можетъ быть вкуснѣе стакана горячаго чая, налитаго милыми женскими руками?

Любка слушала его болтовню, немного слишкомъ шумную, чтобы казаться вполне естественной, и ея, сначала недовѣрчивая, сторожкая улыбка смягчалась и свѣтлѣла. Но съ чаемъ у нея не особенно ладилось. Дома, въ глухой деревнѣ, гдѣ этотъ напитокъ считался еще почти рѣдкостью, лакомою роскошью зажиточныхъ семействъ, и заваривался лишь при почетныхъ гостяхъ и по большимъ праздникамъ,—тамъ надъ разливаніемъ чая священнодѣйствовалъ старшій мужчина семьи. Позднѣе, когда Любка служила „за все“ въ маленькомъ уѣздномъ городишкѣ, сначала у попа, а потомъ у страхового агента, который первый и толкнулъ ее на путь проституціи, то обыкновенно оставляла жидкій, спитой, чуть тепловатый чай съ обгрызкомъ сахара сама хозяйка, тощая, желчная, ехидная попадья, или агентиха, толстая, старая, обрюзглая, злая,

засаленная, ревнивая и скупая бабища. Поэтому теперь простое дѣло приготовленія чая было ей такъ же трудно, какъ для всѣхъ насъ въ дѣтствѣ умѣнье отличать лѣвую руку отъ правой или завязывать веревку петелькой. Суетливый Лихонинъ только мѣшалъ ей и конфузиль ее.

— Дорогая моя, искусство заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться въ Москвѣ. Сначала слегка прогрѣвается сухой чайникъ. Потомъ въ него высыпается чай и быстро ошпаривается кипяткомъ. Первую жидкость надо сейчасъ же слить въ полоскательную чашку, — отъ этого чай становится чище и ароматнѣе, да и кстати извѣстно, что китайцы — язычники и готовятъ свою травку очень грязно. Затѣмъ надо вновь налить чайникъ до четверти его объема, оставить на подносѣ, прикрыть сверху полотенцемъ и такъ продержать три съ половиной минуты. Послѣ долить почти до верха кипяткомъ, опять прикрыть, дать чуточку настояться — и у васъ, моя дорогая, готовъ божественный напитокъ, благовонный, освѣжающій и укрѣпляющій.

Некрасивое, но миловидное лицо Любки, все пестрое отъ веснушекъ, какъ кукушечье яйцо, немного вытянулось и поплѣднѣло.

— Вы ужъ, ради Бога, на меня не сердитесь... Вѣдь васъ Василь Василичъ?.. Не сердитесь, миленькій Василь Василичъ. Я, право же, скоро выучусь, я ловкая. И что же это вы мнѣ все — вы да вы? Кажется, не чужіе теперь?

Она посмотрѣла на него ласково. И правда, она сегодня утромъ въ первый разъ за всю свою небольшую, но искорканную жизнь отдала мужчинѣ свое тѣло — хотя и не съ наслажденіемъ, а больше изъ признательности и жалости, но добровольно, не за деньги, не по принужденію, не подъ угрозой расчета или скандала. И ея женское сердце, всегда неуывдаемое, всегда тянущееся къ любви, какъ подсолнечникъ къ свѣту, было сейчасъ чисто и разнѣжено.

Но Лихонинъ вдругъ почувствовалъ колючую стыдливую неловкость и что-то враждебное противъ этой, вчера ему незнакомой женщины, теперь—его случайной любовницы. „Начались прелести семейнаго очага“,—подумалъ онъ невольно, однако поднялся со стула, подошелъ къ Любкѣ и, взявъ ее за руку, притянулъ къ себѣ и погладилъ по головѣ.

— Дорогая моя, милая сестра моя,—сказалъ онъ трогательно и фальшиво:—то, что случилось сегодня, не должно никогда больше повторяться. Во всемъ виноватъ только одинъ я, и, если хочешь, я готовъ на колѣняхъ просить у тебя прощенія. Пойми же, пойми, что все это вышло помимо моей воли, какъ-то стихійно, вдругъ, внезапно. Я и самъ не ожидалъ, что это будетъ такъ! Понимаешь, я очень давно... не зналъ близко женщины... Во мнѣ проснулся звѣрь, отвратительный, разнузданный звѣрь... и... я не устоялъ. Но, Господи, развѣ такъ ужъ велика моя вина? Святые люди, отшельники, затворники, схимники, столпники, пустынники, мученики—не чета мнѣ по крѣпости духа—и они падали въ борьбѣ съ искушеніемъ дьявольской плоти. Но зато чѣмъ хочешь клянусь, что это больше не повторится... Вѣдь такъ?

Любка упрямо вырывала его руку изъ своей. Губы ея немного отторбучились и опущенныя вѣки часто заморгали.

— Да-а,—протянула она, какъ ребенокъ, который упрямится мириться,—я же вижу, что я вамъ не нравлюсь. Такъ что жъ,—вы мнѣ лучше прямо скажите и дайте немного на извозчика, и еще тамъ, сколько захотите... Деньги за ночь все равно заплочены, и мнѣ только доѣхать... туда.

Лихонинъ схватился за волосы, заметался по комнатѣ и задекламировалъ:

— Ахъ, не то, не то, не то! Пойми же меня, Люба! Продолжать то, что случилось утромъ,—это... это свинство,

скотство и недостойно человѣка, уважающаго себя. Любовь! Любовь—это полное сліяніе умовъ, мыслей, душъ, интересовъ, а не однихъ только тѣлъ. Любовь—громадное великое чувство, могучее какъ міръ, а не валянье въ постели. Такой любви пѣтъ между нами, Любочка. Если она придетъ, это будетъ чудеснымъ счастьемъ и для тебя и для меня. А пока—я твой другъ, вѣрный товарищъ на жизненномъ пути. И довольно, и баста... Я хотя и не чуждъ человѣческихъ слабостей, но считаю себя честнымъ человѣкомъ.

Любка точно завяла. „Онъ думаетъ, что я хочу, чтобы онъ на мнѣ женился. И совсѣмъ мнѣ это не надо,—печально думала она.—Можно жить и такъ. Живутъ же другія на содержаніи. И говорятъ—гораздо лучше, чѣмъ покрутившись вокругъ аналоя. Чтò тутъ худого? Мирно, тихо, благородно... Я бы ему чулки штопала, полы мыла бы, стряпала... чтò попроще. Конечно, ему когда-нибудь выйдетъ линия жениться на богатой. Ну ужъ, навѣрно, онъ такъ не выброситъ на улицу, въ чемъ мать родила. Хоть и дурачокъ и болтаетъ много, а видно — человѣкъ порядочный. Обезпечить все-таки чѣмъ-нибудь. А можетъ-быть, и взаправду приглядится, привыкнетъ? Я дѣвица простая, скромная и на измѣну никогда не согласная. Вѣдь, говорятъ, бываетъ такъ-то... Надо только вида ему не показывать. А что онъ опять придетъ ко мнѣ въ постель и придетъ сегодня же вечеромъ—это какъ Богъ святъ“.

И Лихонинъ тоже задумался, замолкъ и заскучалъ; онъ уже чувствовалъ тяготу взятаго на себя непосильнаго подвига. Поэтому онъ даже обрадовался, когда въ дверь постучали, и на его окрикъ: „войдите“, вошли два студента: Соловьевъ и ночевавшій у него Нижерадзе.

Соловьевъ, рослый и уже тучноватый, съ широкимъ румянымъ волжскимъ лицомъ и свѣтлой маленькой вьющейся

бородкой, принадлежалъ къ тѣмъ добрымъ, веселымъ и простымъ малымъ, которыхъ достаточно много въ любомъ университетѣ. Онъ дѣлилъ свои досуги,—а досуга у него было двадцать четыре часа въ сутки,—между пивной, шатаньемъ по бульварамъ, бильярдамъ, между винтомъ, театромъ, чтеніемъ газетъ и романовъ и зрѣлищами цирковой борьбы; короткіе же промежутки употреблялъ на ѣду, спанье, домашнюю починку туалета при помощи нитокъ, картона, булавокъ и чернилъ, и на сокращенную, самую реальную любовь къ случайной женщинѣ изъ кухни, передней или съ улицы. Какъ и вся молодежь его круга, онъ самъ считалъ себя революціонеромъ, хотя тяготился политическими спорами, раздорами и взаимными перекурами и, не перенося чтенія революціонныхъ брошюръ и журналовъ, былъ въ дѣлѣ почти полнымъ невѣждой. Поэтому онъ не достигъ даже самаго малаго партійнаго посвященія, хотя иногда ему давались кое-какія порученія вовсе не безопаснаго свойства, смыслъ которыхъ ему не уясняли. И не напрасно полагались на его твердую вѣрность: онъ все исполнялъ быстро, точно, съ смѣлой вѣрой въ міровую важность дѣла, съ беззаботной улыбкой и съ широкимъ презрѣніемъ къ возможной гибели. Онъ укрывалъ нелегальныхъ товарищей, хранилъ запретную литературу и шрифты, передавалъ паспорта и деньги. Въ немъ было много физической силы, черноземнаго добродушія и стихійнаго простосердечія. Онъ нерѣдко получалъ изъ дому, откуда-то изъ глуши Симбирской или Уфимской губерніи, довольно крупныя для студента денежныя суммы, но въ два дня разбрасывалъ и разсовывалъ ихъ повсюду съ небрежностью французскаго вельможи XVII столѣтія, а самъ оставался зимою въ одной тужуркѣ, съ сапогами, реставрированными собственными средствами.

Кромѣ всѣхъ этихъ наивныхъ, трогательныхъ, смѣшныхъ, возвышенныхъ и безалаберныхъ качествъ стараго

русскаго студента, уходящаго—и Богъ вѣсть, къ добру ли?— въ область историческихъ воспоминаній, онъ обладалъ еще одной изумительной способностью — изобрѣтать деньги и устраивать кредиты въ маленькихъ ресторанахъ и кухмистерскихъ. Всѣ служащіе ломбарда и ссудныхъ кассъ, тайные и явные ростовщики, старьевщики—были съ нимъ въ самомъ тѣсномъ знакомствѣ.

Если же по нѣкоторымъ причинамъ нельзя было къ нимъ прибѣгнуть, то и тутъ Соловьевъ оставался на высотѣ своей находчивости. Предводительствуя кучкой обѣднѣвшихъ друзей и удрученный своей обычной дѣловой отвѣтственностью, онъ иногда мгновенно озарялся внутреннимъ вдохновеніемъ, дѣлалъ издали, черезъ улицу, таинственный знакъ проходившему со своимъ узломъ за плечами татарину и на нѣсколько секундъ исчезалъ съ нимъ въ ближайшихъ воротахъ. Онъ быстро возвращался назадъ безъ тужурки, въ одной рубахѣ на выпускъ, подпоясанный пинурочкомъ, или безъ пальто, но въ той же тужуркѣ, или вмѣсто новой, только-что купленной форменной фуражки— въ крошечномъ жокейскомъ картузикѣ, чудомъ державшемся у него на макушкѣ.

Его всѣ любили: товарищи, прислуга, женщины, дѣти. И всѣ были съ нимъ фамиллярны. Особеннымъ благорасположеніемъ пользовался онъ со стороны своихъ кунаковъ-татаръ, которые, кажется, считали его за блажененькаго. Они иногда лѣтомъ приносили ему въ подарокъ крѣпкій пьяный кумысъ въ бутылкахъ, а на Байрамъ приглашали къ себѣ ѣсть молочнаго жеребенка. Какъ это ни покажется неправдоподобнымъ, но Соловьевъ въ критическіи минуты отдавалъ на храненіе татарамъ нѣкоторыя книги и брошюры. Онъ говорилъ при этомъ съ самымъ простымъ и значительнымъ видомъ: „То, что я тебѣ даю—Великая Книга. Она говоритъ о томъ, что Аллахъ акбаръ и Магометъ Его пророкъ, что много зла и бѣдности на землѣ,

и что люди должны быть милостивы и справедливы другъ къ другу“.

У него были и еще двѣ особенности: онъ очень хорошо читаль вслухъ и удивительно, мастерски, прямо-таки гениально игралъ въ шахматы, побѣждая шутя первоклассныхъ игроковъ. Его нападеніе было всегда стремительно и жестоко, защита мудра и осторожна, преимущественно въ облическомъ направленіи, уступки противнику исполнены тонкаго дальновиднаго расчета и убійственнаго коварства. При этомъ дѣлалъ онъ свои ходы точно подъ влияніемъ какого-то внутренняго инстинкта или вдохновенія, не задумаясь болѣе, чѣмъ на четыре-пять секундъ, и рѣшительно презирая почтенныя традиции.

Съ нимъ неохотно играли, считали его манеру играть дикарской, но все-таки играли, иногда на крупныя деньги, которыя, неизмѣнно выигрывая, Соловьевъ охотно возлагалъ на алтарь товарищескихъ нуждъ. Но отъ участія въ конкурсахъ, которые могли бы ему создать положеніе звѣзды въ шахматномъ мірѣ, онъ постоянно отказывался.—„У меня нѣтъ въ натурѣ ни любви къ этой ерундѣ, ни уваженія,— говорилъ онъ:— просто я обладаю какой-то механической способностью ума, какимъ-то психическимъ уродствомъ. Ну вотъ какъ бываютъ лѣвши. И потому у меня нѣтъ ни профессиональнаго самолюбія, ни гордости при побѣдѣ, ни желчи при проигрышѣ“.

Таковъ былъ матерій студентъ Соловьевъ. А Нижерадзе приходился ему самымъ близкимъ товарищемъ, что не мѣшало, однако, обоимъ съ утра до вечера зубоскалить другъ надъ другомъ, спорить и ругаться. Богъ вѣдаетъ, чѣмъ и какъ существовалъ грузинскій князь. Онъ самъ про себя говорилъ, что обладаетъ способностью верблюда питаться впрокъ на нѣсколько недѣль впередъ, а потому мѣсяцъ ничего не ѣсть. Изъ дому, изъ своей благословенной Грузіи, онъ получалъ очень мало, и то больше съѣстными

припасами. На Рождество, на Пасху или въ день именинъ (въ августѣ) ему присылали, — и непременно черезъ прѣзжихъ земляковъ, — цѣлыя клади изъ корзины съ бараниной, виноградомъ, чурчелой, колбасами, сушеной мушмалой, рахатъ-лукумомъ, бадриджанами и очень вкусными лепешками, а также бурдюки съ отличнымъ домашнимъ виномъ, крѣпкимъ и ароматнымъ, но отдававшимъ чуть-чуть овчиной. Тогда князь сзывалъ къ кому-нибудь изъ товарищей (у него никогда не было своей квартиры) всѣхъ близкихъ друзей и земляковъ и устраивалъ такое пышное празднество, — по-кавказски „той“, — на которомъ истреблялись до тла дары плодородной Грузіи, на которомъ пѣли грузинскія пѣсни и, конечно, въ первую голову „Мравольджаміемъ“ и „Намъ каждый гость ниспосланъ Богомъ, какой бы ни былъ онъ страны“, плясали безъ усталы лезгинку, размахивая дико въ воздухъ столовыми ножами, и говорилъ свои импровизаціи тулумбашъ (или, кажется, онъ называется томада); по большей части говорилъ самъ Нижерадзе.

Говорить онъ былъ великій мастеръ и умѣлъ, разгорячася, произносить около трехсотъ словъ въ минуту. Слогъ его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его рѣчи не только не мѣшались, а даже какъ-то странно, своеобразно украшали ее кавказскій акцентъ съ характернымъ цоканьемъ и гортанными звуками, похожими то на харканье вальдшнепа, то на орлиный клекоть. И о чемъ бы онъ ни говорилъ, онъ всегда сводилъ монологъ на самую прекрасную, самую плодородную, самую передовую, самую рыцарскую и въ то же время самую обиженную страну — Грузію. И неизмѣнно цитировалъ онъ строки изъ „Барсовой кожи“ грузинскаго поэта Руставели, увѣряя, что эта поэма въ тысячу разъ выше всего Шекспира, умноженнаго на Гомера.

Онъ былъ хотя и вспыльчивъ, но отходчивъ, и въ обра-

щеніи женственно-мягокъ, ласковъ, предупредителенъ, не теряя природной гордости... Одно въ немъ не нравилось товарищамъ—какое-то преувеличенное, экзотическое женолюбіе. Онъ былъ непоколебимо, до святости, или до глупости, убѣжденъ въ томъ, что онъ неотразимо прекрасенъ собою, что всѣ мужчины завидуютъ ему, всѣ женщины влюблены въ него, а мужья ревнуютъ... Это хвастливое, навязчивое бабничество ни на минуту, должно-быть, даже и во снѣ, не покидало его. Идя по улицѣ, онъ поминутно толкалъ локтемъ въ бокъ Лихонина, Соловьева или другого спутника и говорилъ, причмокивая и кивая назадъ головой на прошедшую мимо женщину: „Це, це, це... вай-вай! Заммечательный женщишна! Ка-акъ она на меня посмотрѣла. Захочу—моя будетъ!..“

За нимъ этотъ смѣшной недостатокъ знали, высмѣивали эту его черту добродушно и безцеремонно, но охотно прощали ради той независимой товарищеской услужливости и вѣрности слову, данному мужчинѣ (клятвы женщинамъ были не въ счетъ), которыми онъ обладалъ такъ естественно. Впрочемъ, надо сказать, что онъ пользовался въ самомъ дѣлѣ большимъ успѣхомъ у женщинъ. Швейки, модистки, хористки, кондитерскія и телефонныя барышни таяли отъ пристального взгляда его тяжелыхъ, сладкихъ и томныхъ черно-синихъ глазъ...

— До-ому сему и всѣмъ праведно, мирно и непорочно обитающимъ въ немъ...—заголосилъ было по-протодьяконски Соловьевъ и вдругъ осѣкся.—Отцы-святители,—забормоталъ онъ съ удивленіемъ, стараясь продолжать неудачную шутку.—Да вѣдь это... Это же... ахъ, дьяволь... это Соня, цѣтъ, виновать, Нади... Ну да! Люба отъ Анны Марковны...

Любка горячо, до слезъ, покраснѣла и закрыла лицо ладонями. Лихонинъ замѣтилъ это, понялъ, прочувствовалъ смятенную душу дѣвушки и пришелъ ей на помощь. Онъ сурово, почти грубо остановилъ Соловьева.

— Совершенно вѣрно, Соловьевъ. Какъ въ адресномъ столѣ. Люба изъ Ямковъ. Прежде — проститутка. Даже больше, еще вчера — проститутка. А съ сегодня — мой другъ, моя сестра. Такъ на нее пускай и смотритъ всякій, кто хоть сколько-нибудь меня уважаетъ. Иначе...

Грузный Соловьевъ торопливо, искренно и крѣпко обнялъ и помялъ Лихонина.

— Ну, милый, ну, будетъ... я впопыхахъ сдѣлалъ глупость. Больше не повторится. Здравствуйте, бѣлолицая сестра моя. — Онъ широко черезъ столъ протянулъ руку Любкѣ и стиснулъ ее безвольные, маленькіе и короткіе пальцы съ обгрызанными крошечными ногтями. — Прекрасно, что вы пришли въ нашъ скромный вигвамъ. Это освѣжитъ насъ и внѣдритъ въ нашу среду [тихіе и приличные нравы... Александра! Пива-а! — закричалъ онъ громко. — Мы одичали, огрубѣли, погрязли въ сквернословіи, пьянствѣ, лѣности и другихъ порокахъ. И все оттого, что были лишены благотворнаго, умиротворяющаго вліянія женскаго общества. Еще разъ жму вашу руку. Милую, маленькую руку. Пива!

— Иду, — слышался за дверью недовольный голосъ Александрѣ. — Иду я. Чего кричишь? На сколько?

Соловьевъ пошелъ въ коридоръ объяснить. Лихонинъ благодарно улыбнулся ему вслѣдъ, а грузинъ по пути благодушно шлепнулъ его по спинѣ между лопатками. Оба поняли и оцѣнили запоздалую грубоватую деликатность Соловьева.

— Теперь, — сказалъ Соловьевъ, возвратившись въ номеръ и сядясь осторожно на древній стулъ, — теперь приступимъ къ порядку дня. Буду ли я вамъ чѣмъ-нибудь полезенъ? Если вы мнѣ дадите полчаса сроку, я сбѣгаю на минутку въ кофейную и выпотрошу тамъ самаго лучшаго шахматиста. Словомъ — располагайте мною.

— Какой вы смѣшной! — сказала Любка, стѣсняясь и

смѣясь. Она не понимала шутливаго и необычнаго слога студента, но что-то влекло ея простое сердце къ нему.

— Этого вовсе и не нужно,—вставилъ Лихонинъ.—Я покамѣстъ еще звѣрски богатъ. Мы, я думаю, пойдѣмъ всѣ вмѣстѣ куда-нибудь въ трактирчикъ. Мнѣ надо будетъ съ вами кое о чемъ посовѣтоваться. Все-таки—вы для меня самые близкіе люди и, конечно, не такъ глупы и неопытны, какъ съ перваго взгляда кажетесь. Затѣмъ я пойду по-пробую устроиться съ ея... съ Любинымъ паспортомъ. Вы подождете меня. Это недолго... Словомъ, вы понимаете, въ чемъ заключается все это дѣло, и не будете расточать лишнихъ шутокъ. Я,—его голосъ дрогнувъ сентиментально и фальшиво,—я хочу, чтобы вы взяли на себя часть моей заботы. Идетъ?

— Ва! идетъ!—воскликнулъ князь (у него вышло „идіотъ“) и почему-то взглянулъ значительно на Любу и закрутилъ усы. Лихонинъ покосился на него. А Соловьевъ сказалъ простосердечно:

— И дѣло. Ты затѣялъ нѣчто большое и прекрасное, Лихонинъ. Князь мнѣ ночью говорилъ. Ну, что же, на то и молодость, чтобы дѣлать святая глупости. Дай мнѣ бутылку, Александра, я самъ открою, а то ты надорвешься и у тебя жила лопнетъ. За новую жизнь, Любочка, виноватъ... Любовь... Любовь...

— Никоновна. Да зовите, какъ сказалось... Люба.

— Ну да, Люба. Князь, аллаверды!

— Якши-олъ,—отвѣтилъ Нижегородце и чокнулся съ нимъ пивомъ.

— И еще скажу, что я очень за тебя радъ, дружище Лихонинъ,—продолжалъ Соловьевъ, поставивъ стаканъ и облизывая усы.—Радъ и кланяюсь тебѣ. Именно только ты и способенъ на такой настоящей русскій героизмъ, выраженный просто, скромно, безъ лишнихъ словъ.

— Оставь... Ну какой героизмъ,—поморщился Лихонинъ.

— И правда — подтвердилъ Нижерадзе.— Ты все меня упрекаешь, что я много болтаю, а самъ какую чепуху развелъ.

— Все равно!—возразилъ Соловьевъ. — Можетъ-быть, и витіевато, но все равно! Какъ староста нашей чердачной коммуны, объявляю Любу равноправнымъ и почетнымъ членомъ!—Онъ поднялся, широко простеръ руку и патетически произнесъ:

„И въ домъ нашъ смѣло и свободно хозяйкой милою войди!“

Лихонинъ ярко вспомнилъ, что ту же самую фразу онъ по-актерски сказалъ сегодня на разсвѣтѣ, и даже зажмурился отъ стыда.

— Будетъ балаганить. Пойдемте, господа. Одѣвайся, Люба.

XIV.

До ресторана „Воробьи“ было недалеко, шаговъ двѣсти. По дорогѣ Любка незамѣтно взяла Лихонина за рукавъ и потянула къ себѣ. Такимъ образомъ они опоздали на нѣсколько шаговъ отъ шедшихъ впереди Соловьева и Нижерадзе.

— Такъ это вы серьезно, Василь Василичъ, миленькій мой?—спросила она, заглядывая снизу вверхъ на него своими ласковыми темными глазами.—Вы не шутите надо мной?

— Какія тутъ шутки, Любочка! Я былъ бы самымъ низкимъ человѣкомъ, если бы позволялъ себѣ такія шутки. Повторяю, что я тебѣ болѣе чѣмъ другъ, братъ, товарищъ. И не будемъ объ этомъ больше говорить. А то, что случилось сегодня поутру, это ужъ, будь покойна, не повторится. И сегодня же я найму тебѣ отдѣльную комнату.

Любка вздохнула. Не то, чтобы ее обижало цѣломудренное рѣшеніе Лихонина, которому, по правдѣ сказать, она плохо вѣрила, но какъ-то ея узкій темный умъ не могъ даже теоретически представить себѣ иного отношенія мужчины

къ женщинѣ, кромѣ чувственнаго. Кромѣ того сказывалось давнишнее, крѣпко усвоенное въ домѣ Анны Марковны, въ видѣ хвастливаго соперничества, а теперь глухое, но искреннее и сердитое недовольство предпочтенной или отвергнутой самки. И Лихонину она почему-то довольно плохо вѣрила, улавливая бессознательно много наиграннаго, не совсѣмъ искренняго въ его словахъ. Вотъ Соловьевъ—тотъ хотя и говорилъ непонятно, какъ и прочее большинство знакомыхъ ей студентовъ, когда они шутили между собой или съ дѣвцами въ общей залѣ, однако Соловьеву она повѣрила бы скорѣе и охотнѣе. Какая-то простота свѣтилась изъ его широко разставленныхъ, веселыхъ, широкихъ сѣрыхъ глазъ.

Лихонина въ „Воробьяхъ“ уважали за солидность, добрый нравъ и денежную аккуратность. Поэтому ему сейчасъ же отвели маленькій отдѣльный кабинетикъ—честь, которой могли похвастаться очень немногіе студенты. Въ этой комнатѣ цѣлый день горѣлъ газъ, потому что свѣтъ проникалъ только изъ узенькаго низа обрѣзаннаго потолокомъ окна, изъ котораго можно было видѣть только сапоги, ботишки, зонтики и тросточки людей, проходившихъ по тротуару.

Пришлось присоединить къ компаніи еще одного студента, Симановскаго, съ которымъ столкнулись у вѣшалки. „Что это, точно онъ на показъ меня водить,—подумала Любка:—похоже, что онъ хвастается передъ ними“. И, улучивъ свободную минуту, она шепнула нагнувшемуся надъ ней Лихонину:

— Миленькій, зачѣмъ же такъ много народу? Я вѣдь такая стѣснительная. Совсѣмъ не умѣю компанію поддержать.

— Ничего, ничего, дорогая Любочка,—быстро прошептала Лихонинъ, задерживаясь въ дверяхъ кабинета:—ничего, сестра моя, это все люди свои, хорошіе, добрые товарищи. Они помогутъ тебѣ, помогутъ намъ обоимъ. Ты не гляди, что они иногда шутятъ и врутъ глупости. А сердца у нихъ золотыя.

— Да ужъ очень неловко мнѣ, стыдно. Всѣ ужъ знаютъ, откуда ты меня взялъ.

— И ничего, ничего! И пусть знаютъ,—горячо возразилъ Лихонинъ.—Зачѣмъ стѣсняться своего прошлаго, замалчивать его? Черезъ годъ ты взглянешь смѣло и прямо въ глаза каждому человѣку и скажешь: „кто не падалъ, тотъ не поднимался“. Идемъ, идемъ, Любочка!

Пока мѣстъ подавали немудреную закуску и заказывали ѣду, всѣ, кромѣ Симановскаго, чувствовали себя неловко и точно связано. Отчасти причиной этому и былъ Симановскій, бритый человѣкъ, въ пенснэ и длинныхъ волосахъ, съ гордо закинутой назадъ головою и съ презрительнымъ выраженіемъ въ узкихъ, опущенныхъ внизъ углами, губахъ. У него не было близкихъ сердечныхъ друзей между товарищами, но его мнѣнія и сужденія имѣли среди нихъ значительную авторитетность. Откуда происходила эта его вліятельность, врядъ ли кто-нибудь могъ бы объяснить себѣ: отъ его ли самоувѣренной внѣшности, отъ умѣнія ли схватить и выразить въ общихъ словахъ то раздробленное и неясное, что смутно ищется и желается большинствомъ, пли оттого, что свои заключенія онъ всегда приберегалъ къ самому нужному моменту. Среди всякаго общества много такого рода людей: одни изъ нихъ дѣйствуютъ на среду софизмами, другіе—каменной безповоротной непоколебимостью убѣжденій, третьи—широкой глоткой, четвертые—злой насмѣшкой, пятые—просто молчаніемъ, заставляющимъ предполагать за собою глубокомысліе, шестые—трескучей внѣшней словесной эрудиціей, иные—хлесткой насмѣшкой надо всѣмъ, что говорить... многіе ужаснымъ русскимъ словомъ „ерунда“. „Ерунда!“—говорятъ они презрительно на горячее, искреннее, можетъ-быть, правдивое, по скомканное слово. „Почему же ерунда?“—„Потому что чепуха, вздоръ“,—отвѣчаютъ они, пожимая плечами, и точно камнемъ по головѣ ухлопываютъ человѣка. Много еще есть сортовъ такихъ людей, главенствующихъ надъ робкими,

застѣнчивыми, благородно-скромными и часто даже надъ большими умами, и къ числу ихъ принадлежалъ Симановскій.

Однако къ серединѣ обѣда языки развязались у всѣхъ, кромѣ Любки, которая молчала, отвѣчала „да“ и „нѣтъ“ и почти не притрогивалась къ ѣдѣ. Больше всѣхъ говорили Лихонинъ, Соловьевъ и Нижерадзе. Первый—рѣшительно и дѣловито, стараясь скрыть подъ заботливыми словами что-то настоящее, внутреннее, колючее и неудобное. Соловьевъ—съ мальчишескимъ восторгомъ, съ размашистыми жестами, стуча кулакомъ по столу. Нижерадзе—съ легкимъ сомнѣніемъ и съ недомолвками, точно онъ знаетъ то, что нужно сказать, но скрывалъ это. Всѣхъ, однако, казалось, захватила, заинтересовала странная судьба дѣвушки, и каждый, высказывая свое мнѣніе, почему-то неизбѣжно обращался къ Симановскому. Онъ же больше помалкивалъ и поглядывалъ на cadaго изъ-подъ низа стеколь пенснэ, высоко поднимая для этого голову.

— Такъ, такъ, такъ,—сказалъ онъ наконецъ, пробарабанивъ пальцами по столу.—То, что сдѣлалъ Лихонинъ, прекрасно и смѣло. И то, что князь и Соловьевъ идутъ ему навстрѣчу, тоже очень хорошо. Я, со своей стороны, готовъ, чѣмъ могу, содѣйствовать вашимъ начинаніямъ. Но не лучше ли будетъ, если мы поведемъ нашу знакомую по пути, такъ сказать, естественныхъ ея влеченій и способностей. Скажите, дорогая моя,—обратился онъ къ Любкѣ:—что вы знаете, умѣете? Ну тамъ работу какую-нибудь или что. Ну тамъ шить, вязать, вышивать.

— Я ничего не знаю,—отвѣтила Любка шопотомъ, низко опустивъ глаза, вся красная, тиская подъ столомъ свои пальцы.—Я ничего здѣсь не понимаю.

— А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ,—вмѣшался Лихонинъ:—вѣдь мы не съ того конца начали дѣло. Разговаривая объ ней въ ея присутствіи, мы только ставимъ ее въ неловкое положеніе. Ну посмотрите, у нея отъ растерянности и

языкъ не шевелится. Пойдемъ-ка, Люба, я тебя провожу на минутку домой и вернусь черезъ десять минутъ. А мы покамѣсть здѣсь безъ тебя обдумаемъ, что и какъ. Хорошо?

— Мнѣ что же, я ничего,—еле слышно отвѣтила Любка.— Я, какъ вамъ, Василь Василичъ, угодно. Только я бы не хотѣла домой.

— Почему такъ?

— Мнѣ одной тамъ неудобно. Мнѣ ужъ лучше васъ на бульварѣ подожду, въ самомъ началѣ, на скамейкѣ.

— Ахъ, да!—спохватился Лихонинъ:— это на нее Александра такого страха нагнала. Задамъ же я перцу этой старой ящерицѣ! Ну, пойдемъ, Любочка.

Она робко, какъ-то сбоку, лопаточкой протянула каждому свою руку и вышла въ сопровожденіи Лихонина.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ вернулся и сѣлъ на свое мѣсто. Онъ чувствовалъ, что безъ него что-то говорили о немъ, и тревожно обѣжалъ глазами товарищей. Потомъ, положивъ руки на столъ, онъ началъ:

— Я знаю васъ всѣхъ, господа, за хорошихъ, близкихъ друзей,—онъ быстро и искоса поглядѣлъ на Симановскаго,— и людей отзывчивыхъ. Я сердечно прошу васъ прійти мнѣ на помощь. Дѣло мною сдѣлано впопыхахъ— въ этомъ я долженъ признаться,—но сдѣлано по искреннему, чистому влеченію сердца.

— А это главное,—вставилъ Соловьевъ.

— Мнѣ рѣшительно все равно, что обо мнѣ стануть говорить знакомые и незнакомые, а отъ своего намѣренія спасти,—извините за дурацкое слово, которое сорвалось,—отъ намѣренія ободрить, поддержать эту дѣвушку я не откажусь. Конечно, я въ состояніи нанять ей дешевую комнатку, дать первое время что-нибудь на прокормъ, но вотъ что дѣлать дальше, это меня затрудняетъ. Дѣло, конечно, не въ деньгахъ, которые я всегда для нея нашель

бы, но вѣдь заставить ее ѣсть, пить и притомъ дать ей возможность ничего не дѣлать—это значить осудить ее на лѣнь, равнодушіе, апатію, а тамъ извѣстно, какой бываетъ конецъ. Стало-быть, нужно ей придумать какое-нибудь занятіе. Вотъ эту-то сторону и надо обмозговать. Понатужьтесь, господа, посовѣтуйте что-нибудь.

— Надо знать, на что она способна,—сказалъ Симановскій.—Вѣдь дѣлала же она что-нибудь до поступленія въ домъ.

Лихонинъ съ видомъ безнадежности развелъ руками.

— Почти что ничего. Чуть-чуть шить, какъ и всякая крестьянская дѣвчонка. Вѣдь ей пятнадцати лѣтъ не было, когда ее совратилъ какой-то чиновникъ. Подмести комнату, постирать, ну, пожалуй, еще сварить щи и кашу. Больше, кажется, ничего.

— Маловато, — сказалъ Симановскій и прищелкнулъ языкомъ.

— Да къ тому же еще и неграмотна.

— Да это и не важно!—горячо вступился Соловьевъ.— Если бы мы имѣли дѣло съ дѣвушкой интеллигентной, а еще хуже полуинтеллигентной, то изъ всего, что мы собираемся сдѣлать, вышелъ бы вздоръ, мыльный пузырь, а здѣсь передъ нами дѣвственная почва, непочатая цѣлина.

— Гы-ы!—заржалъ двусмысленно Нижерадзе.

Соловьевъ, теперь уже не шути, а съ настоящимъ гнѣвомъ накинулся на него:

— Слушай, князь! Каждую святую мысль, каждое благое дѣло можно опоскудить и опохабить. Въ этомъ нѣтъ ничего ни умнаго, ни достойнаго. Если ты такъ по-жеребчьи относишься къ тому, что мы собираемся сдѣлать, то вотъ тебѣ Богъ, а вотъ и порогъ. Иди отъ насъ!

— Да вѣдь ты самъ только-что сейчасъ въ померѣ...— смущенно возразилъ князь.

— Да и я...—Соловьевъ сразу смягчился и потухъ,—и

выскочилъ съ глупостью и жалѣю объ этомъ. А теперь я охотно признаю, что Лихонинъ молодчина и прекрасный человѣкъ, и я все готовъ сдѣлать со своей стороны. И повторяю, что грамотность — дѣло второстепенное. Ее легко постигнуть шутя. Такимъ непочатымъ умомъ научиться читать, писать, считать, а особенно безъ школы, въ охотку, это какъ орѣхъ разгрызть. А что касается до какого-нибудь ручного ремесла, на которое можно жить и кормиться, то есть сотни ремеслъ, которымъ легко выучиться въ двѣ недѣли.

— Напримѣръ?—спросилъ князь.

— А напримѣръ... напримѣръ... ну вотъ, напримѣръ, дѣлать искусственные цвѣты. Да еще лучше поступить въ магазинъ цвѣточницей. Милое дѣло, чистое и красивое.

— Нуженъ вкусъ,—небрежно уронилъ Симановскій.

— Врожденныхъ вкусовъ нѣтъ, какъ и способностей. Иначе бы таланты зарождались только среди изысканнаго высокообразованнаго общества, а художники рождались бы только отъ художниковъ, а пѣвцы отъ пѣвцовъ, а этого мы не видимъ. Впрочемъ, я не буду спорить. Ну, не цвѣточница, такъ что-нибудь другое. Я, напримѣръ, недавно видалъ на улицѣ, въ магазинной витринѣ сидитъ барышня и передъ нею какая-то машина ножная.

— В-ва! Опять машинка!—сказалъ князь, улыбаясь и поглядывая на Лихонина.

— Перестань, Нижерадзе, — тихо, но сурово отвѣтилъ Лихонинъ.—Стыдно.

— Болванъ!—бросилъ ему Соловьевъ и продолжалъ:

— Такъ вотъ машинка движется взадъ и впередъ, а на ней, на квадратной рамкѣ натянуто тонкое полотно, и ужъ я, право, не знаю, какъ это тамъ устроено, я не понималъ, но только барышня водить по экрану какой-то металлической штучкой, и у нея выходитъ чудесный рисунокъ разноцвѣтными шелками. Представьте себѣ, озеро, все по-

росшее кувшинками съ ихъ бѣлыми вѣнчиками и желтыми тычинками, и кругомъ большіе зеленые листья. А по водѣ плывутъ другъ другу навстрѣчу два бѣлыхъ лебедя, и сзади темный паркъ съ аллеей, и все это тонко, четко, какъ на картинкѣ живописной. И я такъ заинтересовался, что нарочно зашелъ спросить, чтò стоитъ. Оказывается, чуть-чуть дороже обыкновенной швейной машины и продается въ разсрочку. А научиться этому искусству можетъ въ те нѣ часа каждый, кто немножко умѣетъ шить на простой машинѣ. И имѣется множество прелестныхъ оригиналовъ. А главное, что такую работу очень охотно берутъ для экрановъ, альбомовъ, абажуровъ, занавѣсокъ, и деньги платять порядочныя.

— Чтò же, и это дѣло,—согласился Лихонинъ и задумчиво погладилъ бороду.—А я, признаться, вотъ чтò хотѣлъ. Я хотѣлъ открыть для нея... открыть небольшую кухмистерскую или столовую, сначала, конечно, самую малюсенькую, но въ которой готовилось бы все очень дешево, чисто и вкусно. Вѣдь многимъ студентамъ рѣшительно все равно, гдѣ обѣдать и чтò ѣсть. Въ студенческой почти никогда не хватаетъ мѣстъ. Такъ вотъ, можетъ-быть, намъ удастся какъ-нибудь заташить всѣхъ знакомыхъ и пріятелей.

— Это вѣрно, — согласился князь, — но и непрактично: начнемъ столоваться въ кредитъ. А ты знаешь, какіе мы аккуратные плательщики. Въ такомъ дѣлѣ нужно человѣка практичнаго, жоха, а если бабу, то со шучьими зубами, и то непременно за ея спиной долженъ торчать мужчина. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь не Лихонину же стоять за выручкой и глядѣть, что вдругъ кто-нибудь наѣстъ, напьетъ и ускользнетъ.

Лихонинъ посмотрѣлъ на него прямо и дерзко, но только сжалъ челюсти и промолчалъ.

Началъ своимъ размѣреннымъ непрекословнымъ тономъ, поигрывая стеклами пенснэ, Симановскій:

— Намѣреніе ваше прекрасно, господа, нѣтъ спору. Но обратили ли вы вниманіе на одну, такъ сказать, тѣневую сторону? Вѣдь открыть столовую, завести какое-нибудь мастерство—все это требуетъ сначала денегъ, помощи,—такъ сказать, чужой спины. Денегъ не жалко — это правда, я согласенъ съ Лихонинымъ, но вѣдь такое начало трудовой жизни, когда каждый шагъ заранѣе обезпеченъ, не ведетъ ли оно къ неизбѣжной распущенности и халатности и, въ концѣ концовъ, къ равнодушному пренебреженію къ дѣлу. Вѣдь и ребенокъ, который разъ пятьдесятъ не хлопнется, не научится ходить. Нѣтъ, ужъ если вы дѣйствительно хотите помочь этой бѣдной дѣвушкѣ, то дайте ей возможность сразу стать на ноги, какъ трудовому человѣку, а не какъ трутню. Правда, тутъ большой искусь, тягость работы, временная нужда, но зато, если она превозможетъ все это, то она превозможетъ и остальное.

— Чтò же ей, по-вашему, въ судомойки итти? — спросилъ съ недовѣріемъ Соловьевъ.

— Ну да,—спокойно возразилъ Симановскій:—въ судомойки, въ прачки, въ кухарки. Всякій трудъ возвышаетъ человѣка.

Лихонинъ покачалъ головой.

— Золотыя слова. Сама мудрость вѣщаетъ вашими устами, Симановскій. Судомойкой, кухаркой, горничной, экономкой... но, во-первыхъ, врядъ ли она на это способна, во-вторыхъ, она уже была горничной и вкусила всѣ прелести барскихъ окриковъ при всѣхъ и барскихъ щипковъ за дверями, въ коридорѣ. Скажите, развѣ вы не знаете, что девяносто процентовъ проституціи вербуются изъ числа женской прислуги! И, значить, бѣдная Люба при первой же несправедливости, при первой неудачѣ легче и охотнѣе пойдетъ туда же, откуда я ее извлекъ, если еще не хуже, потому что это для нея и не такъ страшно и привычно, а можетъ-быть, даже отъ господскаго

обращенія и въ охотку покажется. А кромѣ того, стѣитъ ли мнѣ, то-есть, я хочу сказать, стѣитъ ли намъ всеѣмъ столько хлопотать, стараться, беспокоиться для того, чтобы, избавивъ человѣка отъ одного рабства, ввергнуть въ другое?

— Вѣрно,—подтвердилъ Соловьевъ.

— Какъ хотите,—съ презрительнымъ видомъ процѣдилъ Симаповскій.

— А что касается до меня,—замѣтилъ князь,—то я готовъ, какъ твой пріятель и какъ человѣкъ любознательный, присутствовать при этомъ опытѣ и участвовать въ немъ. Но я тебя еще утромъ предупреждалъ, что такіе опыты бывали и всегда оканчивались позорной неудачей, по крайней мѣрѣ тѣ, о которыхъ мы знаемъ лично, а тѣ, о которыхъ мы знаемъ только по наслышкѣ, сомнительны въ смыслѣ достовѣрности. Но ты началъ дѣло, Лихонинъ—и дѣлай. Мы тебѣ помощники.

Лихонинъ ударилъ ладонью по столу.

— Нѣтъ! — воскликнулъ онъ упрямо. — Симаповскій отчасти правъ насчетъ того, что большая опасность для человѣка, если его водить на помочахъ. Но не вижу другого исхода. На первыхъ порахъ помогу ей комнатою и столомъ... Найду нетрудную работу, куплю для нея необходимыя принадлежности. Будь что будетъ! И сдѣлаемъ все, чтобы хоть немного образовать ея умъ, а что сердце и душа у нея прекрасныя — въ этомъ я увѣренъ. Не имѣю никакихъ основаній для вѣры, но увѣренъ, почти знаю. Нижерадзе! Не паясничай! — рѣзко крикнулъ онъ, блѣднѣя.—Я сдерживался ужъ много разъ при твоихъ дурацкихъ выходкахъ. Я до сихъ поръ считалъ тебя за человѣка съ совѣстью и съ чувствомъ. Еще одна неумѣстная острога, и я перемѣню о тебѣ мнѣніе, и знай, что это навсегда.

— Да я же ничего... Я же, право... Зачѣмъ кирпичиться, душа мой? Тебѣ не нравится, что я веселый человѣкъ, ну, замолчу. Давай твою руку, Лихонинъ, выпьемъ!

— Ну, ладно, отвязись. Будь здоровъ! Только не веди себя мальчишкой, барашекъ осетинскій. Ну, такъ я продолжаю, господа. Если мы не отыщемъ ничего, что удовлетворяло бы справедливому мнѣнію Симановскаго о достоинствѣ независимаго, ничѣмъ не поддержаннаго труда, тогда я все-таки остаюсь при моей системѣ: учить Любу чему можно, водить въ театръ, на выставки, на популярныя лекціи, въ музеи, читать вслухъ, доставлять ей возможность слушать музыку, конечно, понятную. Одному мнѣ, понятно, не справиться со всѣмъ этимъ. Жду отъ васъ помощи, а тамъ—что Богъ дастъ.

— Что же,—сказаль Симановскій:—дѣло новое, незатаканное, и какъ знать, чего не знаешь—можетъ-быть, вы, Лихонинъ, сдѣлаетесь настоящимъ духовнымъ отцомъ хорошаго человѣка. Я тоже предлагаю свои услуги.

— И я! И я! — поддержали другіе двое, и тутъ же, не выходя изъ-за стола, четверо студентовъ выработали очень широкую и очень диковинную программу образованія и просвѣщенія Любки.

Соловьевъ взялъ на себя обучить дѣвушку грамматикѣ и письму. Чтобы не утомлять ее скучными уроками и въ награду за успѣхи, онъ будетъ читать ей вслухъ доступную художественную беллетристику, русскую и иностранную. Лихонинъ оставилъ за собою преподаваніе ариѣметики, географіи и исторіи.

Князь же сказаль простосердечно, безъ обычной шутовскости на этотъ разъ:

— Я, дѣти мои, ничего не знаю, а что и знаю, то — очень плохо. Но я ей буду читать замѣчательное произведеніе великаго грузинскаго поэта Руставели и переводить строчку за строчкой. Признаюсь вамъ, что я никакой педагогъ: я пробоваль быть репетиторомъ, но меня вѣжливо выгоняли послѣ второго же урока. Однако никто лучше меня не сумѣеть научить играть на гитарѣ, мандолинѣ и зурнѣ.

Нижерадзе говорилъ совершенно серьезно, и поэтому Лихонинъ съ Соловьевымъ добродушно разсмѣялись, но совсѣмъ неожиданно, ко всеобщему удивленію, его поддержалъ Симановскій:

— Князь говорить дѣло. Умѣнье владѣть инструментомъ во всякомъ случаѣ повышаетъ эстетическій вкусъ, да и въ жизни иногда бываетъ подспорьемъ. Я же, съ своей стороны, господа... я предлагаю читать съ молодой особой „Капиталь“ Маркса и исторію человѣческой культуры. А кромѣ того проходить съ ней физику и химію.

Если бы не обычный авторитетъ Симановскаго и не важность, съ которой онъ говорилъ, то остальные трое расхохотались бы ему въ лицо. Они только поглядѣли на него выпученными глазами.

— Ну да,— продолжалъ невозмутимо Симановскій:— я покажу ей цѣлый рядъ возможныхъ произвести дома химическихъ и физическихъ опытовъ, которые всегда занимательны и полезны для ума и искореняютъ предрасудки. Попутно я объясню ей кое-что о строеніи міра, о свойствахъ матеріи. Чтò же касается до Карла Маркса, то помните, что великія книги одинаково доступны пониманію и ученаго, и неграмотнаго крестьянина, лишь бы было понятно изложено. А всякая великая мысль проста.

Лихонинъ нашелъ Любку на условленномъ мѣстѣ, на бульварной скамеечкѣ. Она очень неохотно шла съ нимъ домой. Какъ и предполагалъ Лихонинъ, ее, давно отвыкшую отъ будничной, суровой и обильной всякими неприятностями дѣйствительности, страшила встрѣча съ ворчливой Александрой, и кромѣ того на нее угнетающе подѣйствовало то, что Лихонинъ не хотѣлъ скрывать ея прошлаго. Но она, давно уже потерявшая въ учрежденіи Анны Марковны свою волю, обезличенная, готовая итти вслѣдъ за

всякимъ чужимъ зовомъ, не сказала ему ни слова и пошла вслѣдъ за нимъ.

Коварная Александра успѣла уже за это время сбѣгать къ управляющему домомъ и пожаловаться, что вотъ, молъ, прїѣхалъ Лихонинъ съ какой-то дѣвицей, ночевалъ съ ней въ комнатѣ, а кто она, того Александра не знаетъ, что Лихонинъ говоритъ, будто двоюродная сестра, а паспорта не предъявилъ. Пришлось очень долго, пространно и утомительно объясняться съ управляющимъ, человѣкомъ грубымъ и наглымъ, который обращался со всѣми жильцами дома, какъ съ завоеваннымъ городомъ, и только слегка побивался студентовъ, дававшихъ ему иногда суровый отпоръ. Умилостивилъ его Лихонинъ лишь тѣмъ, что тутъ же занялъ для Любки другой номеръ черезъ нѣсколько комнатъ отъ себя, подъ самымъ скосомъ крыши, представлявшій собою внутри круто усѣченную низкую четырехстороннюю пирамиду съ однимъ окошкомъ.

— А все же вы паспортъ, господинъ Лихонинъ, непременно завтра же предъявите, — настойчиво сказалъ управляющій на прощанье. — Какъ вы человѣкъ почтенный, работающій, и мы съ вами давно знакомы, также и платите вы аккуратно, то только для васъ дѣлаю. Времена, вы сами знаете, какія теперь тяжелыя. Донесетъ кто-нибудь, и меня не то что оштрафуютъ, а и выселить могутъ изъ города. Теперь строго.

Вечеромъ Лихонинъ съ Любкой гуляли по Княжескому саду, слушали музыку, игравшую въ Благородномъ Собраніи, и рано возвратились домой. Онъ проводилъ Любку до дверей ея комнаты и сейчасъ же простился съ ней, впрочемъ, поцѣловавъ ее нѣжно, по-отечески, въ лобъ. Но черезъ десять минутъ, когда онъ уже лежалъ въ постели раздѣтый и читалъ государственное право, вдругъ Любка, точно кошка, поцарапавшись въ дверь, вошла къ нему.

— Миленъкій, душенька! Извините, что я васъ побез-

покоила. Нѣтъ ли у васъ иголки съ ниткой? Да вы не сердитесь на меня: я сейчасъ уйду.

— Люба! Я тебя прошу не сейчасъ, а сію секунду уйти. Наконецъ я требую!

— Голубчикъ мой, хорошенькій мой,—смѣшно и жалобно запѣла Любка: — ну что вы все на меня кричите? — и, мгновенно дунувъ на свѣчку, она въ темнотѣ приникла къ нему, смѣясь и плача.

— Нѣтъ, такъ нельзя, Люба! Такъ невозможно дальше,— говорилъ десять минутъ спустя Лихонинъ, стоя у дверей, укутанный, какъ испанскій гидальго, одѣяломъ.—Завтра же я найму тебѣ комнату въ другомъ домѣ. И вообще, чтобы этого не было! Иди съ Богомъ, спокойной ночи! Все-таки ты должна дать честное слово, что у насъ отношенія будутъ только дружескія.

— Даю, миленькій, даю, даю, даю! — залепетала она, улыбаясь, и быстро чмокнула его сначала въ губы, а потомъ въ руку.

Послѣднее дѣйствіе было совсѣмъ инстинктивно, пожалуй, неожиданно даже для самой Любки. Никогда еще въ жизни она не цѣловала мужской руки, кромѣ какъ у пона. Можетъ-быть, она хотѣла этимъ выразить признательность Лихонину и преклоненіе передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшимъ.

XV.

Среди русскихъ интеллигентовъ, какъ уже многими замѣчено, есть порядочное количество диковинныхъ людей, истинныхъ дѣтей русской страны и культуры, которые сумѣютъ героически, не дрогнувъ ни однимъ мускуломъ, глядѣть прямо въ лицо смерти, которые способны ради идеи терпѣливо переносить невообразимыя лишения и страданія, равныя пыткамъ, но зато эти люди теряются отъ высокомерности швейцара, съезживаются отъ окрика прачки,

а въ полицейскій участокъ входятъ съ томительной и робкой тоской. Вотъ именно такимъ-то и былъ Лихонинъ. На слѣдующій день (вчера было нельзя изъ-за праздника и позднего времени), проснувшись очень рано и вспомнивъ о томъ, что ему нужно ѣхать хлопотать о Любкиномъ паспортѣ, онъ почувствовалъ себя такъ же скверно, какъ въ былое время, когда еще гимназистомъ шелъ на экзамень, зная, что навѣрное провалится. У него болѣла голова, а руки и ноги казались какими-то чужими, ненужными, къ тому же на улицѣ съ утра шелъ мелкій и точно грязный дождь. „Всегда вотъ, когда предстоитъ какая-нибудь неприятность, непременно идетъ дождь“,—думалъ Лихонинъ, медленно одѣваясь.

До Ямской улицы отъ него было не особенно далеко, не болѣе версты. Онъ вообще нерѣдко бывалъ въ этихъ мѣстахъ, но никогда ему не приходилось идти туда днемъ, и по дорогѣ ему все казалось, что каждый встрѣчный, каждый извозчикъ и городской смотрять на него съ любопытствомъ, съ укоромъ или съ пренебреженіемъ, точно угадывая цѣль его путешествія. Какъ и всегда это бываетъ въ ненастное мутное утро, всѣ попадавшіеся ему на глаза лица казались блѣдными, некрасивыми, съ уродливо подчеркнутыми недостатками. Десятки разъ онъ воображалъ себѣ все, что онъ скажетъ сначала въ домѣ, а потомъ въ полиціи, и каждый разъ у него выходило поиному. Сердясь на самого себя за эту преждевременную репетицію, онъ иногда останавливалъ себя:

— Ахъ! Не надо думать, не надо предполагать, что скажешь. Всегда гораздо лучше выходить, когда это дѣлается сразу...

И сейчасъ же опять въ головѣ у него начинались воображаемые діалоги:

— Вы не имѣете права удерживать дѣвушку противъ ся желанія.

— Да, но пускай она сама заявитъ о своемъ уходѣ.

— Я дѣйствую по ея порученію.

— Хорошо, но чѣмъ вы это можете доказать?—И опять онъ мысленно обрывалъ самъ себя.

Начался городской выгонъ, на которомъ паслись коровы, дощатый тротуаръ вдоль забора, шаткіе мостики черезъ ручейки и каналы. Потомъ онъ свернулъ на Ямскую. Въ домѣ Анны Марковны всѣ окна были закрыты ставнями съ вырѣзными посрединѣ отверстиями въ формѣ сердецъ. Такъ же были закрыты и всѣ остальные дома безлюдной улицы, опустѣвшей точно послѣ моровой язвы. Со стѣсненнымъ сердцемъ Лихонинъ потянулъ рукоятку звонка.

На звонокъ отворила горничная, босая, съ подтыканнымъ подоломъ, съ мокрой тряпкой въ рукѣ, съ лицомъ, полосатымъ отъ гризи,—она только-что мыла полъ.

— Мнѣ бы Женьку,—попросилъ Лихонинъ несмѣло.

— Такъ что барышня Женя занята съ гостемъ. Еще не просыпались.

— Ну тогда Тамару.

Горничная посмотрѣла на него недовѣрчиво.

— Барышня Тамара—не знаю... Кажется, тоже занята. Да вы какъ, съ визитомъ или что?

— Ахъ, не все ли равно. Ну, скажемъ, съ визитомъ.

— Не знаю. Пойду, погляжу. Подождите.

Она ушла, оставивъ Лихонина въ полутемной залѣ. Голубые пыльные столбы, исходявшіе изъ отверстій въ ставняхъ, пронизывали прямо и вкось тяжелый сумракъ. Безобразными пятнами выступали изъ сѣрой мути раскрашенная мебель и слащавыя олеографіи на стѣнахъ. Пахло вчерашнимъ табакомъ, сыростью, кислотой и еще чѣмъ-то особеннымъ, неопредѣленнымъ, нежилымъ, чѣмъ всегда пахнутъ по утрамъ помещенія, въ которыхъ живутъ только временно: пустые театры, танцевальныя залы, аудиторіи. Далеко въ городѣ прерывисто дребезжали дрожки. Стѣн-

ные часы однозвучно тикали за стѣной. Въ странномъ волненіи ходилъ Лихонинъ взадъ и впередъ по залѣ и потиралъ и мялъ похолодѣвшія руки, и почему-то сутулится и чувствовалъ холодъ.

„Не нужно было затѣивать всю эту фальшивую комедию,—думалъ онъ раздраженно. — Нечего ужъ говорить о томъ, что я сталъ теперь позорной сказкой всего университета. Дернулъ меня чортъ! А вѣдь даже и вчера днемъ было не поздно, когда она говорила, что готова уѣхать назадъ. Дать бы ей только на извозчика и немножко на булавки, и поѣхала бы, и все было бы прекрасно, и былъ бы я теперь независимъ, свободенъ и не испытывалъ бы этого мучительнаго и позорнаго состоянія духа. А теперь уже поздно отступать. Завтра будетъ еще позднѣе, а послѣзавтра—еще. Отколовъ одну глупость, нужно ее сейчасъ же прекратить, а если не сдѣлаешь этого вѣ-время, то она влечетъ за собой двѣ другихъ, а тѣ двадцать новыхъ. Или, можетъ-быть, и теперь не поздно? Вѣдь она же глупа, неразвита и, вѣроятно, какъ и большинство изъ нихъ, истеричка. Она—животное, годное только для ѣды и для постели. О! Чортъ!—Лихонинъ крѣпко стиснулъ себѣ руками щеки и лобъ и зажмурился.—И хоть бы я устоялъ отъ простаго грубаго физическаго соблазна! Вотъ, самъ видишь, это уже случилось дважды а потомъ и пойдетъ и пойдетъ...“

Но рядомъ съ этими мыслями бѣжали другія, противоположныя:

„Но вѣдь я мужчина! Вѣдь я господинъ своему слову. Вѣдь то, что толкнуло меня на этотъ поступокъ, было прекрасно, благородно и возвышенно. Я отлично помню восторгъ, который охватилъ меня, когда моя мысль перешла въ дѣло! Это было чистое огромное чувство. Или это просто была блажь ума, подхлестнутаго алкоголемъ, слѣдствіе безсонной ночи, куренія и длинныхъ отвлеченныхъ разговоровъ?“

И тотчас же представлялась ему Любка, представлялась издалека, точно из туманной глубины временъ, неловкая, робкая, съ ея некрасивымъ и милымъ лицомъ, которое стало вдругъ казаться безконечно - родственнымъ, давнымъ-давно привычнымъ и въ то же время несправедливо, безъ повода неприятнымъ.

„Неужели я трусъ и тряпка?!—внутренно кричалъ Лихонинъ и заламывалъ пальцы. — Чего я боюсь, передъ кѣмъ стѣсняюсь? Не гордился ли я всегда тѣмъ, что я одинъ хозяинъ своей жизни? Предположимъ даже, что мнѣ пришла въ голову фантазія, блажь сдѣлать психологическій опытъ надъ человѣческой душой, опытъ рѣдкій, на девяносто девять процентовъ несудачный. Неужели я долженъ отдавать кому-нибудь въ этомъ отчетъ или бояться чьего-либо мнѣнія? Лихонинъ! Погляди на человѣчество сверху внизъ!“

Въ комнату вошла Женья, растрепанная, заспанная, въ бѣлой ночной кофточкѣ поверхъ бѣлой нижней юбки.

— А-а! — зѣвнула она, протягивая Лихонишу руку. — Здравствуйте, милый студентъ! Какъ ваша Любочка себя чувствуетъ на новосельѣ? Позовите когда въ гости. Или вы справляете свой медовый мѣсяцъ потихоньку? Безъ постороннихъ свидѣтелей?

— Брось пустое, Женечка. Я насчетъ паспорта пришелъ.

— Та-акъ. Насчетъ паспорта, — задумалась Женья. — То-есть тутъ не паспортъ, а надо вамъ взять у экономки бланкъ. Понимаете, нашъ обыкновенный проститутскій бланкъ, а ужъ вамъ его въ участкѣ обмѣнять на настоящую книжку. Только, видите, голубчикъ, въ этомъ дѣлѣ я вамъ буду плохая помощница. Они меня чего добраго избобуютъ, если я сунусь къ экономкѣ со швейцаромъ. А вы вотъ что сдѣлайте. Пошлите-ка лучше горничную за экономкой, скажите, чтобы она передала, что, моль, при-

шелъ одинъ гость постоянный по дѣлу, что очень нужно видѣть лично. А меня вы извините — я отступаюсь, и не сердитесь, пожалуйста. Сами знаете: своя рубашка ближе къ тѣлу. Да что вамъ здѣсь въ темнотѣ шататься одному? Идите лучше въ кабинетъ. Если хотите, я вамъ пива туда пришлю. Или, можетъ-быть, кофе хотите? А то, — и она лукаво заблестѣла глазами, — а то, можетъ-быть, дѣвочку? Тамара занята, такъ, можетъ-быть, Нюру или Вѣрку?

— Перестаньте, Женья! Я пришелъ по серьезному и важному вопросу, а вы...

— Ну-ну, не буду! Это я только такъ. Вижу, что вѣрность соблюдаете. Это очень благородно съ вашей стороны. Такъ идемте же.

Она повела его въ кабинетъ и, открывъ внутренній болтъ ставни, распахнула ее. Дневной свѣтъ мягко и скучно расплескался по краснымъ съ золотомъ стѣнамъ, по канделябрамъ, по мягкой красной вельветиновой мебели.

„Вотъ здѣсь это началось“, — подумалъ Лихонинъ съ тоскливымъ сожалѣниемъ.

— Я ухожу, — сказала Женька. — Вы передъ ней не очень-то пасуйте и передъ Семеномъ тоже. Собачьтесь съ ними во-всю. Теперь день, и они вамъ ничего не посмѣютъ сдѣлать. Въ случаѣ чего, скажите прямо, что, молъ, поѣдете сейчасъ къ губернатору и донесете. Скажите, что ихъ въ двадцать четыре часа закроютъ и выселятъ изъ города. Они отъ окриковъ шелковыми становятся. Ну-съ, желаю успѣха!

Она ушла. Спустя десять минутъ въ кабинетъ вплыла экономка Эмма Эдуардовна въ сатиновомъ голубомъ пенюарѣ, дебеда, съ важнымъ лицомъ, расширявшимся отъ лба внизъ къ щекамъ, точно уродливая тыква, со всѣми своими массивными подбородками и грудями, съ маленькими, зоркими, черными, безрѣсницными глазами, съ тонкими,

злыми, поджатыми губами. Лихонинъ, привставъ, пожалъ протянутую ему пухлую руку, унизанную кольцами, и вдругъ подумаль брезгливо:

„Чортъ возьми! Если бы у этой гадины была душа, если бы эту душу можно было прочесть, то сколько примыхъ и косвенныхъ убійствъ таятся въ ней скрытыми!“

Надо сказать, что, иди на Ямки, Лихонинъ, кромѣ денегъ, захватилъ съ собою револьверъ и часто по дорогѣ, на ходу, лазилъ рукой въ карманъ и ощущалъ тамъ холодное прикосновеніе металла. Онъ ждалъ оскорбленія, насилія и готовился встрѣтить ихъ надлежащимъ образомъ. Но, къ его удивленію, все, что онъ предполагалъ и чего онъ боялся, оказалось трусливымъ фантастическимъ вымысломъ. Дѣло оказалось гораздо проще, скучнѣе, прозаичнѣе и въ то же время непріятнѣе.

— Я, мейн Негг,—сказала равнодушно и немного свысока экономка, усаживаясь въ низкое кресло и закуривая папиросу.—Вы заплатили за одна ночь и вмѣсто этого взяли дѣвушка еще на одна день и еще на одна ночь. Also, вы долженъ еще двадцать пять рублей. Когда мы отпускаемъ дѣвочка на ночь, мы беремъ десять рублей, а за сутки двадцать пять. Это, какъ такса. Не угодно ли вамъ, молодой человѣкъ, курить? — она протянула ему портсигаръ, и Лихонинъ, самъ не зная почему, взялъ папиросу.

— Я хотѣлъ поговорить съ вами совсѣмъ о другомъ.

— О! не безпокойтесь говорить: я все прекрасно понимаю. Вѣроятно, молодой человѣкъ хочетъ взять эта дѣвушка, эта Любка, совсѣмъ къ себѣ на задержаніе, или чтобы ее,—какъ это называется по-русски,—чтобы ее спасай. Да, да, да, это бываетъ. Я двадцать два года живу въ публичный домъ и всегда въ самый лучший публичный домъ, и я знаю, что это случается съ очень глупыми мо-

лодыми людьми. Но только увѣряю васъ, что изъ этого ничего не выйдетъ.

— Выйдетъ, не выйдетъ — это ужъ мое дѣло, — глухо отвѣтилъ Лихонинъ, глядя внизъ, на свои пальцы, подрагивавшіе у него на колѣняхъ.

— О, конечно, ваше дѣло, молодой студентъ, — и дрябля щеки и величественные подбородки Эммы Эдуардовны запрыгали отъ беззвучнаго смѣха.—Отъ души желаю вамъ на любовь и дружбу, но только вы потрудитесь сказать этой мерзавкѣ, этой Любкѣ, чтобы она не смѣла сюда и носа показывать, когда вы ее, какъ собачонку, выбросите на улицу. Пускай подыхаетъ съ голоду подъ заборомъ, или идетъ въ полтинничное заведеніе для солдатъ!

— Повѣрьте, не вернется. Прошу васъ только дать мнѣ немедленно ея свидѣтельство.

— Свидѣтельство? Ахъ, пожалуйста! Хоть сію минуту. Только вы потрудитесь сначала заплатить за все, что она брала здѣсь въ кредитъ. Посмотрите, вотъ ея расчетная книжка. Я ее нарочно взяла съ собой. Ужъ и знала, чѣмъ кончится нашъ разговоръ. — Она вынула изъ разрѣза пенюара, показавъ на минутку Лихонину свою жирную, дебелую, желтую, огромную грудь, маленькую книжку въ черномъ переплетѣ съ заголовкомъ: „Счетъ дѣвицы Ирины Вощенковой въ домѣ терпимости, содержимомъ Анной Марковой Шайбессъ, по Ямской улицѣ, въ домѣ № такой-то“, и протянула ему черезъ столъ. Лихонинъ перевернулъ первую страницу и прочиталъ три или четыре параграфа печатныхъ правилъ. Тамъ сухо и кратко говорилось о томъ, что расчетная книжка имѣется въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ хранится у хозяйки, а другой у проститутки, что въ обѣ книжки заносятся всѣ приходы и расходы, что по уговору проститутка получаетъ столъ, квартиру, отопленіе, освѣщеніе, постельное бѣлье, баню и прочее и за это выплачиваетъ хозяйкѣ никакъ не болѣе двухъ

третьей своего заработка, изъ остальныхъ же денегъ она обязана одѣваться чисто и прилично, имѣя не менѣе двухъ выходныхъ платьевъ. Дальше упоминалось о томъ, что расплата производится при помощи марокъ, которыя хозяйка выдаетъ проституткѣ по полученіи отъ нея денегъ, а счетъ заключается въ концѣ каждаго мѣсяца. И наконецъ, что проститутка во всякое время можетъ оставить домъ терпимости, даже если бы за ней оставался и долгъ, который однако она обязывается погасить на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ.

Лихонинъ ткнулъ пальцемъ въ послѣдній пунктъ и, перевернувъ книжку лицомъ къ эконоmkѣ, сказалъ торжественно:

— Ага! Вотъ видите: имѣетъ право оставить домъ во всякое время. Слѣдовательно она можетъ во всякое время бросить вашъ гнусный вертепъ, ваше проклятое гнѣздо насилія, подлости и разврата, въ которомъ вы...— забарабанилъ-было Лихонинъ, но экономка спокойно оборвала его:

— О! Я не сомнѣваюсь въ этомъ. Пускай уходитъ. Пускай только заплатитъ деньги.

— А векселя? Она можетъ дать векселя.

— Пст! Векселя! Во-первыхъ, она неграмотна, а во-вторыхъ, что стѣять ея векселя? Тьфу! и больше ничего! Пускай она найдетъ себѣ поручителя, который бы заслуживалъ довѣріе, и тогда я ничего не имѣю противъ.

— Но вѣдь въ правилахъ ничего не сказано о поручителяхъ.

— Мало ли что не сказано! Въ правилахъ тоже не сказано, что можно увозить изъ дому дѣвочку, не предупредивъ хозяевъ.

— Но во всякомъ случаѣ вы должны мнѣ будете отдать ея бланкъ.

— Никогда не сдѣлаю такой глупости! Лвитесь сюда съ какой-нибудь почтенной особой и съ полиціей, и пусть по-

лиція удостовѣрить, что этотъ вашъ знакомый есть человекъ состоятельный, и пускай этотъ человекъ за васъ поручится, и пускай, кромѣ того, полиція удостовѣрить, что вы берете дѣвушку не для того, чтобы торговать ею или перепродать въ другое заведеніе, — тогда пожалуйста! Съ руками и ногами!

— Чертовщина!—воскликнулъ Лихонинъ.—Но если этимъ поручителемъ буду я, я самъ! Если я вамъ сейчасъ же подпишу векселя...

— Молодой человекъ! Я не знаю, чему васъ учать въ разныхъ вашихъ университетахъ, но неужели вы меня считаете за такую уже окончательную дуру? Дай Богъ, чтобы у васъ были, кромѣ этихъ, которые на васъ, еще какіе-нибудь штаны! Дай Богъ, чтобы вы хоть черезъ день имѣли на обѣдъ обрѣзки колбасы изъ колбасной лавки, а вы говорите: вексель! Чтò вы мнѣ голову морочите?

Лихонинъ окончательно разсердился. Онъ вытащилъ изъ кармана бумажникъ и шлепнулъ его на столъ.

— Въ такомъ случаѣ я плачу лично и сейчасъ же!

— Ахъ, ну, это дѣло другого рода,—сладко, но все-таки съ недовѣріемъ пропѣла экономка.—Потрудитесь перевернуть страничку и посмотрите, каковъ счетъ вашей возлюбленной.

— Молчи, стерва!—крикнулъ на нее Лихонинъ.

— Молчу, дуракъ,—спокойно отозвалась экономка.

На разграфленныхъ листочкахъ по лѣвой сторонѣ обозначался приходъ, по правой — расходъ.

„Получено марками 15 февраля, — читалъ Лихонинъ,— 10 рублей, 16-го—4 р., 17-го—12 р., 18-го больна, 19-го больна, 20-го—6 р., 21-го—24 р.“

Въ концѣ мѣсяца стояло:

„Итого 330 рублей“.

„Господи! Вѣдь это бредъ какой-то! Сто шестьдесятъ пять визитовъ“,—думалъ, механически подсчитавъ, Лихо-

нинъ и все продолжалъ перелистывать страницы. Потомъ онъ перешелъ на правые столбцы.

„Сдѣлано платье красное шелковое съ кружевамъ 84 р. Портниха Елдокимова. Матине кружевное 35 руб. Портниха Елдокимова. Чулки шелковые 6 паръ 36 рублей“ и т. д., и т. д. „Дано на извозчика, дано на конфеты, куплено духовъ“ и т. д., и т. д. „Итого 205 рублей“. Затѣмъ изъ 330 р. вычиталось 220 р.—доля хозяйки за пансіонъ. Получалась цифра 110 р. Конецъ мѣсячнаго расчета гласилъ:

„Итого за уплатой портнихѣ и за прочіе предметы ста десяти рублей, за Ириной Вощенковой остается долгу девяносто пять (95) рублей, а съ оставшимися отъ прошлаго года четыреста восемнадцатью рублями — пятьсотъ тринадцать (513) рублей“.

Лихонинъ упалъ духомъ. Сначала онъ пробовалъ-было возмущаться дороговизной поставляемыхъ матеріаловъ, но экономка хладнокровно возражала, что это ея совѣмъ не касается, что заведеніе только требуетъ, чтобы дѣвушка одѣвалась прилично, какъ подобаетъ дѣвицѣ изъ порядочнаго, благороднаго дома, а до остального уже ему нѣтъ дѣла. Заведеніе только оказываетъ ей кредитъ, уплачивал ея расходы.

— Но вѣдь это мегера, это паукъ въ образѣ человѣка— эта ваша портниха!— кричалъ изступленно Лихонинъ.— Вѣдь она же въ заговорѣ съ вами, кровососная банка вы такая, черепаха вы гнусная! Каракатица! Гдѣ у васъ совѣсть?!

Чѣмъ онъ больше волновался, тѣмъ Эмма Эдуардовна становилась спокойнѣе и насмѣшливѣе.

— Опять повторяю: это не мое дѣло. А вы, молодой человѣкъ, не выражайтесь, потому что я позову швейцара, и онъ васъ выкинетъ изъ дверей.

Лихонину приходилось долго, озвѣрѣло, до хрипоты въ горлѣ торговаться съ жестокой женщиной, пока она наконецъ не согласилась взять двѣсти пятьдесятъ рублей на-

личными деньгами и на двѣсти рублей векселями. И то только тогда, когда Лихонинъ семестровымъ свидѣтельствомъ доказалъ ей, что онъ въ этомъ году кончаетъ и дѣлается адвокатомъ...

Экономка пошла за билетомъ, а Лихонинъ принялся рассказывать взадъ и впередъ по кабинету. Онъ пересмотрѣлъ уже всѣ картинки на стѣнахъ: и Леду съ лебедемъ, и купанье на морскомъ берегу, и одалиску въ гаремѣ, и сатира, несущаго на рукахъ голую нимфу, но вдругъ его вниманіе привлекъ полузакрытый портьерой небольшой печатный плакатъ въ рамкѣ и за стекломъ. Это былъ сводъ правилъ и постановленій, касающихся обихода публичныхъ домовъ. Онъ попался впервые на глаза Лихонину, и студентъ съ удивленіемъ и съ брезгливостью читалъ эти строки, изложенныя мертвымъ, казеннымъ языкомъ полицейскихъ участковъ. Тамъ съ постыдной дѣловой холодностью говорилось о всевозможныхъ мѣропріятіяхъ и предосторожностяхъ противъ зараженій, объ интимномъ женскомъ туалетѣ, объ еженедѣльныхъ медицинскихъ осмотрахъ и обо всѣхъ приспособленіяхъ для нихъ. Лихонинъ прочиталъ также о томъ, что заведеніе не должно располагаться ближе, чѣмъ на сто шаговъ отъ церквей, учебныхъ заведеній и судебныхъ зданій, что содержать домъ терпимости могутъ только лица женскаго пола, что селиться при хозяйкѣ могутъ только ея родственники и то исключительно женскаго пола и не старше 7-ми лѣтъ, и что какъ дѣвушки, такъ и хозяйева дома и прислуга должны въ отношеніяхъ между собою и также съ гостями соблюдать вѣжливость, тишину, учтивость и благопристойность, отнюдь не позволяя себѣ пьянства, ругательства и драки. А также и о томъ, что проститутка не должна позволять себѣ любовныхъ ласкъ будучи въ пьяномъ видѣ или съ пьянымъ мужчиною, а кромѣ того во время извѣстныхъ отправленій. Тутъ же строжайше воспрещалось проституткамъ производить искус-

ственные выкидыши. „Какой серьезный и нравственный взгляд на вещи!“ — со злобной насмѣшкой подумалъ Лихонинъ.

Наконецъ дѣло съ Эммой Эдуардовной было покончено. Взявъ деньги и написавъ расписку, она протянула ее вмѣстѣ съ бланкомъ Лихонину, а тотъ протянулъ ей деньги, причемъ во время этой операціи оба глядѣли другъ другу въ глаза и на руки напряженно и сторожко. Видно было, что оба чувствовали не особенно большое взаимное довѣріе. Лихонинъ спряталъ документы въ бумажникъ и собирался уходить. Экономка проводила его до самаго крыльца и, когда студентъ уже стоялъ на улицѣ, она, оставаясь на лѣстницѣ, высунулась наружу и окликнула:

— Студентъ! Эй! Студентъ!

Онъ остановился и обернулся.

— Что еще?

— А еще вотъ что. Теперь я должна вамъ сказать, что ваша Любка дрянъ, воровка и больна сифилисомъ! У насъ никто изъ хорошихъ гостей не хотѣлъ ее брать, и все равно, если бы вы не взяли ея, то завтра мы ее выбросили бы вонъ! Еще скажу, что она путалась со швейцаромъ, съ городовыми и съ воришками. Поздравляю васъ съ законнымъ бракомъ!

— У-у! Гадина!—зарычалъ на нее Лихонинъ.

— Болвалъ зеленый!—крикнула экономка и захлопнула дверь.

Въ участокъ Лихонинъ поѣхалъ на извозчикѣ. По дорогѣ онъ вспомнилъ, что не успѣлъ какъ слѣдуетъ поглядѣть на бланкъ, на этотъ пресловутый „желтый билетъ“, о которомъ онъ такъ много слышалъ. Это былъ обыкновенный бѣлый листочекъ не болѣе почтового конверта. На одной сторонѣ въ соответствующей графѣ были прописаны имя, отчество и фамилія Любки и ея профессія—„проститутка“, а на другой сторонѣ краткія извлеченія изъ параграфовъ

того плаката, который онъ только-что прочиталъ,—позорныя; лицемерныя правила о приличномъ поведеніи и внѣшней и внутренней чистотѣ. „Каждый посѣтитель, — прочиталъ онъ,—имѣетъ право требовать отъ проститутки письменное удостовѣреніе доктора, свидѣтельствовавшего ее въ послѣдній разъ“. И опять сентиментальная жалость овладѣла сердцемъ Лихонина.

„Бѣдныя женщины! — подумалъ онъ со скорбью. — Чего только съ вами ни дѣлаютъ, какъ ни издѣваются надъ вами, пока вы не привыкнете ко всему, точно слѣпыя лошади на молотильномъ приводѣ!“

Въ участкѣ его принялъ околоточный Кербешъ. Онъ провелъ ночь на дежурствѣ, не выспался и былъ сердитъ. Его роскошная вѣрообразная рыжая борода была помята. Правая половина румянаго лица еще пунцово рдѣла отъ долгаго лежанія на неудобной клеенчатой подушкѣ. Но удивительно ярко-синіе глаза, холодные и свѣтлые, глядѣли ясно и жестко, какъ голубой фарфоръ. Окончивъ допрашивать, переписывать и ругать скверными словами кучу оборванцевъ, забранныхъ ночью для вытрезвленія и теперь отправляемыхъ по своимъ участкамъ, онъ откинулся на спинку дивана, заложилъ руки за шею и такъ крѣпко потянулся всей своей огромной, богатырской фигурой, что у него затрещали всѣ связки и суставы. Поглядѣлъ онъ на Лихонина, точно на вещь, и спросилъ:

— А вамъ что, господинъ студентъ?

Лихонинъ вкратцѣ изложилъ свое дѣло.

— И вотъ я хочу, — закончилъ онъ, — взять ее себѣ... какъ это у васъ полагается?.. въ качествѣ прислуги или, если хотите, родственницы, словомъ, какъ это дѣлается...

— Ну, скажемъ, содержанки или жены, — равнодушно возразилъ Кербешъ и покрутилъ въ рукахъ серебряный портсигаръ съ монограммами и фигурками. — Я рѣшительно ничего не могу для васъ сдѣлать... по крайней мѣрѣ сей-

часть. Если вы желаете на ней жениться, представьте соответствующее разрѣшеніе своего университетскаго начальства. Если же вы берете на содержаніе, то, подумайте, какаѣ же тутъ логика? Вы берете дѣвушку изъ дома разврата для того, чтобы жить съ ней въ развратномъ сожителствѣ.

— Прислугой, наконецъ,—вставилъ Лихонинъ.

— Да и прислугой тоже. Потрудитесь представить свидѣтельство отъ вашего квартирохозяина, — вѣдь, надѣюсь, вы сами не домовладѣлецъ? Такъ вотъ, свидѣтельство о томъ, что вы въ состояніи держать прислугу, а кромѣ того, всѣ документы, удостовѣряющіе, что вы именно та личность, за которую себя выдаете, на примѣръ, свидѣтельство изъ вашего участка и изъ университета, и все такое прочее. Вѣдь вы, надѣюсь, прописаны? Или, можетъ-быть, того, изъ нелегальныхъ?

— Нѣтъ, я прописанъ!—возразилъ Лихонинъ, начиная терпѣніе.

— И чудесно. А дѣвица, о которой вы хлопочете?

— Нѣтъ, она еще не прописана. Но у меня имѣется ея бланкъ, который вы, надѣюсь, обмѣните мнѣ на ея настоящій паспортъ, и тогда я сейчасъ же пропишу ее.

Кербешъ развелъ руками, потомъ опять заигралъ портсигаромъ.

— Ничего не могу подѣлать для васъ, господинъ студентъ, ровно ничего, покамѣстъ вы не представите всѣхъ требуемыхъ бумагъ. Что касается до дѣвицы, то она, какъ не имѣющая жительства, будетъ немедленно отправлена въ полицію и задержана при ней, если только сама лично не пожелаетъ отправиться туда, откуда вы ее взяли. Имѣю честь кланяться.

Лихонинъ рѣзко нахлобучилъ шапку и пошелъ къ дверямъ. Но вдругъ у него въ головѣ мелькнула остроумная мысль, отъ которой, однако, ему самому стало противно. И,

чувствуя подъ ложечкой тошноту, съ мокрыми, холодными руками, ощущая противное щемленіе въ ножныхъ пальцахъ, онъ опять подошелъ къ столу и сказалъ какъ будто бы небрежно, но срывающимся голосомъ:

— Виновать, господинъ околоточный! Я забылъ самое главное: одинъ нашъ общій знакомый поручилъ мнѣ передать вамъ его небольшой должокъ.

— Хм! Знакомый? — спросилъ Кербешъ, широко раскрывая свои прекрасные лазурные глаза.— Это кто же такой?

— Бар... Барбарисовъ.

— А, Барбарисовъ? Такъ, такъ, такъ! Помню, помню!

— Такъ вотъ не угодно ли вамъ принять эти десять рублей?

Кербешъ покачалъ головой, но бумажку не взялъ.

— Ну и свинья же этотъ вашъ... то-есть нашъ Барбарисовъ. Онъ мнѣ долженъ вовсе не десять рублей, а четвертную. Подлецъ этакій! Двадцать пять рублей, да еще тамъ мелочь какая-то. Ну, мелочь я ему, конечно, не считаю. Богъ съ нимъ! Это, видите ли, бильярдный долгъ. Я долженъ сказать, что онъ негодяй, играетъ нечисто... Итакъ, молодой человѣкъ, гоните еще пятнадцать!

— Ну, и жохъ же вы, господинъ околоточный! — сказалъ Лихонинъ, доставая деньги.

— Помилуйте! — совсѣмъ ужъ добродушно возразилъ Кербешъ.— Жена, дѣти... Жалованье наше, вы сами знаете, какое... Получайте, молодой человѣкъ, паспортшко. Распишитесь въ принятіи. Желаю...

Странное дѣло! Сознаніе того, что паспортъ наконецъ у него въ карманѣ, почему-то вдругъ успокоило и опять взбудрило и приподняло нервы Лихонина.

„Что же! — думалъ онъ, быстро идя по улицѣ, — самое начало положено, самое трудное сдѣлано. Держись крѣпко теперь, Лихонинъ, и не падай духомъ! То, что ты сдѣлалъ,

прекрасно и возвышенно. Пусть я буду даже жертвой этого поступка—все равно! стыдно, дѣлая хорошее дѣло, сейчас же ждать за него награды. И не цирковая собачка, и не дрессированный верблюдъ, и не первая ученица института благородныхъ дѣвицъ. Напрасно только я вчера разболтался съ этими носителями просвѣщенія. Вышло глупо, безтактно и во всякомъ случаѣ преждевременно. Но все поправимо въ жизни. Перетерпишь самое тяжелое, самое позорное, а пройдетъ время, вспомнишь о немъ, какъ о пустякахъ...“

Къ его удивленію, Любка не особенно удивилась и совсѣмъ не обрадовалась, когда онъ торжественно показалъ ей паспортъ. Она была только рада опять увидѣть Лихонина. Кажется, эта первобытная, наивная душа успѣла уже прилѣпиться къ своему покровителю. Она кинулась было къ нему на шею, но онъ остановилъ ее и тихо, почти на ухо спросилъ:

— Люба, скажи мнѣ, не бойся говорить правду, что бы ни было. Мнѣ сейчасъ тамъ въ домѣ сказали, что будто ты больна одной болѣзнью, знаешь, такой, которая называется дурной болѣзнью. Если ты мнѣ хоть сколько-нибудь вѣришь, скажи, голубчикъ, скажи, такъ это или нѣтъ?

Она покраснѣла, закрыла лицо руками, упала на диванъ и расплакалась.

— Миленькій мой! Василь Василичъ, Васенька! Ей-Богу! Вотъ, ей-Богу, никогда ничего подобнаго! Я всегда была такая осторожная. Я ужасно этого боялась. Я васъ такъ люблю! Я вамъ непременно бы сказала.—Она поймала его руки, прижала ихъ къ своему мокрому лицу и продолжала увѣрять его со смѣшной и трогательной искренностью несправедливо обвиняемаго ребенка.

И онъ тотчасъ же въ душѣ повѣрилъ ей.

— Я тебѣ вѣрю, дитя мое! — сказалъ онъ тихо, поглаживая ея волосы. — Не волнуйся, не плачь. Только не

будемъ опять поддаваться нашимъ слабостямъ. Ну, случилось—пусть случилось, и больше не повторимъ этого.

— Какъ хотите,—лепетала дѣвушка, цѣлuya то его руки, то сукно его сюртука. — Если я вамъ такъ не нравлюсь, то, конечно, какъ хотите.

Однако и въ этотъ же вечеръ соблазнъ опять повторился и до тѣхъ поръ повторялся, пока моменты грѣхопаденія перестали возбуждать въ Лихонинѣ жгучій стыдъ и не обратились въ привычку, поглотивъ и потушивъ раскаяніе.

XVI.

Надо отдать справедливость Лихонину: онъ сдѣлалъ все, чтобы устроить Любкѣ спокойное и безбѣдное существованіе. Такъ какъ онъ зналъ, что имъ все равно придется оставить ихъ мансарду, этотъ скворечникъ, возвышавшійся надъ всѣмъ городомъ, оставить не такъ изъ-за тѣсноты и неудобства, какъ изъ-за характера старухи Александры, которая съ каждымъ днемъ становилась все лютѣе, придирчивѣе и бранчивѣе, то онъ рѣшился снять на краю города, на Борщаговкѣ, маленькую квартиренку, состоявшую изъ двухъ комнатъ и кухни. Квартира ему попалась недорогая, за тринадцать рублей въ мѣсяцъ, безъ дровъ. Правда, Лихонину приходилось бѣгать оттуда очень далеко по его урокамъ, но онъ твердо полагался на свою выносливость и здоровье и часто говаривалъ:

— У меня ноги свои. Жалѣть ихъ нечего.

И правда, ходить пѣшкомъ онъ былъ великій мастеръ. Однажды, ради шутки, положивъ себѣ въ жилетный карманъ шагомѣръ, онъ къ вечеру насчиталъ двадцать верстъ, что, принимая во вниманіе необыкновенную длину его ногъ, равнялось верстамъ двадцати пяти. А бѣгать ему надо было довольно-таки много, потому что хлопоты по Любкиному паспорту и обзаведеніе кое-какою домашнею рухлядью

сѣли весь его случайный карточный выигрышь. Онъ пробоваль-было опять приняться за игру, сначала по маленькой, но вскорѣ убѣдился, что теперь его карточная звѣзда вступила въ полосу рокового невезенія.

Ни для кого изъ его товарищей уже, конечно, не былъ тайной настоящей характеръ его отношеній къ Любкѣ, но онъ еще продолжалъ въ ихъ присутствіи разыгрывать съ дѣвушкой комедію дружескихъ и братскихъ отношеній. Почему-то онъ не могъ или не хотѣлъ сознать того, что было бы гораздо умнѣе и выгоднѣе для него не лгать, не фальшивить и не притворяться. Или, можетъ-быть, онъ хотя и зналъ это, но не умѣлъ перевести установившагося тона. А въ интимныхъ отношеніяхъ онъ неизбѣжно игралъ второстепенную, пассивную роль. Инициатива, въ видѣ нѣжности, ласки, всегда исходила отъ Любки (она такъ и осталась Любкой, и Лихонинъ какъ-то совсѣмъ позабылъ о томъ, что въ паспортѣ самъ же прочиталъ ея настоящее имя—Ирина). Она, еще такъ недавно отдававшая безучастно или, наоборотъ, съ имитацией знойной страсти свое тѣло десяткамъ людей, привязалась къ Лихонину всѣмъ своимъ женскимъ существомъ, любящимъ и ревнивымъ, приросла къ нему тѣломъ, чувствомъ, мыслями. Ей былъ смѣшонъ и занимателенъ князь, близокъ душевно и интересно-забавенъ размашистый Соловьевъ, къ подавляющей авторитетности Симановскаго она чувствовала суевѣрный ужасъ, но Лихонинъ былъ для нея одновременно и властелиномъ, и божествомъ, и, что всего ужаснѣе, собственностью и ея тѣлесной радостью.

Давно наблюдено, что изжившійся, затасканный мужчина, изгрызанный и изжеванный челюстями любовныхъ страстей, никогда уже не полюбитъ крѣпкой и единой любовью, одновременно самоотверженной, чистой и страстной. А для женщины въ этомъ отношеніи нѣтъ ни законовъ ни предѣловъ. Это наблюденіе въ особенности подтверждалось на

Любкѣ. Она съ наслажденіемъ готова была пресмыкаться передъ Лихонинымъ, служить ему какъ раба, но въ то же время хотѣла, чтобы онъ принадлежалъ ей больше, чѣмъ столъ, чѣмъ собачка, чѣмъ ночная кофта. И онъ оказывался всегда неустойчивымъ, всегда падающимъ подъ натискомъ этой внезапной любви, которая изъ скромнаго ручейка такъ быстро превратилась въ рѣку и вышла изъ береговъ. И нерѣдко онъ съ горечью и насмѣшкой думалъ про себя:

„Каждый вечеръ я играю роль прекраснаго Іосифа, но тотъ по крайней мѣрѣ хотъ вырвался, оставивъ въ рукахъ у пылкой дамы свое нижнее бѣлье, а когда же я, наконецъ, освобожусь отъ своего ярма?“

И тайная вражда къ Любкѣ уже грызла его. Все чаще и чаще приходили ему въ голову разные коварные планы освобожденія. И иные изъ нихъ были настолько нечестны, что черезъ нѣсколько часовъ или на другой день, вспоминая о нихъ, Лихонинъ внутренне корчился отъ стыда.

„Я падаю нравственно и умственно!—думалъ иногда онъ съ ужасомъ.—Недаромъ же я гдѣ-то читалъ или отъ кого-то слышалъ, что связь культурнаго человѣка съ малоинтеллигентной женщиной никогда не подниметъ ее до уровня мужчины, а, наоборотъ, его пригнетъ и опуститъ до умственнаго и нравственнаго кругозора женщины“.

И черезъ двѣ недѣли она уже совсѣмъ перестала волновать его воображеніе. Онъ уступалъ, какъ насилію, длительнымъ ласкамъ, просьбамъ, а часто и жалости.

А между тѣмъ, отдохнувшая и почувствовавшая у себя подъ ногами живую настоящую почву, Любка стала хорошѣть съ необыкновенной быстротой, подобно тому какъ внезапно развертывается послѣ обильнаго и теплаго дождя цвѣточный бутонъ, еще вчера почти умиравшій. Веснушки сбѣжали съ ея нѣжнаго лица, и въ темныхъ глазахъ исчезло недоумѣвающее, растерянное, точно у молодого галчонка,

выраженіе, и они посвѣжѣли и заблестѣли. Окрѣпло и налилось тѣло, покраснѣли губы. Но Лихонинъ, выдаясь ежедневно съ Любкой, не замѣчалъ этого и не вѣрилъ тѣмъ комплиентамъ, которые ей расточали его пріятели. „Дурацкія шутки,—думалъ онъ хмурясь. — Дразнятся мальчишки“.

Хозяйкой Любка оказалась менѣе чѣмъ посредственной. Правда, она умѣла сварить жирныя щи, такія густыя, что въ нихъ ложка стояла торчкомъ, приготовить огромныя, неуклюжія, безформенныя котлеты и довольно быстро освоилась подъ руководствомъ Лихонина съ великимъ искусствомъ завариванія чая (въ семьдесятъ пять копеекъ фунтъ), но дальше этого она не шла, потому что, вѣроятно, каждому искусству и для каждаго человѣка есть свои крайніе предѣлы, которыхъ никакъ не переступишь. Зато она очень любила мыть полы и исполняла это занятіе такъ часто и съ такимъ усердіемъ, что въ квартирѣ скоро завелась сырость и показались мокрицы.

Соблазненный однажды газетной рекламой, Лихонинъ пріобрѣлъ для нея въ разсрочку чулочно-вязальную машину. Искусство владѣть этимъ инструментомъ, сулившимъ, судя по объявленію, три рубля въ день чистаго заработка его владѣльцу, оказалось настолько нехитрымъ, что Лихонинъ, Соловьевъ и Нижерадзе легко овладѣли имъ въ нѣсколько часовъ, а Лихонинъ даже ухитрился связать цѣлый чулокъ необыкновенной прочности и такихъ размѣровъ, что онъ оказался бы великъ даже для ногъ Минина и Пожарскаго, что въ Москвѣ, на Красной площади. Одна только Любка никакъ не могла постигнуть это ремесло. При каждой ошибкѣ или путаницѣ ей приходилось обращаться къ содѣйствію мужчинъ. Но зато дѣлать искусственные цвѣты она научилась довольно быстро и, вопреки мнѣнію Симаповскаго, дѣлала ихъ очень изящно и съ большимъ вкусомъ, такъ что черезъ мѣсяцъ шляпные и спеціальныя ма-

газины стали покупать у нея работу. И что самое удивительное, она взяла всего два урока у специалистки, а остальному научилась по самоучителю, руководясь только приложенными къ нему рисунками. Она не ухитрилась выработать цвѣтовъ болѣе чѣмъ на рубль въ недѣлю, но и эти деньги были ея гордостью, и на первый же вырученный полтинникъ она купила Лихонину мундштукъ для куренія.

Нѣсколько лѣтъ спустя Лихонинъ самъ въ душѣ сознавался, съ раскаяніемъ и тихой тоской, что этотъ періодъ времени былъ самымъ тихимъ, мирнымъ и уютнымъ за всю его университетскую жизнь. Эта неужлюбая, неловкая, можетъ-быть, даже глупая Любка обладала какой-то инстинктивной домовитостью, какой-то незамѣтной способностью создавать вокругъ себя свѣтлую, спокойную и легкую тишину. Это именно она достигла того, что квартира Лихонина очень скоро стала милымъ, тихимъ центромъ, гдѣ чувствовали себя какъ-то просто, по-семейному, и отдыхали душою послѣ тяжелыхъ мытарствъ, нужды и голоданія всѣ товарищи Лихонина, которымъ, какъ и большинству студентовъ того времени, приходилось выдерживать ожесточенную борьбу съ суровыми условіями жизни. Вспоминалъ Лихонинъ съ благодарной грустью объ ея дружеской услужливости, объ ея скромной и внимательной молчаливости въ эти вечера за самоваромъ, когда такъ много говорилось, спорилось и мечталось.

Съ ученіемъ дѣло шло очень туго. Всѣ эти самозванные развиватели, вмѣстѣ и порознь, говорили о томъ, что образованіе человѣческаго ума и воспитаніе человѣческой души должны исходить изъ индивидуальныхъ мотивовъ, но на самомъ дѣлѣ они пичкали Любку именно тѣмъ, что имъ самимъ казалось нужнымъ и необходимымъ, и старались преодолѣть съ нею именно тѣ научныя препятствія, которыя безъ всякаго ущерба можно было бы оставить въ сторонѣ.

Такъ, напримѣръ, Лихонинъ ни за что не хотѣлъ примириться, обучая ее ариѳметикѣ, съ ея страннымъ, варварскимъ, дикарскимъ или, вѣрнѣе, дѣтскимъ, самобытнымъ способомъ считать. Она считала исключительно единицами, двойками, тройками и пятками. Такъ, напримѣръ, двѣнадцать у нея были два раза по двѣ тройки, девятнадцать— три пятерки и двѣ двойки, и надо сказать, что по своей системѣ она съ быстротою счетныхъ костяжекъ оперировала почти до ста. Дальше итти она не рѣшалась, да, впрочемъ, ей и не было въ этомъ практической надобности. Тщетно Лихонинъ старался перевести ее на десятиричную систему. Изъ этого ничего не получалось, кромѣ того, что онъ выходилъ изъ себя, кричалъ на Любку, а она глядѣла на него молча, изумленными, широко открытыми и виноватыми глазами, на которыхъ рѣсницы отъ слезъ слипались длинными черными стрѣлами. Также, по капризному складу ума, она сравнительно легко начала овладѣвать сложениемъ и умножениемъ, но вычитаніе и дѣленіе было для нея непроницаемой стѣной. Зато съ удивительной быстротой, легкостью и остроуміемъ она умѣла рѣшать всевозможныя устныя шутливыя задачи-головоломки, да и сама помнила ихъ еще очень много изъ деревенскаго тысячелѣтняго обихода. Къ географіи она была совершенно тупа. Правда, она въ сотни разъ лучше, чѣмъ Лихонинъ, умѣла на улицѣ, въ саду и въ комнатѣ ориентироваться по странамъ свѣта,— въ ней сказывался древній мужицкій инстинктъ,—но она упорно отвергала сферичность земли и не признавала горизонта, а когда ей говорили, что земной шаръ движется въ пространствѣ, она только фыркала. Географическія карты для нея всегда были непонятной мазней въ нѣсколько красокъ, но отдѣльныя фигуры она запоминала точно и быстро. „Гдѣ Италія?“—спрашивалъ ее Лихонинъ. — „Вотъ онъ, салоугъ“,—говорила Любка и торжествующе тыкала въ Аппенинскій полуостровъ.—„Швеція и Норвегія?“—„Это собака,

которая прыгаетъ съ крыши“. — „Балтійское море?“ — „Вдова стоитъ на колѣняхъ“. — „Черное море?“ — „Башмакъ“. — „Испанія?“ — „Толстякъ въ фуражкѣ. Вотъ онъ“ и т. д. Съ исторіей дѣло шло не лучше: Лихонинъ не учитывалъ того, что она съ ея дѣтской душой, жаждущей вымысла, легко освоилась бы съ историческими событіями по разнымъ смѣшнымъ и героически-трогательнымъ анекдотамъ, а онъ, привыкшій натаскивать къ экзаменамъ и репетировать гимназистовъ четвертаго или пятаго класса, морилъ ее именами и годами. Кромѣ того, онъ былъ очень нетерпѣливъ, несдержанъ, вспыльчивъ, скоро утомлялся, и тайная, обыкновенно скрываемая, но все возрастающая ненависть къ этой дѣвушкѣ, такъ внезапно и нелѣпо перекосившей всю его жизнь, все чаще и несправедливѣе срывалась во время этихъ уроковъ.

Гораздо бѣльшимъ успѣхомъ пользовался, какъ педагогъ, Нижерадзе. Его гитара и мандолина всегда висѣли въ столовой, прикрѣпленныя лентами къ гвоздямъ. Любку болѣе влекла гитара своими мягкими теплыми звуками, чѣмъ раздражающее металлическое блеяніе мандолины. Когда Нижерадзе приходилъ къ нимъ въ гости (раза три или четыре въ недѣлю, вечеромъ), она сама снимала гитару со стѣны, тщательно вытирала ее платкомъ и передавала ему. Онъ, повозившись нѣкоторое время съ настройкой, откашливался, клалъ ногу на ногу, небрежно отваливался на спинку стула и начиналъ горловымъ, немного хриплымъ, но пріятнымъ и вѣрнымъ теноркомъ:

Паридательской завукъ пацилуя
Разыдался ва начиной тишинѣ-ѣ,
Онъ, пылакая серадаца чаруя,
Дасытупинъ валюбленной читѣ.
.....
За мига савиданья...

И при этомъ онъ дѣлалъ видъ, что онъ млѣетъ отъ

собственного пѣнія, замуривалъ глаза, въ страстныхъ мѣстахъ потрясалъ головою или во время паузъ, оторвавъ правую руку отъ струнъ, вдругъ на секунду окаменѣвалъ и вонзался въ глаза Любки томными, влажными, бараньими глазами. Онъ зналъ безконечное множество романсовъ, пѣсенокъ и старинныхъ шутивыхъ штукъ. Больше всего нравились Любкѣ всѣмъ извѣстные армянскіе куплеты про Карапета:

„У Карапета есть буфетъ,
На буфетѣ есть конфетъ,
На конфетѣ есть портретъ, —
Этотъ самый Карапетъ“.

Куплетовъ этихъ (они на Кавказѣ называются „кин-тоури“ — пѣсня разносчиковъ) князь зналъ безпредѣльно много, но нелѣпый припѣвъ былъ всегда одинъ и тотъ же:

„Браво, bravo, Катенька,
Катеринъ Петровна,
Не цѣлуй меня въ щека,
Цѣлуй на затылкахъ“.

Пѣлъ эти куплеты Нижерадзе всегда уменьшеннымъ голосомъ, сохраняя на лицѣ выраженіе серьезнаго удивленія къ Карапету, а Любка смѣялась до боли, до слезъ, до нервныхъ спазмовъ. Однажды, увлеченная, она не удержалась и стала вторить, и у нихъ пѣніе вышло очень согласное. Мало-по-малу, когда постепенно она совершенно перестала стѣсняться князи, они все чаще и чаще пѣли вмѣстѣ. У Любки оказалось очень мягкое и низкое, хотя и маленькое контральто, на которомъ совсѣмъ не оставила слѣдовъ ея прошлая жизнь съ простудами, питьемъ и профессиональными излишествами. А главное — что уже было случайнымъ курьезнымъ даромъ Божиимъ — она обладала инстинктивною прирожденною способностью очень точно, красиво и всегда оригинально вести второй голосъ. Настало уже то время, подъ конецъ ихъ знакомства, когда

не Любка князя, а наоборотъ, князь ее упрашивалъ спѣть какую-нибудь изъ любимыхъ народныхъ пѣсенъ, которыхъ она знала множество. И вотъ, положивъ локоть на столъ и подперевъ по-бабьи голову правой ладонью, она заводила подъ бережный, тщательный, тихій аккомпанементъ:

Ой, да надоѣли мнѣ ночи,
Да наскучили,
Со милымъ со дружкой
Быть разлученной!
Ой, не сама ли я, баба,
Глупость сдѣлала,
Моего дружка
Распрогнѣвала:
Назвала его
Горькимъ пьяницей!..

— Горькимъ пьяницей! — повторялъ князь вмѣстѣ съ ней послѣднія слова и уныло покачивалъ склоненной на бокъ курчавой головой, и оба они старались окончить слова такъ, чтобы едва уловимый трепетъ гитарныхъ струнъ и голоса постепенно стихали, и чтобы нельзя было замѣтить, когда кончился звукъ и когда настало молчаніе.

Зато съ „Барсовой кожей“, сочиненіемъ знаменитаго грузинскаго поэта Руставели, князь Нижерадзе окончательно провалился. Прелесть поэмы, конечно, заключалась для него въ томъ, какъ она звучала на родномъ языкѣ, но едва только онъ начиналъ нараспѣвъ читать свои гортанныя, цокающія, харкающія фразы, Любка сначала долго тряслась отъ непреодолимаго смѣха, пока наконецъ не прыскала на всю комнату и раздражалась длиннымъ хохотомъ. Тогда Нижерадзе со злостью захлопывалъ томикъ обожаемаго писателя и бранилъ Любку ишакомъ и верблюдомъ. Впрочемъ, они скоро мирились.

Бывали случаи, что на Нижерадзе находили припадки козлиной проказливой веселости. Онъ дѣлалъ видъ, что хочетъ обнять Любку, выкатывалъ на нее преувеличенно

страстные глаза и театралью изнывающимъ шопотомъ произносили:

— Душа мой! Лучшій роза въ саду Аллаха! Медъ и молоко на устахъ твоихъ, а дыханіе твое лучше, чѣмъ аромать шашлыка. Дай мнѣ испить блаженство нирваны изъ кубка твоихъ усть! О, ты, моя лучшая тифлисская чурчхела!

А она смѣялась, сердилась, била его по рукамъ и угрожала пожаловаться Лихонину.

— Ва! — разводилъ князь руками. — Чтò такое Лихонинъ? Лихонинъ — мой другъ, мой братъ и кунакъ. Но развѣ онъ знаетъ, чтò такое любоффъ? Развѣ вы, сѣверные люди, понимаете любоффъ? Это мы, грузины, созданы для любви. Смотри, Люба! Я тебѣ покажу сейчасъ, что такое любоффъ! — Онъ сжималъ кулаки, выгибался тѣломъ впередъ и такъ звѣрски начиналъ вращать глазами, такъ скрежегаль зубами и рычалъ львинымъ голосомъ, что Любку, несмотря на то, что она знала, что это шутка, хватывалъ дѣтскій страхъ, и она бросалась бѣжать въ другую комнату.

Однако надо сказать, что для этого парня, вообще очень невоздержнаго насчетъ легкихъ случайныхъ романовъ, существовали особенные твердые моральные запреты, всосанные съ молокомъ матери-грузинки, священные адаты относительно жены друга. Да и, должно-быть, онъ понималъ, — а надо сказать, что эти восточные человѣки, несмотря на ихъ кажущуюся наивность, а можетъ-быть, и благодаря ей, обладаютъ, когда захотятъ, тонкимъ душевнымъ чутьемъ, — понималъ, что, сдѣлавъ хотя бы только на одну минуту Любку своей любовницей, онъ навсегда лишится этого милаго, тихаго, семейнаго вечерняго уюта, къ которому онъ такъ привыкъ. А онъ, который былъ на ты почти со всѣмъ университетомъ, тѣмъ не менѣе чувствовалъ себя такимъ одинокимъ въ чужомъ городѣ и до сихъ поръ чуждой для него странѣ!

Больше всего удовольствія доставляли эти занятія Соловьеву. Этотъ большой, сильный и небрежный человѣкъ какъ-то невольно, незамѣтно для самого себя, сталъ подчиняться тому скрытому, неуловимому, изищному обаянiю женственности, которое нерѣдко таится подъ самой грубой оболочкой, въ самой жесткой, корявой средѣ. Властвовала ученица, слушался учитель. По свойствамъ первобытной, но зато свѣжей, глубокой и оригинальной души Любка была склонна не слушаться чужого метода, а изыскивать свои особенные странные приемы. Такъ, на примѣръ, она, какъ многія, впрочемъ, дѣти, раньше выучилась писать, чѣмъ читать. Не она сама, кроткая и уступчивая по натурѣ, а какое-то особенное свойство ея ума упрямо не хотѣло при чтенiи пристегивать гласную къ согласной или наоборотъ, въ письмѣ же у нея это выходило. Къ чистописанiю по косымъ линейкамъ она, вопреки общему обыкновенiю учащихся, чувствовала большую склонность; писала, низко склонившись надъ бумагой, тяжело вздыхала, дула отъ старанiя на бумагу, точно сдувая воображаемую пыль, облизывала губы и подпирала изнутри то одну, то другую щеку языкомъ. Соловьевъ не прекословилъ ей и шелъ слѣдомъ по тѣмъ путямъ, которые пролагалъ ея инстинктъ. И надо сказать, что онъ за эти полтора мѣсяца успѣлъ привязаться всей своей огромной, раскидистой, мощной душой къ этому случайному, слабому, временному существу. Это была бережная, смѣшная, великодушная и немного удивленная любовь и бережная забота добраго слона къ хрупкому, беспомощному желтопухому цыпленку.

Чтенiе для нихъ обоихъ было лакомствомъ, и опять-таки выборомъ произведенiй руководилъ вкусъ Любки, а Соловьевъ шелъ только по его теченiю и изгибамъ. Такъ, на примѣръ, Любка не одолѣла Донъ-Кихота, устала и наконецъ, отвернувшись отъ него, съ удовольствiемъ прослушала Робинзона и особенно обильно поплакала надъ

сценой свиданія съ родственниками. Ей нравился Диккенсъ, и она очень легко схватывала его свѣтлый юморъ, но бытовые англійскія черты были ей чужды и непонятны. Читали они не разъ и Чехова, и Любка свободно, безъ затрудненія вникала въ красоту его рисунка, въ его улыбку и грусть. Дѣтскіе рассказы ея умиляли, трогали до такой степени, что смѣшно и радостно было на нее глядѣть. Однажды Соловьевъ прочиталъ ей чеховскій рассказъ „Припадокъ“, въ которомъ, какъ извѣстно, студентъ впервые попадаетъ въ публичный домъ и потомъ, на другой день, бьется, какъ въ припадкѣ, въ спазмахъ остраго душевнаго страданія и сознанія общей виновности. Соловьевъ самъ не ожидалъ того громаднaго впечатлѣнія, которое на нее произведетъ эта повѣсть. Она плакала, бранилась, вслепскивала руками и все время восклицала:

— Господи! Откуда онъ все это беретъ и какъ ловко! Въдь точь въ точь какъ у насъ!

Однажды онъ принесъ съ собою книжку, озаглавленную: „Исторія Манонъ Леско и кавалера де-Гріе“, сочиненіе аббата Прево. Надо сказать, что эту замѣчательную книгу самъ Соловьевъ читалъ впервые. Но гораздо глубже и тоньше оцѣнила ее все-таки Любка. Отсутствие фабулы, наивность повѣствованія, излишество сентиментальности, старомодность письма — все это вмѣстѣ взятое расхолаживало Соловьева. Любка же воспринимала не только ушами, но какъ будто глазами и всѣмъ наивно открытымъ сердцемъ радостныя, печальныя, трогательныя и легкомысленныя детали этого причудливаго безсмертнаго романа.

„Намѣреніе наше обвѣнчаться было забыто въ Сень-Дени,—читалъ Соловьевъ, низко склонивъ свою кудлатую, золотистую, освѣщенную абажуромъ голову надъ книгой:— мы преступили законы церкви и, не подумавъ о томъ, стали супругами“.

— Что же это они? Самоболкой, значить? Безъ поща?

Такъ?—спросила тревожно Любка, отрываясь отъ своихъ искусственныхъ цвѣтовъ.

— Конечно. Такъ что же? Свободная любовь и больше никакихъ. Вотъ, какъ и вы съ Лихонинымъ.

— То я! Это совсѣмъ другое дѣло. Онъ взялъ меня, вы сами знаете, откуда. А она—барышня невинная и благородная. Это подлость съ его стороны такъ дѣлать. И, повѣрьте мнѣ, Соловьевъ, онъ ее непремѣнно потомъ бросить. Ахъ, бѣдная дѣвушка! Ну, ну, ну, читайте дальше.

Но уже черезъ нѣсколько страницъ всѣ симпатіи и сожалѣнія Любки перешли отъ Манонъ на сторону обманутаго кавалера.

„Впрочемъ, посѣщеніе и уходъ украдкой г. де-Б. приводили меня въ смущеніе. Я вспомнилъ также небольшія покупки Манонъ, которыя превосходили наши средства. Все это пахивало щедростью новаго любовника. Но нѣтъ, нѣтъ!—повторялъ я,—невозможно, чтобъ Манонъ измѣнила мнѣ! Она знаетъ, что я живу только для нея, она прекрасно знаетъ, что я ее обожаю“.

— Ахъ, дурачокъ, дурачокъ!—воскликнула Любка.—Да развѣ же не видно сразу, что она у этого богача на содержаніи. Ахъ, она дрянъ какая!

И чѣмъ дальше развертывался романъ, тѣмъ болѣе живое и страстное участіе принимала въ немъ Любка. Она ничего не имѣла противъ того, что Манонъ обирала при помощи любовника и брата своихъ послѣдовательныхъ покровителей, а де-Гріе занимался шуллерской игрой въ клубѣ, но каждая ея новая измѣна приводила Любку въ неистовство, а страданія кавалера вызывали у нея слезы. Однажды она спросила:

— Соловьевъ, милочка, а онъ кто былъ, этотъ сочинитель?

— Это былъ одинъ французскій священникъ.

— Онъ былъ не русскій?

— Нѣтъ, говорю тебѣ, французъ Видишь, тамъ у него все: и города французскіе и люди съ французскими именами.

— Такъ вы говорите, онъ былъ священникъ? Откуда же онъ все это зналъ?

— Да такъ ужъ, зналъ. Раньше онъ былъ обыкновеннымъ свѣтскимъ человѣкомъ, дворяниномъ, а ужъ потомъ сталъ монахомъ. Онъ многое видѣлъ въ своей жизни. Потомъ онъ опять вышелъ изъ монаховъ. Да, впрочемъ, здѣсь впереди книжки все о немъ подробно написано.

Онъ прочиталъ ей біографію аббата Прево. Любка внимательно прослушала ее, многозначительно покачивая головою, переспросила въ нѣкоторыхъ мѣстахъ о томъ, что ей было непонятно, и, когда онъ кончилъ, она задумчиво протянула:

— Такъ вотъ онъ какой! Ужасно хорошо написалъ. Только зачѣмъ она такая подлая? Вѣдь онъ вотъ какъ ее любить, на всю жизнь, а она постоянно ему измѣняетъ.

— Что же, Любочка, подѣлаешь? Вѣдь и она его любила. Только она пустая дѣвчонка, легкомысленная. Ей бы только тряпки, да собственные лошади, да брильянты.

Любка вспыхнула и крѣпко ударила кулакомъ объ кулакъ.

— Я бы ее, подлую, въ порошокъ стерла! Тоже это называется любила! Если ты любишь человѣка, то тебѣ все должно быть мило отъ него. Онъ въ тюрьму, и ты съ нимъ въ тюрьму. Онъ сдѣлался воромъ, а ты ему помогай. Онъ нищій, а ты все-таки съ нимъ. Что тутъ особеннаго, что корка чернаго хлѣба, когда любовь! Подлая она и подлая! А и бы, на его мѣстѣ, бросила бы ее или, вмѣсто того чтобы плакать, такую задала ей взбучку, что она бы цѣлый мѣсяць съ синяками ходила, гадина!

Конца повѣсти она долго не могла дослушать и все раздражалась такими искренними горячими слезами, что

приходилось прерывать чтение, и послѣднюю главу они одолѣли только въ четыре пріема.

Бѣды и злключенія любовниковъ въ тюрьмѣ, насильственное отправленіе Манонъ въ Америку и самоотверженность де-Гріе, добровольно послѣдовавшаго за нею, такъ овладѣли воображеніемъ Любки и потрясли ея душу, что она уже забывала дѣлать свои замѣчанія. Слушая рассказъ о тихой, прекрасной смерти Манонъ среди пустынной равнины, она, не двигаясь, съ стиснутыми на груди руками глядѣла на огонь, и слезы часто-часто бѣжали изъ ея раскрытыхъ глазъ и падали, какъ дождикъ, на столъ. Но когда кавалеръ де-Гріе, пролежавшій двое сутокъ около трупа своей дорогой Манонъ, не отрывая устъ отъ ея рукъ и лица, начинаетъ наконецъ обломкомъ пшяги копать могилу—Любка такъ разрыдалась, что Соловьевъ напугался и кинулся за водой. Но и успокоившись немного, она долго еще всхлипывала дрожащими распухшими губами и лепетала:

— Ахъ! Жизнь ихъ была какая разнесчастная! Вотъ судьба-то горькая какая! И ужъ кого мнѣ жалѣть больше— и теперь не знаю: его или ее. И неужели это всегда такъ бываетъ, милый Соловьевъ, что какъ только мужчина и женщина вотъ такъ вотъ влюбятся, какъ они, то непременно ихъ Богъ накажетъ? Голубчикъ, почему же это? Почему?

XVII.

Но если грузинъ и добродушный Соловьевъ служили въ курьезномъ образованіи ума и души Любки смягчающимъ началомъ противъ острыхъ шиповъ житейской премудрости, и если педантизмъ Лихонина Любка прощала ради первой искренней и безграничной любви къ нему и прощала такъ же охотно, какъ простила бы ему брань, побои или тяжелое преступленіе, зато для нея искреннимъ муче-

ніемъ и постоянной длительной тяготой были уроки Симановскаго. А надо сказать, что онъ, какъ на зло, былъ въ своихъ урокахъ гораздо аккуратнѣе и точнѣе, чѣмъ всякій педагогъ, обрабатывающій свои недѣльные порочныя.

Неопровержимостью своихъ мнѣній, увѣренностью тона, дидактичностью изложенія онъ такъ же отнималъ волю у бѣдной Любки и парализовалъ ея душу, какъ иногда во время университетскихъ собраній или на массовкахъ онъ вліялъ на робкіе и застѣнчивые умы новичковъ. Онъ бывалъ ораторомъ на сходкахъ, онъ былъ виднымъ членомъ по устройству студенческихъ столовыхъ, онъ участвовалъ въ записываніи, литографированіи и изданіи лекцій, онъ бывалъ выбираемъ старостой курса и наконецъ принималъ очень большое участіе въ студенческой кассѣ. Онъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которые послѣ того, какъ оставить студенческія аудиторіи, становятся вожаками партій, безграничными властителями чистой и самоотверженной совѣсти, отбываютъ свой политическій стажъ гдѣ-нибудь въ Чухломѣ, обращая острое вниманіе всей Россіи на свое героически-бѣдственное положеніе, и затѣмъ, прекрасно опираясь на свое прошлое, дѣлаютъ себѣ карьеру, благодаря солидной адвокатурѣ, депутатству или же женитьбѣ, сопряженной съ хорошимъ кускомъ черноземной земли и съ земскою дѣятельностью. Незамѣтно для самихъ себя и совсѣмъ уже незамѣтно для посторонняго взгляда они осторожно правѣютъ, или, вѣрнѣе, лияютъ до тѣхъ поръ, пока не отрастятъ себѣ животъ и не наживутъ подагры и болѣзни печени. Тогда они ворчатъ на весь міръ, говорить, что ихъ не поняли, что ихъ время было временемъ святыхъ идеаловъ. А въ семьѣ они деспоты и нерѣдко отдають деньги въ ростъ.

Путь образованія Любкинаго ума и души былъ для него ясенъ, какъ было ясно и неопровержимо все, что онъ

ни задумывалъ; онъ хотѣлъ сначала заинтересовать Любку опытами по химіи и физикѣ.

„Дѣвственно-женскій умъ, — размышлялъ онъ, — будетъ пораженъ, тогда я овладѣю ея вниманіемъ, и отъ пустяковъ, отъ фокусовъ я перейду къ тому, что введетъ ее въ центръ всемірнаго познанія, гдѣ нѣтъ ни суевѣрій ни предрасудковъ, гдѣ есть только широкое поле для испытанія природы“.

Надо сказать, что онъ былъ непослѣдовательнымъ въ своихъ урокахъ. Онъ таскалъ, на удивленіе Любки, все, что ему попадалось подъ руки. Однажды приволокъ къ ней большую самодѣльную шутиху, — длинную картонную кишку, наполненную порохомъ, согнутую въ видѣ гармоніи и перевязанную крѣпко поперекъ шнуромъ. Онъ зажегъ ее, и шутиха долго съ трескомъ прыгала по столовой и по гостиной, наполняя комнату дымомъ и вонью. Любка почти не удивилась и сказала, что это просто фейерверкъ, что она это уже видѣла, и что ее этимъ не удивишь. Однако попросила позволенія открыть окно. Затѣмъ онъ принесъ большую склянку, свинцовой бумаги, канифоли и кошачій хвостъ, и такимъ образомъ устроилъ лейденскую банку. Разрядъ, хотя и слабый, но все-таки получился.

— Ну тебя къ нечистому, сатана! — закричала Любка, почувствовавъ сухой щелчокъ въ мизинцѣ.

Затѣмъ изъ нагрѣтой перекиси марганца, смѣшаннаго съ пескомъ, былъ добытъ, при помощи аптекарскаго пузырька, гуттаперчеваго конца отъ эсмарховой кружки, таза, наполненнаго водой, и банки изъ-подъ варенья — кислородъ. Разожженная пробка, уголь и фосфоръ горѣли въ банкѣ такъ ослѣпительно, что глазамъ становилось больно. Любка хлопала въ ладоши и визжала въ восторгѣ:

— Господинъ профессоръ, еще! Пожалуйста, еще, еще!..

Но когда, соединивъ въ принесенной пустой бутылкѣ

изъ-подъ шампанскаго водородъ съ кислородомъ и обмотавъ бутылъ для предосторожности полотенцемъ, Симановскій велѣлъ Любкѣ направить горлышко на горящую свѣчу, и когда раздался взрывъ, точно разомъ выпалили изъ четырехъ пушекъ, отъ котораго посыпалась штукатурка съ потолка, тогда Любка струсила и, только съ трудомъ оправившись, произнесла дрожащими губами, но съ достоинствомъ:

— Вы ужъ извините меня, пожалуйста, но такъ какъ у меня собственная квартира и теперь я вовсе не дѣвка, а порядочная женщина, то прошу больше у меня не безобразничать. Я думала, что вы, какъ умный и образованный человѣкъ, все чинно и благородно, а вы только глупостями занимаетесь. За это могутъ и въ тюрьму посадить.

Впослѣдствіи она рассказывала о томъ, что у нея былъ знакомый студентъ, который дѣлалъ при ней динамитъ.

Должно-быть, въ концѣ концовъ Симановскій, этотъ загадочный человѣкъ, такой вліятельный въ своей юношеской средѣ, гдѣ ему приходилось больше имѣть дѣло съ теоріей, и такой несуразный, когда ему попался практической опытъ надъ живой душой, былъ просто-напросто глупъ, но только умѣлъ искусно скрывать это единственное въ немъ искреннее качество.

Потерпѣвъ неудачу въ прикладныхъ наукахъ, онъ сразу перешелъ къ метафизикѣ. Однажды онъ очень самоувѣренно и такимъ тономъ, послѣ котораго не оставалось никакихъ возраженій, заявилъ Любкѣ, что Бога нѣтъ, и что онъ беретъ это доказать въ продолженіе пяти минутъ. Тогда Любка вскочила съ мѣста и сказала ему твердо, что она, хотя и бывшая проститутка, но вѣруетъ въ Бога и не позволитъ Его обижать въ своемъ присутствіи, и что если онъ будетъ продолжать такія глупости, то она пожалуется Василю Васильевичу.

— Я ему тоже скажу,—прибавила она плачущимъ голо-

сомъ,—что вы, вмѣсто того чтобы меня учить, только болтаете всякую чушь и тому подобную гадость, а сами все время держите руку у меня на колѣняхъ. А это даже: совсѣмъ неблагородно. — И въ первый разъ за все ихъ знакомство она, раньше робѣвшая и стѣснявшаяся, рѣзко отодвинулась отъ своего учителя.

Однако Симановскій, потерпѣвъ нѣсколько неудачъ, все-таки упрямо продолжалъ дѣйствовать на умъ и воображеніе Любки. Онъ пробовалъ ей объяснить теорію происхожденія видовъ, начиная отъ амебы и кончая Наполеономъ. Любка слушала его внимательно, и въ глазахъ ея при этомъ было умоляющее выраженіе: „Когда же ты перестанешь, наконецъ?“ Она зѣвала въ платокъ и потомъ виновато объясняла: „Извините, это у меня отъ нервовъ“. Карлъ Марксъ тоже не имѣлъ успѣха: товаръ, добавочная стоимость, фабрикантъ и рабочій, превратившіеся въ алгебраическія формулы, были для Любки лишь пустыми звуками, сотрясающими воздухъ, и она, очень искренняя въ душѣ, всегда съ радостью вскакивала съ мѣста, услышавъ, что, кажется, борщъ вскипѣлъ или самоваръ собирается убѣжать.

Нельзя сказать, чтобы Симановскій не имѣлъ успѣха у женщинъ. Его апломбъ, его вѣскій, рѣшительный тонъ всегда дѣйствовали на простыя души, въ особенности на свѣжія, наивно-довѣрчивыя души. Отъ длительныхъ связей онъ отдѣлывался всегда очень легко: либо на немъ лежало громадное отвѣтственное призваніе, передъ которымъ семейныя любовныя отношенія — ничто, либо онъ притворялся сверхчеловѣкомъ, которому все позволено (о, ты, Ницше, такъ давно и такъ позорно перетолкованный для гимназистовъ). Пассивное, почти незамѣтное, но твердо-уклончивое сопротивленіе Любки раздражало и волновало его. Именно раззадоривало его то, что она, прежде всѣмъ такая доступная, готовая отдать свою любовь въ одинъ

день нѣсколькимъ людямъ подь рядъ, каждому за два рубля, и вдругъ она теперь играетъ въ какую-то чистую и безкорыстную влюбленность.

„Ерунда, — думаль онъ. — Этого не можетъ быть. Она ломается, и, вѣроятно, я съ нею не нахожу настоящаго тона“.

И съ каждымъ днемъ онъ становился требовательнѣе, придирчивѣе и суровѣе. Онъ врядъ ли сознательно, вѣрнѣе, что по привычкѣ, полагался на свое всегдашнее вліяніе, устрашающее мысль и подавляющее волю, которое ему рѣдко измѣняло.

Однажды Любка пожаловалась на него Лихоницу.

— Ужъ очень онъ, Василій Васильевичъ, со мной строгій, и ничего я не понимаю, что онъ говорить, и я больше не хочу съ нимъ учиться.

Лихонинъ кое-какъ съ грѣхомъ пополамъ успокоилъ ее, но все-таки объяснился съ Симановскимъ. Тотъ ему отвѣтилъ хладнокрвно:

— Какъ хотите, дорогой мой, если вамъ или Любѣ не нравится мой методъ, то я готовъ и отказаться. Моя задача состоитъ лишь въ томъ, чтобы въ ея образованіе ввести настоящій элементъ дисциплины. Если она чего-нибудь не понимаетъ, то я заставлю ее зубрить наизусть. Со временемъ это прекратится. Это неизбѣжно. Вспомните, Лихонинъ, какъ намъ былъ труденъ переходъ отъ ариометики къ алгебрѣ, когда насъ заставляли замѣнять простые числа буквами, и мы не знали, для чего это дѣлается. Или для чего насъ учили грамматикѣ, вмѣсто того чтобы просто рекомендовать намъ самимъ писать повѣсти и стихи?

А на другой же день, склонившись низко подь висящимъ абажуромъ лампы надъ тѣломъ Любки, онъ говорилъ ей:

— Нарисуйте треугольникъ... Ну да, вотъ такъ и вотъ такъ. Вверху я пишу „Любовь“. Напишите просто букву Л, а внизу М и Ж. Это будетъ: Любовь женщины и мужчины.

Съ видомъ жреца, непоколебимымъ и суровымъ, онъ говорилъ всякую эротическую белиберду и почти неожиданно окончилъ:

— Итакъ, поглядите, Люба. Желаніе любить—это то же, что желаніе ѣсть, пить и дышать воздухомъ.—Онъ крѣпко сжималъ ея ногу гораздо выше колѣна, и она опять, конфузись и не желая его обидѣть, старалась едва замѣтно, постепенно отодвинуть ногу.

— Скажите, ну развѣ будетъ для вашей сестры, матери или для вашего мужа обидно, что вы случайно не пообѣдали дома, а зашли въ ресторанъ или кухмистерскую и тамъ насытили свой голодъ? Такъ и любовь. Не больше, не меньше. Физиологическое наслажденіе. Можетъ-быть, болѣе сильное, болѣе острое, чѣмъ всякія другія, но и только. Такъ, напримѣръ, сейчасъ: я хочу васъ, какъ женщину. А вы...

— Да бросьте, господинъ, — досадливо прервала его Любка. — Ну что все объ одномъ и томъ же. Заладила сорока Якова. Сказано вамъ: нѣтъ и нѣтъ. Развѣ я не вижу, къ чему вы подбираетесь? А только я на измѣну никогда не согласна, потому что какъ Василій Васильевичъ мой благодѣтель, и я ихъ обожаю всей душой, а вы мнѣ даже довольно противны съ вашими глупостями.

Однажды онъ причинилъ Любкѣ, и все изъ-за своихъ теоретическихъ началъ, большое и скандальное огорченіе. Такъ какъ въ университетѣ давно уже говорили о томъ, что Лихонинъ спасъ дѣвушку изъ такого-то дома и теперь занимается ея нравственнымъ возрожденіемъ, то этотъ слухъ, естественно, дошелъ и до учащихся дѣвушекъ, бывавшихъ въ студенческихъ кружкахъ. И вотъ не кто иной, какъ Симановскій, однажды привелъ къ Любкѣ двухъ медичекъ, одну историчку и одну начинающую поэтессу, которая кстати писала уже и критическія статьи. Онъ по-

знакомилъ ихъ самымъ серьезнымъ и самымъ дурацкимъ образомъ.

— Вотъ,—сказалъ онъ, протягивая руки то по направле-
нiю къ гостямъ, то къ Любкѣ,—вотъ, товарищи, познакомитесь. Вы, Люба, увидите въ нихъ настоящихъ друзей, которые помогутъ вамъ на вашемъ свѣтломъ пути, а вы, — товарищи Лиза, Надя, Саша и Рахиль, вы отнеситесь какъ старшiя сестры къ человѣку, который только-что выбился изъ того ужаснаго мрака, въ который ставитъ современную женщину социальный строй.

Онъ говорилъ, можетъ-быть, и не такъ, но, во всякомъ случаѣ, приблизительно въ этомъ родѣ. Любка краснѣла, протягивала барышнямъ въ цвѣтныхъ кофточкахъ и въ кожаныхъ кушакахъ руку, неуклюже сложенную всѣми пальцами вмѣстѣ, потчевала ихъ чаемъ съ вареньемъ, поспѣшно давала имъ закуривать, но, несмотря на всѣ приглашенiя, ни за что не хотѣла сѣсть. Она говорила: „Да-съ, нѣтъ-съ, какъ изволите“. И когда одна изъ барышень уронила на полъ платокъ, она кинулась торопливо поднимать его.

Одна изъ дѣвицъ, красная, толстая и басистая, у которой всего-на-все были въ лицѣ только пара красныхъ щекъ, изъ которыхъ смѣшно выглядывалъ палецъ на вздернутый носъ и поблескивала изъ глубины пара черныхъ изюминокъ-глазъ, все время разсматривала Любку съ ногъ до головы, точно сквозь воображаемый лорнетъ, води по ней ничего не говорящимъ, но презрительнымъ взглядомъ. „Да вѣдь я жъ никого у ней не отбивала“,—подумала виновато Любка. Но другая была настолько безтактна, что,—можетъ-быть, для нея въ первый разъ, а для Любки въ сотый,—начала разговоръ о томъ: какъ она попала на путь проституцiи? Это была барышня суетливая, блѣдная, очень хорошенькая, воздушная, вся въ свѣтлыхъ кудряжкахъ, съ видомъ избалованнаго котенка и даже съ розовымъ кошачьимъ бантикомъ на шеѣ.

— Но скажите, кто же былъ этотъ подлець... который первый... ну, вы понимаете?..

Въ умѣ Любки быстро мелькнули образы прежнихъ ея подругъ—Женьки и Тамары, такихъ гордыхъ, смѣлыхъ и находчивыхъ, — о, гораздо умнѣе, чѣмъ эти дѣвицы, — и она почти неожиданно для самой себя вдругъ сказала рѣзко:

— Ихъ много было. Я уже забыла. Колька, Митька, Володька, Сережка, Жоржикъ, Трошка, Петька, а еще Кузька да Гуська съ компаніей. А почему вамъ интересно?

— Да... нѣтъ... то-есть я, какъ человѣкъ, который вамъ вполне сочувствуетъ.

— А у васъ любовникъ есть?

— Простите, я не понимаю, чтò вы говорите. Господа, намъ пора идти.

— То-есть какъ это вы не понимаете? Вы когда-нибудь съ мужчиной спали?

— Товарищъ Симаповскій, я не предполагала, что вы насъ приведете къ такой особѣ. Благодарю васъ. Чрезвычайно мило съ вашей стороны!

Любкѣ было только трудно преодолѣть первый шагъ. Она была изъ тѣхъ натуръ, которыя долго терпятъ, но быстро срываются, и се, обыкновенно такую робкую, нельзя было узнать въ этотъ моментъ.

— А я знаю! — кричала она въ озлобленіи, — я знаю, что и вы такія же, какъ и я! Но у васъ папа, мама, вы обезпечены, а если вамъ нужно, такъ вы и ребенка вытравите—многія такъ дѣлаютъ. А будь вы на моемъ мѣстѣ,—когда жрать нечего, и дѣвчонка еще ничего не понимаетъ, потому что неграмотная, а кругомъ мужчины лѣзутъ какъ кобели, — то и вы бы были въ публичномъ домѣ. Стыдно такъ надъ бѣдной дѣвушкой изголиться,—вотъ чтò!

Попавшій въ бѣду Симаповскій сказалъ нѣсколько общихъ утѣшительныхъ словъ такимъ разсудительнымъ басомъ,

какимъ въ старинныхъ комедіяхъ говорили благородные отцы, и увелъ своихъ дамъ.

Но ему суждено было сыграть еще одну, очень постыдную, тяжелую и послѣднюю роль въ свободной жизни Любки. Она давно уже жаловалась Лихонину на то, что ей тяжело присутствіе Симановскаго, но Лихонинъ не обращалъ на женскіе пустяки вниманія: былъ силенъ въ немъ пустошный, выдуманый фразерскій гипнозъ этого челоуѣка повелѣній. Есть вліянія, отъ которыхъ освободиться трудно, почти невозможно. Съ другой стороны, онъ уже давно тяготился сожителствомъ съ Любкой. Часто онъ думалъ про себя: „Она заѣдаетъ мою жизнь, я пошлѣю, глупѣю, я растворился въ дурацкой добродѣтели; кончится тѣмъ, что я женюсь на ней, поступлю въ акцизъ, или въ пробирную палату, или въ педагоги, буду сплетничать и сдѣлаюсь провинціальнымъ гнуснымъ сморчкомъ. И гдѣ же мои мечты о власти ума, о красотѣ жизни, общечеловѣческой любви и подвигахъ?“ — говорилъ онъ иногда даже вслухъ и теребилъ свои волосы. И потому, вмѣсто того, чтобы внимательно разобрать въ жалобахъ Любки, онъ выходилъ изъ себя, кричалъ, топалъ ногами, и терпѣливая, кроткая Любка смолкала и удалялась въ кухню, чтобы тамъ выплакаться.

Теперь все чаще и чаще, послѣ семейныхъ ссоръ, въ минуты примиренія онъ говорилъ Любкѣ:

— Дорогая Люба, мы съ тобой не подходимъ другъ къ другу, пойми это. Смотри: вотъ тебѣ сто рублей, поѣзжай домой. Твои тебя примутъ, какъ свою. Поживи, осмотри. Я приѣду за тобой черезъ полгода, ты отдохнешь, и, конечно, все грязное, скверное, что привито тебѣ городомъ, отойдетъ, отомретъ. И ты начнешь новую жизнь самостоятельно, безъ всякой поддержки, одинокая и гордая!

Но развѣ сдѣлаешь что-нибудь съ женщиной, которая полюбила въ первый и, конечно, въ послѣдній разъ? Развѣ

ее убѣдишь въ необходимости разлуки? Развѣ для нея существуетъ логика?

Благоговѣя всегда передъ твердостью словъ и рѣшеній Симановскаго, Лихонинъ однако догадывался и чутьемъ понималъ истинное его отношеніе къ Любкѣ, и въ своемъ желаніи освободиться, стряхнуть съ себя случайный и непосильный грузъ, онъ ловилъ себя на гадепкой мысли: „Она нравится Симановскому, а ей развѣ не все равно, онъ, или я, или третій? Объяснюсь-ка я съ нимъ на чистоту и уступлю ему Любку по-товарищески. Но вѣдь не пойдетъ дура, визгъ подыметъ“.

Или „хоть бы застать ихъ какъ-нибудь вдвоемъ,—думалъ онъ дальше,—въ какой-нибудь рѣшительной позѣ... поднять крикъ, сдѣлать скандалъ... Благородный жестъ... немного денегъ и... убѣжать“.

Онъ теперь часто по нѣсколькимъ днямъ не возвращался домой и потомъ, придя, переживалъ мучительные часы женскихъ допросовъ, сценъ, слезъ, даже истерическихъ припадковъ. Любка иногда тайкомъ слѣдила за нимъ, когда онъ уходилъ изъ дома, останавливалась противъ того подъѣзда, куда онъ входилъ, и часами дожидалась его возвращенія для того, чтобы упрекать его и плакать на улицѣ. Не умѣя читать, она перехватывала его письма и, не рѣшаясь обратиться къ помощи князя или Соловьева, копила ихъ у себя въ шкапчикѣ вмѣстѣ съ сахаромъ, чаемъ, лимономъ и всякой другой дрянью. Она уже дошла до того, что въ сердитыя минуты угрожала ему сѣрной кислотой.

„Чортъ бы ее побралъ,—размышлялъ Лихонинъ въ минуты „коварныхъ плановъ“.—Все равно: пусть даже между ними ничего нѣтъ. А все-таки возьму и сдѣлаю страшную сцену ему и ей“.

И онъ декламировалъ про себя

„Ахъ, такъ!.. Я тебя пригрѣлъ на своей груди, и что же я вижу? Ты платишь мнѣ черной неблагодарностью...“

А ты, мой лучшей товарищъ, ты посягнулъ на мое единственное счастье... О, нѣтъ, нѣтъ, оставайтесь вдвоемъ, я уйду со слезами на глазахъ. Я вижу, что я лишній между вами! Я не хочу препятствовать вашей любви“, и т. д., и т. д.

И вотъ именно эти мечты, затаенные плапы, такіе мгновенные, случайные и въ сущности подлые,—изъ тѣхъ, въ которыхъ люди потомъ самимъ себѣ не признаются,—вдругъ исполнились. Былъ очередной урокъ Соловьева. Къ его большому счастью, Любка наконецъ-таки прочитала почти безъ запинки: „Хороша соха у Михея, хороша и у Сысоя... ласточка... качели... дѣти любятъ Бога...“ И въ награду за это Соловьевъ прочиталъ ей вслухъ „О кунцѣ Калашниковѣ и опричникѣ Кирибѣевичѣ“. Любка отъ восторга скакала въ креслѣ, хлопала въ ладони. Ее всю захватила красота этого монументальнаго, героическаго произведенія. Но ей не пришлось высказать полностью своихъ впечатлѣній. Соловьевъ торопился на дѣловое свиданіе. И тотчасъ же навстрѣчу Соловьеву, едва обмѣнявшись съ нимъ въ дверяхъ привѣтствіемъ, пришелъ Симановскій. У Любки печально вытянулось лицо и надулись губы. Ужъ очень противенъ сталъ ей за послѣднее время этотъ педантичный учитель и грубый самецъ.

На этотъ разъ онъ началъ лекцію на тему о томъ, что для человѣка не существуетъ ни законовъ, ни правъ, ни обязанностей, ни чести, ни подлости, и что человѣкъ есть величина самодовлѣющая, ни отъ кого и ни отъ чего независимая.

Онъ ужъ хотѣлъ перейти къ теоріи любовныхъ чувствъ, но, къ сожалѣнію, отъ нетерпѣнія поспѣшилъ немного: онъ обнялъ Любку, притянулъ къ себѣ и началъ ее грубо тискать. „Она опьянѣетъ отъ ласки. Сдастся!“ — думалъ расчетливый Симановскій. Онъ добивался прикоснуться губами къ ея рту для поцѣлуя, но она кричала и фыр-

кала въ него слюнями. Вся наигранная деликатность оставила ее.

— Убирайся, чортъ паршивый, дуракъ, свинья! Симановскій! я тебѣ морду разобью!..

Къ ней вернулся весь лексиконъ заведенія, но Симановскій, потерявъ пенснэ, съ перекопленнымъ лицомъ глядѣлъ на нее мутными глазами и городилъ чтò попало:

— Дорогая моя, все равно, секунда наслажденія, мы сольемся съ тобою въ блаженствѣ!.. Никто не узнаеть!.. Будь моею!..

Какъ разъ въ эту минуту и вошелъ въ комнату Лихонинъ.

Конечно, въ душѣ онъ самъ себѣ не сознавался въ томъ, что сію минуту сдѣлаетъ гадость, онъ только какъ-то сбоку, издали, подумаль о томъ, что его лицо блѣдно и что его слова сейчасъ будутъ трагичны и многозначительны.

— Да!—сказаль онъ глухо, точно актеръ въ четвертомъ дѣйствіи драмы, и, опустивъ безсильно руки, закачалъ упавшимъ на грудь подбородкомъ. — Я всего ожидалъ, только не этого. Тебѣ я извиняю, Люба, — ты пещерный человѣкъ, но вы, Симановскій... Я считаль васъ... впрочемъ, и до сихъ поръ считаю за порядочнаго человѣка, но я знаю, что страсть бываетъ иногда сильнѣе доводовъ разсудка. Вотъ здѣсь есть пятьдесятъ рублей, я ихъ оставляю для Любы, вы мнѣ, конечно, вернете потомъ, я въ этомъ не сомнѣваюсь. Устройте ея судьбу... Вы умный, добрый, честный человѣкъ, а я.. („подлецъ!“ — мелькнулъ у него въ головѣ чей-то явственный голосъ) ...я ухожу, потому что не выдержу больше этой муки. Будьте счастливы.

Онъ выхватилъ изъ кармана и эффектно бросилъ свой бумажникъ на столъ, потомъ схватился за волосы и выбѣжалъ изъ комнаты.

Это былъ все-таки для него наилучшій выходъ. И сцена разыгралась именно такъ, какъ онъ о ней мечталъ.

XVIII.

Все это очень длинно и сбивчиво рассказала Любка, рыдая на Женькиномъ плечѣ. Конечно, у нея трагикомическая исторія выходила въ ея личномъ освѣщеніи совсѣмъ не такъ, какъ это было на самомъ дѣлѣ.

Лихонинъ, по ея словамъ, взялъ ее къ себѣ только для того, чтобы увлечь, соблазнить, попользоваться, сколько хватить, ея глупостью, а потомъ бросить. А она, дура, сдѣлалась и взаправду въ него влюбилась, а такъ какъ она его очень ревновала ко всѣмъ этимъ кудлатымъ въ кожаныхъ поясахъ, то онъ и сдѣлалъ подлость: нарочно подослалъ своего товарища, сговорился съ нимъ, а тотъ началъ обнимать Любку, а Васька вошелъ, увидѣлъ и сдѣлалъ большой скандалъ и выгналъ Любку на улицу.

Конечно, въ ея передачѣ были почти равныя двѣ части правды и неправды, но такъ, по крайней мѣрѣ, все ей представлялось.

Рассказала она также съ большими подробностями и о томъ, какъ, очутившись внезапно безъ мужской поддержки или вообще безъ чьего бы то ни было крѣпкаго посторонняго вліянія, она наняла комнату въ плохонькой гостиницѣ, въ захолустной улицѣ, какъ съ перваго же дня коридорный, обстрѣлянная птица, тертый калачъ, покушался ею торговать, даже не спрося на это ея разрѣшенія, какъ она переѣхала изъ гостиницы на частную квартиру, но и тамъ ее настигла опытная старуха-сводня, которыми кишатъ дома, обитаемые бѣднотой.

Значитъ, даже и при спокойной жизни было въ лицѣ, въ разговорѣ и во всей манерѣ Любки что-то особенное, специфическое, для ненаметаннаго глаза, можетъ-быть, и совсѣмъ незаметное, но для дѣловаго чутья ясное и неопровержимое, какъ день.

Но случайная короткая искренняя любовь дала ей силу, которой она сама отъ себя не ожидала, силу сопротивленія неизбѣжности вторичнаго паденія. Въ своемъ героическомъ мужествѣ она дошла до того, что сдѣлала даже нѣсколько публикацій въ газетахъ о томъ, что ищетъ мѣста горничной за все. Однако у нея не было никакой рекомендаціи. Къ тому же ей приходилось при наймѣ имѣть дѣло исключительно съ женщинами, а тѣ тоже какимъ-то внутреннимъ безошибочнымъ инстинктомъ угадывали въ ней стариннаго врага — совратительницу ихъ мужей, братьевъ, отцовъ и сыновей.

Домой ѣхать ей не было ни смысла ни расчета. Ея родной Васильковскій уѣздъ отстоитъ всего въ 15-ти верстахъ отъ губернскаго города, и молва о томъ, что она поступила въ такое заведеніе, уже давно проникла черезъ земляковъ въ деревню. Объ этомъ писали въ письмахъ и передавали устно тѣ деревенскіе сосѣди, которымъ случалось ее видѣть и на улицѣ и у самой Анны Марковны, — швейцары и номерные гостиницы, лакеи маленькихъ ресторановъ, извозчики, мелкіе подрядчики. Она знала, чѣмъ пахла бы эта слава, если бы она вернулась въ родныя мѣста. Лучше было бы повѣситься, чѣмъ это переносить.

Она была нерасчетлива и непрактична въ денежныхъ дѣлахъ, какъ пятилѣтній ребенокъ, и въ скоромъ времени осталась безъ копейки, а возвращаться назадъ въ публичный домъ было страшно и позорно. Но соблазны уличной проституціи сами собой подвергались и на каждомъ шагу лѣзли въ руки. По вечерамъ, на главной улицѣ, ея прежнюю профессію сразу безошибочно угадывали старыя закоренѣлыя уличныя проститутки. То и дѣло одна изъ нихъ, поровнявшись съ нею, начинала сладкимъ заискивающимъ голосомъ:

— Чтò это вы, дѣвица, ходите однѣ? Давайте будемъ подружками; давайте ходить вмѣстѣ. Это всегда удобнѣе.

Которые мужчины хотят провести приятно время съ дѣвушками, всегда любятъ, чтобы завести компанію вчетверомъ.

И тутъ же опытная, искусившаяся вербовщица сначала вскользь, а потомъ уезъ горячо, отъ всего сердца, начинала расхваливать всѣ удобства житья у своей хозяйки—вкусную пищу, полную свободу выхода, возможность всегда скрыть отъ хозяйки квартиры излишекъ сверхъ положенной платы. Тутъ же кстати говорилось много злого и обиднаго по поводу женщинъ закрытыхъ домовъ, которыхъ называли „продажными шкурами“, „горняшками“. Любка знала цѣну этимъ насмѣшкамъ, потому что въ свою очередь жилицы публичныхъ домовъ тоже съ величайшимъ презрѣніемъ относятся къ уличнымъ проституткамъ, обзывая ихъ „босивками“ и „венеричками“.

Понятно, въ концѣ концовъ случилось то, что должно было случиться. Видя въ перспективѣ цѣлый рядъ голодныхъ дней, а въ глубинѣ ихъ—темный ужасъ неизвѣстнаго будущаго, Любка согласилась на очень учтивое приглашеніе какого-то приличнаго маленькаго старичка, важнаго, сѣденькаго, хорошо одѣтаго и корректнаго. За этотъ позоръ Любка получила рубль, но не смѣла протестовать: прежняя жизнь въ домѣ совсѣмъ вытравила въ ней личную инициативу, подвижность и энергію. Потомъ нѣсколько разъ подъ-рядъ онъ и совсѣмъ ничего не заплатилъ.

Одинъ молодой человекъ, развязный и красивый, въ фуражкѣ съ приплюснутыми полями, лихо надѣтой набекрень, въ шелковой рубашкѣ, опоясанной шнуркомъ съ кисточками, тоже повелъ ее съ собой въ номера, спросилъ вина и закуску, долго вралъ Любкѣ о томъ, что онъ побочный сынъ графа и что онъ первый бильярдистъ во всемъ городѣ, что его любятъ всѣ дѣвки и что онъ изъ Любки тоже сдѣлаетъ фартовую маруху. Потомъ онъ вышелъ изъ номера на минутку, какъ бы по своимъ дѣламъ, и исчезъ навсегда. Суровый косоглазый швейцаръ довольно

долго молча, съ дѣловымъ видомъ, сопя и прикрывая Любкинъ ротъ рукой, колотилъ ее. Но наконецъ, убѣдишись, должно-быть, что вина не ея, а гостя, отнялъ у нея кошелекъ, въ которомъ было рубль съ мелочью, и взялъ подъ залогъ ея дешевенькую шляпку и верхнюю кофточку.

Другой, очень недурно одѣтый мужчина лѣтъ 45-ти, промучивъ дѣвушку часа два, заплатилъ за номеръ и далъ ей 80 копеекъ; когда же она стала жаловаться, онъ первымъ дѣломъ приставилъ къ самому ея лицу огромный рыжеволосый кулакъ и сказалъ рѣшительно:

— Поскули у меня еще... Я тебѣ поскулю... Вотъ вскричу сейчасъ полицію и скажу, что ты меня обокрала, когда я спалъ. Хочешь? Давно въ части не была?

И ушелъ.

И такихъ случаевъ было много.

Въ тотъ день, когда ея квартирныя хозяева—лодочникъ съ женой—отказали ей въ комнатѣ и просто-напросто выкинули ея вещи на дворъ, и когда она безъ сна пробродила всю ночь по улицамъ, подъ дождемъ, причась отъ городовыхъ, тогда съ отвращеніемъ и стыдомъ рѣшилась она обратиться къ помощи Лихонина. Но Лихонина уже не было въ городѣ, — онъ малодушно уѣхалъ въ тотъ же день, когда несправедливо обиженная и опозоренная Любка убѣжала съ квартиры. И вотъ тогда-то ей и пришла въ голову отчаянная мысль возвратиться въ публичный домъ и попросить тамъ прощенія.

— Женечка, вы такая умная, такая смѣлая, такая добрая, попросите за меня Эмму Эдуардовну—экономочка васъ послушаетъ, — умоляла она Женьку и цѣловала ея голыя плечи и мочила ихъ слезами.

— Никого она не послушаетъ, — мрачно отвѣтила Женька.—И надо тебѣ было увязаться за такимъ дуракомъ и подлецомъ.

— Женечка, вѣдь вы же сами мнѣ посовѣтовали, — робко возразила Любка.

— Посовѣтовала... Ничего я тебѣ же совѣтовала. Что ты прешь на меня какъ на мертвую... Ну да ладно—пойдемъ.

Эмма Эдуардовна уже давно знала о возвращеніи Любки и даже видѣла ее въ тотъ моментъ, когда она проходила, озираясь, черезъ дворъ дома. Въ душѣ она вовсе не была противъ того, чтобы принять обратно Любку. Надо сказать, что и отпустила она ее только потому, что соблазнилась деньгами, изъ которыхъ половину присвоила себѣ. Да къ тому же рассчитывала, что при теперешнемъ сезонномъ наплывѣ новыхъ проституткокъ у нея будетъ большой выборъ, въ чемъ, однако, она ошиблась, потому что сезонъ круто прекратился. Но во всякомъ случаѣ она твердо рѣшила взять Любку. Только надо было для сохраненія и округленія престижа какъ слѣдуетъ напугать ее.

— Что-о?—заорала она на Любку, едва выслушавъ ея смущенный лепетъ.—Ты хочешь, чтобы тебя опять приняли?.. Ты тамъ чортъ знаетъ съ кѣмъ валялась по улицамъ, подъ заборами, и ты опять, сволочь, лѣзешь въ приличное, порядочное заведеніе... Вонъ!..

Любка ловила ея руки, стремясь поцѣловать, но экономка грубо ихъ выдергивала. Потомъ, вдругъ поблѣднѣвъ, съ перекошеннымъ лицомъ, закусивъ наискось дрожащую нижнюю губу, Эмма расчетливо и мѣтко, со всего размаха ударила Любку по щекѣ, отчего та опустилась на колѣни, но тотчасъ же поднялась, задыхаясь и заикаясь отъ рыданій.

— Миленькая, не бейте... Дорогая же вы мои, не бейте...

И опять упала, на этотъ разъ плашмя на полъ.

И это систематическое, хладнокровное, злобное избіеніе продолжалось минуты двѣ. Женька, смотрѣвшая сначала молча, со своимъ обычнымъ злымъ, презрительнымъ видомъ, вдругъ не выдержала: дико завизжала, кинулась на эконо-

ножку, вцѣпилась ей въ волосы, сорвала шиньонъ и заголосила въ настоящемъ истерическомъ припадкѣ:

— Дура!.. Убійца!.. Подлая сводница!.. Веревка!..

Всѣ три женщины голосили вмѣстѣ, и тотчасъ же ожесточенные вопли раздались по всѣмъ коридорамъ и каморкамъ заведенія. Это былъ тотъ общій припадокъ великой истеріи, который овладѣваетъ иногда заключенными въ тюрьмахъ, или то стихійное безуміе (raptus), которое охватываетъ внезапно и повально весь сумасшедшій домъ, отчего блѣднѣютъ даже опытные психіатры.

Только спустя часъ порядокъ былъ водворенъ Симеономъ и пришедшими къ нему на помощь двумя товарищами по профессіи. Крѣпко досталось всѣмъ тринадцати дѣвушкамъ, а больше другихъ Женкѣ, пришедшей въ настоящее изступленіе. Избитая Любка до тѣхъ поръ пресмыкалась передъ экономкой, покамѣстъ ее не приняли обратно. Она знала, что Женкинъ скандалъ рано или поздно отзовется на ней жестокой оплатой. Женка же до самой ночи сидѣла, скрестивъ по-турецки ноги, на своей постели, отказалась отъ обѣда и выгоняла вонъ всѣхъ подругъ, которые заходили къ ней. Глазъ у нея былъ ушибленъ, и она прикладывала къ нему усердно мѣдный пятакъ, изъ-подъ разорванной сорочки краснѣла на шеѣ длинная поперечная царапина, точно слѣдъ отъ веревки. Это содралъ ей кожу въ борьбѣ Симеонъ. Она сидѣла такъ одна, съ глазами, которые свѣтились въ темнотѣ, какъ у дикаго звѣря, съ раздутыми ноздрями, съ судорожно двигавшимися скулами, и шептала злобно:

— Подождите же... Пойдите, проклятые — я вамъ покажу... Вы еще увидите... У-у, людоѣды...

Но—когда зажгли огни и младшая экономка, Зоя, постучала ей въ дверь со словами: „Барышня, одѣваться!.. Въ залу!“—она быстро умылась, одѣлась, пригудрила синякъ, замазала царапину кремомъ Симонъ и вышла въ залу,

жалкая, но гордая, избитая, но съ глазами, горѣвшими нестерпимымъ озлобленіемъ и пчеловѣческой красотой.

Многіе люди, которымъ приходилось видѣть самоубійцу за нѣсколько часовъ до ихъ ужасной смерти, рассказываютъ, что въ ихъ обликѣ въ эти роковые предсмертные часы они замѣчали какую-то загадочную, таинственную, непостижимую прелесть. И всѣ, кто видѣли Женьку въ эту ночь и на другой день въ немногіе часы, подолгу, пристально и удивленно останавливались на ней взглядомъ.

И всего страннѣе (это была одна изъ мрачныхъ прѣлокъ судьбы), что косвеннымъ виновникомъ ея смерти, послѣдней песчинкой, которая перетягиваетъ внизъ чашу вѣсовъ, явился не кто иной, какъ милый, добрѣйшій гимназистъ Коля Гладышевъ...

XIX.

Коля Гладышевъ былъ славный, веселый, застѣпчивый парнишка, большеголовый, румяный, съ бѣлой, смѣшной, изогнутой, точно молочной полоской на верхней губѣ, подъ первымъ пробившимся пушкомъ усовъ, съ широко разставленными сѣрыми наивными глазами и такой стриженный, что изъ-подъ его бѣлокурой щетинки, какъ у породистаго іоркширскаго поросенка, просвѣчивала кожа. Это именно съ нимъ прошлой зимой играла Женька не то въ материнскія отношенія, не то какъ въ куклы, и совала ему яблочко или пару конфетокъ на дорогу, когда онъ уходилъ изъ дома терпимости, корчась отъ стыда.

Въ этотъ разъ, когда онъ пришелъ, въ немъ сразу чувствовалась та быстрая перемѣна возраста, которая часто такъ неуловимо и быстро превращаетъ мальчика въ юношу. Онъ уже окончилъ гимназію и съ гордостью считалъ себя взрослымъ. Онъ выросъ, сталъ стройнѣе и ловче; свободная жизнь пошла ему въ пользу. Говорилъ онъ басомъ. Теперь для него было время ободстительной сво-

боды. Дома ему разрѣшили официально, при взрослыхъ, курить, и даже самъ отецъ подарилъ ему кожаный портсигаръ съ его монограммой, а также, въ подъемъ семейной радости, опредѣлилъ ему 15 рублей мѣсячнаго жалованья.

Именно здѣсь—у Анны Марковны—онъ и узналъ впервые женщину, ту же Женьку.

Паденіе невинныхъ душъ въ домахъ терпимости или уличныхъ одиночекъ совершается гораздо чаще, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Когда объ этомъ щекотливомъ дѣлѣ спрашиваютъ не только зеленыхъ юношей, но даже и почтенныхъ 50-ти-лѣтнихъ мужчинъ, почти дѣдушекъ, они вамъ навѣрное скажутъ древнюю трафаретную ложь о томъ, какъ ихъ соблазнила горничная или гувернантка. Но это одна изъ тѣхъ длительныхъ, идущихъ назадъ въ глубину прошедшихъ десятилѣтій странныхъ лжей, которыя почти не подмѣчены ни однимъ изъ профессиональныхъ наблюдателей и во всякомъ случаѣ никѣмъ не описаны.

Если каждый изъ насъ попробуетъ положить, выражаясь пышно, руку на сердце и смѣло дать себѣ отчетъ въ прошломъ, то всякій поймаетъ себя на томъ, что однажды въ дѣтствѣ, сказавъ какую-нибудь хвастливую или трогательную выдумку, которая имѣла успѣхъ, и повторивъ ее по этому еще два и пять и десять разъ, онъ потомъ не можетъ отъ нея избавиться во всю свою жизнь и повторяетъ со всѣмъ уже твердо никогда не существовавшую исторію, твердо до того, что въ концѣ концовъ вѣрится въ нее. Со временемъ и Коля рассказывалъ своимъ товарищамъ о томъ, что его соблазнила его двоюродная тетка—свѣтская молодая дама. Надо, однако, сказать, что интимная близость къ этой дамѣ, большой, черноглазой, бѣлолицей, сладко пахнувшей южной женщиной дѣйствительно существовала, но существовала только въ Колиномъ воображеніи.

Коля не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о томъ, что такое

представляет собою тотъ конецъ влюбленности и ухаживанія, который такъ ужасенъ, если на него поглядѣть въявь со стороны или если его объяснять научно. Къ несчастью, около него въ то время не было ни одной изъ теперешнихъ прогрессивныхъ и ученыхъ дамъ, которыя, отвернувъ шею классическому аисту и вырвавъ съ корнемъ капусту, подъ которой находятъ дѣтей, рекомендуютъ въ лекціяхъ, въ сравненіяхъ и унобленіяхъ безпощадно и даже чуть ли не графическимъ порядкомъ объяснять дѣтямъ великую тайну любви и зарожденія.

Надо сказать, что въ то отдаленное время, о которомъ идетъ рѣчь, закрытыя заведенія—мужскіе пансіоны и мужскіе институты, а также кадетскіе корпуса—представляли собою какіе-то тепличные разсадники. Попеченіе объ умѣ и нравственности мальчугановъ старались по возможности ввѣрять воспитателямъ, чиновникамъ-формалистамъ, и вдобавокъ нетерпѣливымъ, вздорнымъ, капризнымъ въ своихъ симпатіяхъ и истеричнымъ, точно старыя дѣвы, классныя дамы. Теперь иначе. Но въ то время мальчики были предоставлены самимъ себѣ. Едва оторвавшіеся, говоря фигурально, отъ материнской груди, отъ ухода преданныхъ нянекъ, отъ утреннихъ и вечернихъ ласкъ, тихихъ и сладкихъ, они хотя и стыдились всякаго проявленія нѣжности, какъ „бабства“, но ихъ неудержимо и сладостно влекло къ поцѣлуямъ, прикосновеніямъ, бесѣдамъ на ушко.

Конечно, внимательное, заботливое купанье, отношеніе, упражненія на свѣжемъ воздухѣ,—именно не гимнастика, а вольныя упражненія, каждому по своей охоткѣ,—всегда могли бы отдалить приходъ этого климактерическаго періода или смягчить и образумить его.

Повторяю, тогда этого не было.

Жажда семейной ласки, материнской, сестриной, нянькиной ласки, такъ грубо и внезапно оборванной, обратилась въ уродливыя формы ухаживанія, точь въ точь какъ въ

женскихъ институтахъ „обожанія“, за хорошенькими мальчишками, за „мазочками“; любили шептаться по угламъ и, ходя подъ-ручку или обнявшись въ темныхъ коридорахъ, говорить другъ другу на ухо несбыточные исторіи о приключеніяхъ съ женщинами. Это была отчасти и потребность дѣтства въ сказочномъ, а отчасти и просыпавшаяся чувственность. Нерѣдко какой-нибудь пятнадцатилѣтній пузырь, которому только впору играть въ лапту или уписывать жадно гречневую кашу съ молокомъ, рассказывалъ, начитавшись, конечно, кой-какихъ романишекъ, о томъ, что теперь каждую субботу, когда отпускъ, онъ ходитъ къ одной красивой вдовѣ, миллионершѣ, и о томъ, какъ она страстно въ него влюблена, и какъ около ихъ ложа всегда стоятъ фрукты и драгоценное вино, и какъ она любитъ его неистово и страстно.

Тутъ кстати подоспѣла и неизбѣжная полоса затыжного запойнаго чтенія, черезъ которую, конечно, проходили каждый мальчикъ и каждая дѣвочка. Какъ бы ни былъ строгъ въ этомъ отношеніи классный надзоръ, все равно юнцы читали, читаютъ и будутъ читать именно то, что имъ не позволено. Здѣсь есть особенный азартъ, шикъ, прелесть запретнаго. Уже въ третьемъ классѣ ходили по рукамъ рукописные списки Баркова, подложнаго Пушкина, юношескіе грѣхи Лермонтова и другихъ: „Первая ночь“, „Вишни“, „Лука“, „Петергофскій праздникъ“, „Уланша“, „Горе отъ ума“, „Поць“ и т. д.

Но, какъ это ни можетъ показаться страннымъ, выдуманнымъ или парадоксальнымъ, однако и эти сочиненія, и рисунки, и похабныя фотографическія карточки не возбуждали сладостнаго любопытства. На нихъ глядѣли, какъ на проказу, на шалость и на прелесть контрабанднаго риска. Въ библиотекѣ были дѣломудренныя выдержки изъ Пушкина и Лермонтова, весь Островскій, который только смѣшилъ, и почти весь Тургеневъ, который и сыгралъ въ жизни Коли главную и жестокую роль. Какъ из-

вѣстно, у покойнаго великаго Тургенева любовь всегда окружена дразнящей завѣсой, какой-то дымкой, — неувимой, запретной, но соблазнительной: дѣвушки у него предчувствуютъ любовь и волнуются отъ ея приближенія, и стыдятся свѣше мѣры, и дрожатъ, и краснѣютъ. Замужнія женщины или вдовы совершаютъ этотъ мучительный путь нѣсколько иначе: онѣ долго борются съ долгомъ, или съ порядочностью, или съ мнѣніемъ свѣта, и наконецъ — ахъ! — падаютъ со слезами, или — ахъ! — начинаютъ бравировать, или, что еще чаще, неумолимый рокъ прерываетъ ея или его жизнь въ самый — ахъ! — нужный моментъ, когда созрѣвшему плоду недостаетъ только легкаго дуновения вѣтра, чтобы упасть. И всѣ его персонажи все-таки жаждутъ этой постыдной любви, свѣтло плачутъ и радостно смѣются отъ нея, и она заслоняетъ для нихъ весь міръ. Но такъ какъ мальчики думаютъ совершенно иначе, чѣмъ мы, взрослые, и такъ какъ все запретное, все недосказанное или сказанное по секрету имѣетъ въ ихъ глазахъ громадный, не только сугубый, но трегубый интересъ, то естественно, что изъ чтенія они выводили смутную мысль, что взрослые что-то скрываютъ отъ нихъ.

Да и то надо сказать, развѣ Коля, какъ современно и большинство его сверстниковъ, не видалъ, какъ горничная Фрося, такая краснощекая, вѣчно веселая, съ ногами твердой стали (онъ иногда, развозившись, хлопалъ ее по спинѣ), какъ она однажды, когда Коля случайно быстро вошелъ въ папінъ кабинетъ, прыснула оттуда во весь духъ, закрывъ лицо передникомъ, и развѣ онъ не видалъ, что въ это время у папы было лицо красное, съ сизымъ, какъ бы удлинившимся носомъ, и Коля подумалъ: „папа похожъ на индюка“. Развѣ у того же папы Коля, отчасти по свойственной всѣмъ мальчикамъ проказливости и озорству, отчасти отъ скуки, не открылъ случайно въ незапертомъ ящикѣ папинаго письменнаго стола громадную коллекцію карточекъ, гдѣ было предста-

влено во всевозможныхъ и даже иногда совсѣмъ невозможныхъ положеніяхъ именно то, что приказчики называютъ увѣччаніемъ любви, а свѣтскіе оболтусы—неземною страстью. И развѣ онъ не видѣлъ, что каждый разъ передъ визитомъ благоухающаго и накрахмаленнаго Павла Эдуардовича, какого-то балбеса при какомъ-то посольствѣ, съ которымъ мама, въ подражаніе моднымъ петербургскимъ прогулкамъ на Стрѣлку, ѣздила на Днѣпръ глядѣть на то, какъ закатывается солнце на другой сторонѣ рѣки, въ Черниговской губерніи,—развѣ онъ не видѣлъ, какъ ходила мамина грудь и какъ рдѣли ея щеки подъ пудрой, развѣ онъ не улавливалъ въ эти моменты много новаго и страннаго, развѣ онъ не слышалъ ея голосъ, совсѣмъ чужой голосъ, какъ бы актерскій, нервно прерывающійся, безпощадно-злой къ семейнымъ и прислугѣ и вдругъ вѣжливый, какъ бархатъ, какъ зеленый лугъ подъ солнцемъ, когда приходилъ Павелъ Эдуардовичъ. Ахъ, если бы мы, люди, умудренные опытомъ, знали о томъ, какъ много и даже черезчуръ много знаютъ окружающіе насъ мальчуганы и дѣвчонки, о которыхъ мы обыкновенно говоримъ:

— Ну, что стѣсняться Володи (или Пети, или Кати)?.. Вѣдь они маленькіе. Они ничего не понимаютъ!..

Также не напрасно прошла для Гладышева и исторія его старшаго брата, который только-что выпелъ изъ военнаго училища въ одинъ изъ видныхъ гренадерскихъ полковъ и, находясь въ отпуску до той поры, когда ему можно будетъ расправить крылья, жилъ въ двухъ отдѣльныхъ комнатахъ въ своей семьѣ. Въ то время у нихъ служила горничная Нюша, которую иногда шутя называли синьорита Анита, прелестная бѣловолосая дѣвушка, которую, если бы перемѣнять на ней костюмы, можно было бы по наружности принять и за драматическую актрису, и за принцессу крови, и за политическую дѣятельницу. Мать Коли явно покровительствовала тому, что Колинъ братъ полушутя, полусерьезно увлекался этой дѣвушкой. Конечно, у нея былъ одинъ только святой материнскій

расчетъ: если уже суждено Боренькѣ пасть, то пускай онъ отдастъ свою чистоту, свою невинность, свое первое физическое влеченіе не проституткѣ, не потаскушкѣ, не искательницѣ приключеній, а чистой дѣвушкѣ. Конечно, ею руководило только безкорыстное, безразсудное, истинно-материнское чувство. Коля въ то время переживалъ эпоху льяносовъ, пампасовъ, апачей, слѣдопытовъ и вождя по имени „Черная Пантера“ и, конечно, внимательно слѣдилъ за романомъ брата и дѣлалъ свои, иногда черезчуръ вѣрныя, иногда фантастическія умозаключенія. Черезъ шесть мѣсяцевъ онъ изъ-за двери былъ свидѣтелемъ, вѣрнѣе, слушателемъ возмутительной сцены. Генеральша, всегда такая приличная и сдержанная, кричала въ своемъ будуарѣ на синьориту Аниту, топала ногами и ругалась извозчичьими словами: синьорита была беременна на пятомъ мѣсяцѣ. Если бы она не плакала, то, вѣроятно, ей просто дали бы отступного, и она ушла бы благополучно; но она была влюблена въ молодого паныча, ничего не требовала, а только голосила, и потому ее удалили при помощи полиціи.

Въ классѣ пятомъ-шестомъ многіе изъ товарищей Коли уже вкусили отъ древа познанія зла. Въ эту пору у нихъ считалось особеннымъ хвастливымъ мужскимъ шикомъ называть всѣ сокровенныя вещи своими именами. Аркаша Шкаринъ заболѣлъ не опасной, но все-таки венерической болѣзью, и онъ сталъ на цѣлыхъ три мѣсяца предметомъ поклоненія всего старшаго возраста. Многіе же посѣщали публичные дома и, право, о своихъ кутежахъ они рассказывали гораздо красивѣе и шире, чѣмъ гусары временъ Дениса Давыдова. Эти дебоши считались ими послѣдней точкой молодечества и шика.

И вотъ однажды не то что уговорили Гладышева, а, вѣрнѣе, онъ самъ запросился поѣхать къ Аннѣ Марковнѣ: такъ слабо онъ сопротивлялся соблазну. Этотъ вечеръ онъ вспоминалъ всегда съ ужасомъ, съ отвращеніемъ и смутно,

точно какой-то пьяный сонъ. Съ трудомъ вспоминалъ онъ, какъ для храбрости пилъ онъ на извозчикѣ отвратительно пахнувшій настоящими постельными клопами ромъ, какъ его мучило отъ этого пойла, какъ онъ вошелъ въ большую залу, гдѣ огненными колесами вертѣлись огни люстръ и канделябръ на стѣнахъ, гдѣ фантастическими розовыми, синими, фіолетовыми пятнами двигались женщины и ослѣпительно-принымъ побѣднымъ блескомъ сверкала бѣлизна шей, груди и рукъ. Кто-то изъ товарищей прошепталъ одной изъ этихъ фантастическихъ фигуръ что-то на ухо. Она подбѣжала къ Колѣ и сказала:

— Послушайте, хорошенькій, товарищи вотъ говорятъ, что вы еще невинный... Идемъ... Я тебя научу всему.

Фраза была сказана ласково, но эту фразу стѣны заведенія Анны Марковны слышали уже нѣсколько тысячъ разъ. Дальше произошло то, что было настолько трудно и больно вспоминать, что на половинѣ воспоминаній Коля уставалъ и усиленъ воли возвращалъ воображеніе къ чему-нибудь другому.

Конечно, всѣ мужчины испытывали эту первоначальную великую нравственную боль, очень серьезную по своему значенію и глубинѣ, но она весьма быстро проходитъ, оставаясь, однако, у большинства падало, иногда на всю жизнь въ видѣ скуки и неловкости. Въ скоромъ времени Коля свыкся съ нею, осмѣлѣлъ, освоился съ женщиной и очень радовался тому, что, когда онъ приходилъ въ заведеніе, то всѣ дѣвушки, а раньше всѣхъ Вѣрка, кричатъ:

— Женечка, твой любовникъ пришелъ!

Пріятно было, рассказывая объ этомъ товарищамъ, пощипывать воображаемый усъ

XX.

Было еще рано,—часовъ девять августовскаго дождливого вечера. Освѣщенная зала въ домѣ Анны Марковны почти пустовала. Только у самыхъ дверей сидѣлъ, застѣн-

чиво и неуклюже поджавъ подъ стулъ ноги, молоденькій телеграфный чиновникъ и старался завести съ толстомясой Катькой тотъ свѣтскій, непринужденный разговоръ, который полагается въ приличномъ обществѣ за кадрилию, въ антрактахъ между фигурами. Да длинноногій старый Ванька-Встанька блуждалъ по комнатамъ, присаживаясь то къ одной, то къ другой дѣвицѣ и занимал ихъ своей складной болтовней.

Когда Коля Гладышевъ вошелъ въ переднюю, то первая его узнала круглоглазая Вѣрка, одѣтая въ свой обычный жокейскій костюмъ. Она завертѣлась вокругъ самой себя, запрыгала, захлопала въ ладоши и закричала:

— Женька, Женька, иди скорѣе, къ тебѣ твой любовничекъ пришелъ. Да хорошенькій какой!

Но Женьки въ это время не было въ залѣ: ее уже успѣлъ захватить толстый оберъ-кондукторъ.

Этотъ пожилой, степенный и величественный человекъ былъ очень удобнымъ гостемъ, потому что никогда не задерживался въ домѣ болѣе двадцати минутъ, боясь пропустить свой побѣздъ, да и то все время поглядывалъ на часы. Опъ за это время аккуратно выпивалъ четыре бутылки пива и, уходя, непремѣнно давалъ полтинникъ дѣвушкамъ на конфеты и Симеону двадцать копеекъ на чай.

Коля Гладышевъ былъ не одинъ, а вмѣстѣ съ товарищемъ-одноклассникомъ, Петровымъ, который впервые переступалъ порогъ публичнаго дома, сдавшись на соблазнительные уговоры Гладышева. Вѣроятно, опъ въ эти минуты находился въ томъ же дикомъ, сумбурномъ, лихорадочномъ состояніи, которое переживалъ полтора года тому назадъ и самъ Коля, когда у него тряслись ноги, пересыхало во рту, а огни лампъ плясали передъ нимъ кружащимися колесами.

Симеонъ принялъ отъ нихъ шинели и спряталъ отдѣльно, въ сторонку, такъ, чтобы не было видно петлицъ и пуговицъ.

Надо сказать, что этот суровый человек, не одобрявший студентов за их развязную шутовскую и непонятный слогъ въ разговорѣ, не любилъ также, когда появлялись въ заведеніи вотъ такіе мальчики въ формѣ.

— Ну что хорошаго? — мрачно говорилъ онъ порою своимъ коллегамъ по профессіи. — Придетъ вотъ такой шибздинокъ, да столкнется носъ къ носу со своимъ начальствомъ? Трахъ, и закрыли заведеніе! Вотъ какъ Лупендиху три года тому назадъ. Это, конечно, ничего, что закрыли — она сейчасъ же его на другое имя перевела, а какъ прпговорили ее на полтора мѣсяца въ арестный домъ на выsidку, такъ стало ей это въ ха-арошую копеечку. Одному Кербешу четыреста пришлось отсыпать... А то еще бываетъ: наварить себѣ такой подсвинокъ какую-нибудь болѣзнь и расхнычется: „Ахъ, папа! Ахъ, мама! Умираю!“ — „Говори, подлецъ, гдѣ получилъ?“ — „Тамъ-то...“ Ну и потянутъ опять на цугундеръ: суди меня, судья неправедный!

— Проходите, проходите, — сказалъ онъ имъ сурово.

Они вошли, жмурясь отъ яркаго свѣта. Петровъ, выпившій для храбрости, пошатывался и былъ блѣденъ. Они сѣли подъ картиной „Боярскій пиръ“, и сейчасъ же къ нимъ присоединились съ обѣихъ сторонъ двѣ дѣвицы — Вѣрка и Тамара.

— Угостите покурить, прекрасный брюнетикъ! — обратилась Вѣрка къ Петрову и точно нечаянно приложила къ его ногѣ свою крѣпкую, плотно обтянутую бѣлымъ трико, теплую ляжку. — Какой вы симпатичненькій...

— А гдѣ же Женья? — спросилъ Гладышевъ Тамару. — Занята съ кѣмъ-нибудь?

Тамара внимательно поглядѣла ему въ глаза, — поглядѣла такъ пристально, что мальчику даже стало не по себѣ и онъ отвернулся.

— Нѣтъ. Зачѣмъ же занята? Только у нея сегодня все дѣсь болѣла голова: она проходила коридоромъ, а въ это

премя экономка быстро открыла дверь и нечаянно ударила ее въ лобъ, — ну и разболѣлась голова. Цѣлый день она, бѣдняжка, лежитъ съ компрессомъ. Подождите, минутъ черезъ пять выйдетъ. Останетесь ею очень довольны.

Вѣрка приставала къ Петрову:

— Дусенька, миленькій, какой же вы ляленька! Обожаю такихъ блѣдныхъ brunetовъ: они ревнивые и очень горячіе въ любви.

И вдругъ запѣла вполголоса:

Не то brunетикъ,
Не то мой свѣтикъ,
Онъ не обманить, не продасть.
Онъ терпитъ муки,
Пальто и брюки —
Онъ все для женщины отдасть.

— Какъ васъ зовутъ, мусенька?

— Георгіемъ, — отвѣтилъ сильнымъ силымъ басомъ Петровъ.

— Жоржикъ! Жорочка! Ахъ, какъ очень приятно!

Она приблизилась вдругъ къ его уху и прошептала съ лукавымъ лицомъ:

— Жорочка, пойдѣмъ ко мнѣ.

Петровъ потупился и уныло пробасилъ:

— Я не знаю... Вотъ какъ товарищъ скажетъ...

Вѣрка громко расхохоталась:

— Вотъ такъ штука! Скажите, младенецъ какой! Такихъ, какъ вы, Жорочка, въ деревнѣ даже ужъ женятъ, а онъ: „какъ товарищъ“! Ты бы еще у нянюшки или у кормилки спросился! Тамара, ангелъ мой, вообрази себѣ; и его зову спать, а онъ говоритъ: „какъ товарищъ“! Вы что же, господинъ товарищъ, воспитатель ихній?

— Не лѣзь, чортъ! — неуклюже пробурчалъ басомъ Петровъ.

Къ нимъ подошелъ длинный, вихлястый, еще больше посядѣвшій Ванька-Встанька и, склонивъ свою длинную увкую голову набокъ и сдѣлавъ умильную гримасу, запричиталъ:

— Господа высокообразованные молодые люди, такъ сказать, цвѣты интеллигенціи, будущіе фельдихместеры, не одолжите ли старичку, аборигену здѣшнихъ злчныхъ мѣсть, одну добрую старую папиросу? Нищъ есмь. Омніа mea мекумъ порто. Но табачокъ обожаю.

И, получивъ папиросу, вдругъ сразу всталъ въ развязную, непринужденную позу, отставилъ впередъ согнутую правую ногу, подперся рукою въ бокъ и запѣлъ дряблою фистулой:

Бывало, задавалъ обѣды,
Шампанское лилось рѣкой,
Теперь же нѣту корки хлѣба,
На шкаликъ нѣту, братецъ мой.

Бывало, захожу въ „Саратовъ“,
Швейцаръ бѣжитъ ко мнѣ стрѣлой,
Теперь же гонятъ всѣ по шеѣ,
На шкаликъ дай мнѣ, братецъ мой.

— Ванька!—крикнула съ другого конца толстая Катька:— покажи молодымъ людямъ молнію, а то, гляди, только даромъ деньги берешь, дармоѣдъ верблюжій.

— Сейчасъ!—весело отозвался Ванька-Встанька.—Ясно-вельможніе благодѣтели, обратите вниманіе. Живыя картины. Гроза въ лѣтній іюньскій день. Сочиненіе непризнаннаго драматурга, скрывшагося подъ псевдонимомъ Ваньки-Встаньки. Картина первал.

„Быль прекрасный іюньскій день. Палящіе лучи полуденнаго солнца озарили цвѣтушіе луга и окрестности...“

Ваньки-Встанькина донъ-кихотская образина расплылась въ морщинистую сладкую улыбку и глаза сузились полукругами.

— ... „Но вот вдали на горизонтѣ показались первые облака. Они росли, громоздились какъ скалы, покрывая мало-по-малу голубой небосклонъ...“

Постепенно съ Ваньки-Встанькинаго лица нисходитъ улыбка, и оно дѣлалось все серьезнѣе и суровѣе.

— ...„Наконецъ тучи заволокли солнце... Настала зло-вѣщая темнота...“

Ванька-Встанька сдѣлалъ совѣтъ свирѣпую фізіономію.

— ...„Упали первые капли дождя...“

Ванька забарабанилъ пальцами по спинкѣ стула.

— ...„Въ отдаленіи блеснула первая молнія...“

Правый глазъ Ваньки-Встаньки быстро моргнулъ, и дернулся лѣвый уголъ рта.

— ...„Затѣмъ дождь полилъ какъ изъ ведра и сверкнула вдругъ ослѣпительная молнія...“

И съ необыкновеннымъ искусствомъ и быстротой Ванька-Встанька послѣдовательнымъ движеніемъ бровей, глазъ, носа, верхней и нижней губы изобразилъ молніеносный зигзагъ.

— ...„Раздался потрясающій громовой ударъ—тррру-у-у. Вѣковой дубъ упалъ на землю, точно хрупкая тростинка...“

И Ванька-Встанька съ неожиданной для его лѣтъ легкостью и смѣлостью, не сгибая ни колѣпъ ни спины, только угнувъ внизъ голову, мгновенно упалъ, прямо, какъ статуя, на полъ, но тотчасъ же ловко вскочилъ на ноги.

— ...„Но вотъ гроза постепенно утихаетъ. Молнія блещетъ все рѣже. Громъ звучитъ глуше, точно насытившійся звѣрь,—ууу-ууу... Тучи разбѣгаются. Проглянули первые лучи солнышка...“

Ванька-Встанька сдѣлалъ кислую улыбку.

— ...„И вотъ наконецъ дневное свѣтило снова засіяло надъ омытой землей...“

И глупѣйшаго блаженная улыбка снова разлилась по старческому лицу Ваньки-Встаньки.

Гимназисты дали ему по другривенному. Онъ положилъ ихъ на ладонь, другой рукой сдѣлалъ въ воздухѣ пассъ, сказалъ: ейнъ, цвей, дрей, щелкнулъ двумя пальцами, и монеты исчезли.

— Тамарочка, это нечестно, — сказали онъ укоризненно. — Какъ вамъ не стыдно у бѣднаго отставного лѣснаго кондуктора брать послѣднія деньги? Зачѣмъ вы ихъ спрятали сюда?

И, опять щелкнувъ пальцами, онъ вытащилъ монеты изъ Тамариного уха.

— Сейчасъ я вернусь, не скучайте безъ меня, — успокоилъ онъ молодыхъ людей: — а ежели вы меня не дожждетесь, то я буду не особенно въ претензіи. Имѣю честь!..

— Ванька-Встанька! — крикнула ему вдогонку Манька Бѣленькая, — купи-ка мнѣ на пятнадцать копеекъ конфетъ... помадки на пятнадцать копеекъ. На, держи!

Ванька-Встанька чисто поймалъ налету брошенный пятиалтынный, сдѣлалъ комическій реверансъ и, нахлобучивъ набекрень форменную фуражку съ зелеными кантами, исчезъ.

Къ нему подошла высокая старая Генриетта, тоже попросила покурить и, зѣвнувъ, сказала:

— Хоть бы потанцовали вы, молодые люди, — а то барышни сидятъ-сидятъ, ажъ отъ скукидохнуть.

— Пожалуйста, пожалуйста! — согласился Коля. — Сыграйте вальсъ и тамъ что-нибудь.

Музыканты заиграли. Дѣвушки закружились одна съ другой, по обыкновенію церемонно, съ вытянутыми прямо спинами и съ глазами, стыдливо опущенными внизъ.

Коля Гладышевъ, очень любившій танцевать, не утерпѣлъ и пригласилъ Тамару: онъ еще съ прошлой зимы зналъ, что она танцуетъ легче и умѣлѣе остальныхъ. Когда онъ вертѣлся въ вальсъ, то сквозь залу, изворотливо пробираясь между парами, незамѣтно проскользнулъ оберкондукторъ. Коля не успѣлъ его замѣтить.

Какъ ни приставала Вѣрка къ Петрову, его ни за что не удалось стянуть съ мѣста. Теперь недавній легкой хмель совсѣмъ уже вышелъ изъ его головы, и все страшнѣе, все несбыточнѣе и все уродливѣе казалось ему то, для чего онъ сюда пришелъ. Онъ могъ бы уйти, сказать, что ему здѣсь ни одна не нравится, сослаться на головную боль, что ли, но онъ зналъ, что Гладышевъ не выпуститъ его, а главное—казалось невыносимо тяжелымъ встать съ мѣста и пройти одному нѣсколько шаговъ. И, кромѣ того, онъ чувствовалъ, что не въ силахъ заговорить съ Колей объ этомъ.

Окончили танцевать. Тамара съ Гладышевымъ опять усѣлись рядомъ.

— Что же, въ самомъ дѣлѣ, Женька до сихъ поръ не идетъ?—спросилъ нетерпѣливо Коля.

Тамара быстро поглядѣла на Вѣрку съ непонятнымъ для непосвященнаго вопросомъ въ глазахъ. Вѣрка быстро опустила внизъ рѣсницы. Это означало: да, ушелъ.

— Я пойду сейчасъ, позову ее,—сказала Тамара.

— Да что вамъ ваша Женька такъ ужъ полюбилась,—сказала Генриетта.—Взяли бы меня.

— Ладно, въ другой разъ,—отвѣтилъ Коля и нервно закурилъ.

Женька еще не начинала одѣваться. Она сидѣла у зеркала и припудривала лицо.

— Ты что, Тamarочка?—спросила она.

— Пришелъ къ тебѣ гимназистъ твой. Ждетъ.

— Ахъ, это прошлогодній бебешка... а ну его!

— Да и то правда. А поздоровѣлъ какъ мальчишка, похорошѣлъ, выросъ... одинъ восторгъ! Такъ если не хочешь, я сама пойду.

Тамара увидѣла въ зеркало, какъ Женька пахмурила брови.

— Нѣтъ, ты подожди, Тамара, не надо. Я посмотрю. Пошли мнѣ его сюда. Скажи, что я нездорова, скажи, что голова болитъ.

— Я ужъ и такъ ему сказала, что Зося отворила дверь неудачно и ударила тебя по головѣ, и что ты лежишь съ компрессомъ. Но только стѣдить ли, Женечка?

— Стѣдить, не стѣдить—это дѣло не твое, Тамара,—грубо отвѣтила Женька.

Тамара спросила осторожно:

— Неужели тебѣ совѣмъ, совѣмъ-таки не жаль?

— А тебѣ меня не жаль?—и она провела по красной полосѣ, перерѣзавшей ея горло.—А тебѣ себя не жаль? А эту Любку разнесчастную не жаль? А Пашку не жаль? Кисель ты клюквенный, а не человѣкъ!

Тамара улыбнулась лукаво и высокогърно:

— Нѣтъ, когда настоящее дѣло, я не кисель. Ты это, пожалуй, скоро увидишь, Женечка. Только не будемъ лучше ссориться—и такъ не больно сладко живется. Хорошо, и сейчасъ пойду и приплю его къ тебѣ.

Когда она ушла, Женька уменьшила огонь въ висячемъ голубомъ фонарикѣ, надѣла ночную кофту и легла. Минуту спустя вошелъ Гладышевъ, а всѣдъ за нимъ Тамара, тащившая за руку Петрова, который упирался и не поднималъ головы отъ пола. А сзади просовывалась розовая, остренькая, лисья мордочка косоглазой экономки Зоси.

— Вотъ и прекрасно,—засуетилась экономка.—Прямо глядѣть сладко: два красивыхъ паныча и двѣ сличныхъ паненки. Прямо букетъ. Чѣмъ васъ угощать, молодые люди? Пива или вина прикажете?

У Гладышева было въ карманѣ много денегъ, столько, сколько еще ни разу не было за его небольшую жизнь,—цѣлыхъ двадцать пять рублей, и онъ хотѣлъ кутнуть. Пиво онъ пилъ только изъ молодечества, но не выносилъ его горькаго вкуса и самъ удивлялся, какъ это его пьютъ

другіе. И потому брезгливо, точно старый кутила, оттопыривъ нижнюю губу, онъ сказалъ недовѣрчиво:

— Да вѣдь у васъ навѣрное дрянъ какая-нибудь?

— Чтò вы, чтò вы, красавчикъ! Самые лучшіе господа одобряютъ... Изъ сладкихъ—кагоръ, tenerифъ, а изъ французскихъ—лафитъ... Портвейнъ тоже можно. Лафитъ съ лимонадомъ дѣвочки очень обожаютъ.

— А почему?

— Не дороже денегъ. Какъ всюду водится въ хорошихъ заведеніяхъ: бутылка лафита пять рублей, четыре бутылки лимонаду по полтиннику—два рубля, и всего только семь...

— Да будетъ тебѣ, Зося, — равнодушно остановила ея Женъка, — стыдно мальчиковъ обижать. Довольно и пяти. Видишь, люди приличные, а по какіе-нибудь...

Но Гладышевъ покраснѣлъ и съ небрежнымъ видомъ бросилъ на столъ десятирублевую бумажку.

— Чтò тамъ еще разговаривать. Хорошо, принесите.

— Я заодно уже и деньги возьму за визитъ. Вы какъ, молодые люди,—на время или на ночь? Сами знаете таксу: на время—по два рубля, на ночь—по пяти.

— Ладно, ладно. На время,—перебила, вспыхнувъ, Женъка.—Хоть въ этомъ-то повѣрь.

Принесли вино. Тамара выключила, кромѣ того, щипорожныхъ. Женъка попросила позволенія позвать Маньку Бѣленькую. Сама Женъка не пила, не вставала съ постели и все время куталась въ сѣрый оренбургскій платокъ, хотя въ комнатѣ было жарко. Она пристально глядѣла, не отрываясь, на красивое, загорѣвшее, ставшее такимъ мужественнымъ лицо Гладышева.

— Чтò съ тобою, милочка? — спросилъ Гладышевъ, садясь къ ней на постель и поглаживая ея руку.

— Ничего особеннаго... Голова немного болитъ. Удалась.

— Да ты не обращай вниманія.

— Да вот увидѣла тебя, и ужь мнѣ полегче стало. Что давно не былъ у насъ?

— Никакъ нельзя было урваться...

— Ахъ, вы, бѣднякѣ! — всплеснула вдругъ руками Манька Бѣленькая. — За ваше здоровье!

Чокнулись. Женька все такъ же внимательно разглядывала Гладышева.

— А ты, Женечка? — спросилъ онъ, протягивая стаканъ.

— Не хочется, — отвѣтила она лѣнливо, — но, однако, барышни, попили винца, поболтали, — пора и честь знать.

— Можетъ-быть, ты останешься у меня на всю ночь? — спросила она Гладышева, когда другіе ушли. — Ты, миленькій, если у тебя денегъ не хватитъ, я за тебя доплачу. Вотъ видишь, какой ты красивый, что для тебя дѣвчонка даже денегъ не жалѣеть, — засмѣялась она.

Гладышевъ обернулся къ ней: даже и его не наблюдательное ухо поразилъ странный тонъ Женьки, — не то печальный, не то ласковый, не то насмѣшливый.

— Нѣтъ, душенька, я бы очень былъ радъ, мнѣ самому хотѣлось бы остаться, но никакъ нельзя: обѣщаль быть дома къ десяти часамъ.

— Ничего, милый, подождутъ: ты уже совсѣмъ взрослый мужчина. Неужели тебѣ надо слушаться кого-нибудь... А впрочемъ, какъ хочешь. Можетъ-быть, свѣтъ совсѣмъ потушить, или и такъ хорошо? Ты какъ хочешь: съ краю или у стѣнки.

— Мнѣ безразлично, — отвѣтилъ онъ вздрагивающимъ голосомъ и, обнявъ рукой горячее, сухое тѣло Женьки, потянулся губами къ ея лицу. Она слегка отстранила его.

— Подожди, потерпи, голубчикъ, — успѣемъ еще цацкаться. Полежи минуточку... такъ вотъ... тихо, спокойно...

Эти слова, страстные и повелительныя, дѣйствовали на Гладышева какъ гипнозъ. Онъ повиновался ей и легъ на спину, положивъ руки подъ голову. Она приподнялась не-

много, облокотилась и, положивъ голову на согнутую руку, молча, въ слабomъ полусвѣтѣ, разглядывала его тѣло, такое бѣлое, крѣпкое, мускулистое, съ высокой и широкой грудной клѣткой, съ стройными ребрами, съ узкимъ тазомъ и съ мощными выпуклыми ляжками. Темный загаръ лица и верхней половины шеи рѣзкой чертой отдѣлялся отъ бѣлизны плечъ и груди.

Гладышевъ на секунду зажмурился. Ему казалось, что онъ ощущаетъ на себѣ, на лицѣ, на всемъ тѣлѣ этотъ напряженно-пристальный взглядъ, который какъ бы касался его кожи и щекоталъ ее подобно паутинному прикосновению гребенки, которую сначала потрешь о сукно,—ощущение тонкой невѣсомой материи.

Онъ открылъ глаза и увидѣлъ совсѣмъ близко отъ себя большіе, темные, жуткіе глаза женщины, которая ему показалась теперь совсѣмъ незнакомой.

— Чтò ты смотришь, Женья? — спросилъ онъ тихо. — О чемъ ты думаешь?

— Миленкій мой мальчикъ!.. Вѣдь правда: тебя Колой звать?

— Да,

— Не сердись на меня, исполни, пожалуйста, одинъ мой капризь: закрой опять глаза... нѣтъ, совсѣмъ крѣпче, крѣпче... Я хочу прибавить огонь и поглядѣть на тебя хорошенько. Ну вотъ, такъ... Если бы ты зналъ, какъ ты красивъ теперь... сейчасъ вотъ... сію секунду. Потомъ ты загрузѣешь и отъ тебя станетъ пахнуть козломъ, а теперь отъ тебя пахнетъ мѣхомъ и молокомъ... и немного какимъ-то дикимъ цвѣткомъ, Да закрой же, закрой глаза!

Она прибавила свѣтъ, вернулась на свое мѣсто и сѣла въ своей любимой позѣ—по-турецки. Оба молчали. Слышно было, какъ далеко, за нѣсколько комнатъ тренькало разбитое фортепіано, несся чей-то вибрирующий смѣхъ, а съ другой стороны — пѣсенка и быстрый веселый разговоръ.

Словъ не было слышно. Извозчикъ громыхаль гдѣ-то по отдаленной улицѣ...

„И вотъ я его сейчасъ заражу, какъ и всѣхъ другихъ,— думала Женя, скользя глубокимъ взглядомъ по его стройнымъ ногамъ, красивому торсу будущего атлета и по закинутымъ назадъ рукамъ, на которыхъ, выше сгиба локтя, выпукло, твердо напряглись мышцы.—Отчего же мнѣ такъ жаль его? Или оттого, что онъ хорошенькій? Нѣтъ. Я давно уже не знаю этихъ чувствъ. Или оттого, что онъ — мальчикъ? Вѣдь еще годъ тому назадъ съ небольшимъ я совала ему въ карманъ яблоки, когда онъ уходилъ отъ меня ночью. Зачѣмъ я тогда не сказала ему того, что могу и смѣю сказать теперь? Или все равно онъ не повѣрилъ бы мнѣ? Разсердился бы? Пошелъ бы къ другой? Вѣдь рано или поздно cadaго мужчину ждетъ эта очередь... А то, что онъ покупалъ меня за деньги, — развѣ это простиительно? Или онъ поступалъ такъ, какъ и всѣ они, сослѣпу?..“

— Коля!—сказала она тихо,—открой глаза.

Онъ повиновался, открылъ глаза, повернулся къ ней, обвилъ рукой ея шею, притянулъ немного къ себѣ и хотѣлъ поцѣловать въ вырѣзъ рубашки, въ грудь. Она опять нѣжно, но повелительно отстранила его.

— Нѣтъ, подожди, подожди,—выслушай меня... еще минутку. Скажи мнѣ, мальчикъ, за чѣмъ ты къ намъ сюда ходишь, къ женщинамъ?

Коля тихо и крипло разсмѣялся.

— Какая ты глупая! Ну за чѣмъ же всѣ ходятъ? Развѣ я тоже не мужчина? Вѣдь, кажется, я въ такомъ возрастѣ, когда у cadaго мужчины созрѣваетъ... ну, извѣстная потребность... въ женщинѣ. Вѣдь не заниматься же мнѣ всякой гадостью!

— Потребность? Только потребность? Значить, вотъ такъ же, какъ въ той посудѣ, которая стоитъ у меня подъ кроватью?

— Нѣтъ, отчего же?—ласково смѣясь, возразилъ Коля.—

Ты мнѣ очень нравилась... съ самаго перваго раза... Если хочешь, я даже... неможно влюбленъ въ тебя... по крайней мѣрѣ ни съ кѣмъ съ другими я не оставался.

— Ну, хорошо! А тогда, въ первый разъ, исужели потребность?

— Нѣтъ, пожалуй, что и не потребность, но какъ-то смутно хотѣлось женщины... Товарищи уговорили... Многіе уже раньше меня ходили сюда... Вотъ и я...

— А что, тебѣ не стыдно было въ первый разъ?

Коля смутился: весь этотъ допросъ былъ ему неприятенъ, тигостень. Онъ чувствовалъ, что это не пустой, праздный, постельный разговоръ, такъ хорошо ему знакомый изъ его небольшого опыта, а что-то другое, болѣе важное.

— Положимъ... не то что стыдно... ну, а все-таки же было неловко. Я тогда вышилъ для храбрости.

Женя опять легла на бокъ, оперлась локтемъ и опять зверху поглядывала на него близко и пристально.

— А скажи, душенька,—спросила она еле слышно, такъ, что Коля съ трудомъ разбиралъ ея слова,—скажи еще одно: а то, что ты платилъ деньги, эти поганые два рубля,—понимаешь?—платилъ за любовь, за то, чтобы я тебя ласкала, цѣловала, отдавала бы тебѣ свое тѣло,—за это платить тебѣ не стыдно было? никогда?

— Ахъ, Боже мой! Какіе странные вопросы задаешь ты сегодня! Но вѣдь всѣ же платятъ деньги! Не я, такъ другой заплатилъ бы,—не все ли тебѣ равно?

— А ты любилъ кого-нибудь, Коля? Признайся! Ну, хоть не по-настоящему, а такъ... въ душѣ... Ухаживалъ? Подносилъ цвѣточки какіе-нибудь... подъ ручку прогуливался при лунѣ? Было вѣдь?

— Ну да,—сказалъ Коля солиднымъ басомъ.—Мало ли какія глупости бываютъ въ молодости! Понятное дѣло...

— Какая-нибудь двоюродная сестренка? барышня воспитанная? институтка? гимназисточка?.. Вѣдь было?

— Ну да, конечно,—у всякаго это бывало.

— Вѣдь ты бы ея не тронулъ?.. Пощадить бы? Ну, если бы она тебѣ сказала: возьми меня, но только дай мнѣ два рубля,—что бы ты сказалъ ей?

— Не понимаю я тебя, Женька! — разсердился вдругъ Гладышевъ.—Что ты ломаешься! Какую-то комедію разыгрываешь! Ей-Богу, я сейчасъ одѣнусь и уйду.

— Подожди, подожди, Коля! Еще, еще, одинъ послѣдній, самый-самый послѣдній вопросъ.

— Ну тебя!—недовольно буркнулъ Коля.

— А ты никогда не могъ себѣ представить... ну, представь сейчасъ, хоть на секунду... что твоя семья вдругъ обѣднѣла, разорилась. Тебѣ пришлось бы зарабатывать хлѣбъ перепиской, или тамъ, скажемъ, столярнымъ или кузнечнымъ дѣломъ, а твоя сестра свихнулась бы, какъ и всѣ мы... да, да, твоя, твоя родная сестра... соблазнилъ бы ее какой-нибудь болванъ и пошла бы она гулять... по рукамъ... что бы ты сказалъ тогда?

— Чувшь!.. Этого быть не можетъ!..—рѣзко оборвалъ ее Коля.—Ну, однако, довольно,—я ухожу!

— Уходи, сдѣлай милость! У меня тамъ, у зеркала, въ коробочкѣ отъ шоколада лежатъ десять рублей, — возьми ихъ себѣ. Мнѣ все равно не нужно. Купи на нихъ мамѣ пудреницу черепаховую въ золотой оправѣ, а если у тебя есть маленькая сестра, купи ей хорошую куклу. Скажи: на память отъ одной умершей дѣвки. Ступай, мальчишка!

Коля, нахмурившись, злой, однимъ толчкомъ ловко сбитаго тѣла соскочилъ съ кровати, почти не касаясь ея. Теперь онъ стоялъ на коврикѣ у постели голый, стройный, прекрасный во всемъ великолѣпнн своего цвѣтущаго юношескаго тѣла.

— Коля! — позвала его тихо, настойчиво и ласково Женька.—Колечка!

Онъ обернулся на ея зовъ и коротко, отрывисто вдох-

нулъ въ себя воздухъ, точно ахнулъ: онъ никогда еще въ жизни не встрѣчалъ нигдѣ, даже на картинахъ, такого прекраснаго выраженія нѣжности, скорби и женственнаго молчаливаго упрека, какое сейчасъ онъ видѣлъ въ глазахъ Женьки, наполненныхъ слезами. Онъ присѣлъ на край кровати и порывисто обнялъ ее вокругъ обнаженныхъ смуглыхъ рукъ.

— Не будемъ же ссориться, Женечка, — сказалъ онъ нѣжно.

И она обвилась вокругъ него, положила руки на шею, а голову прижала къ его груди. Такъ они помолчали нѣсколько секундъ.

— Коля, — спросила Женья вдругъ глухо, — а ты никогда не боялся заразиться?

Коля вздрогнулъ. Какой-то холодный, омерзительный ужасъ шевельнулся и проползъ у него въ душѣ. Онъ отвѣтилъ не сразу.

— Конечно, это было бы страшно... страшно... спаси Богъ! Да вѣдь я только къ тебѣ одной хожу, только къ тебѣ! Ты бы навѣрное сказала нѣтъ?..

— Да, сказала бы, — произнесла она задумчиво. И тутъ же прибавила быстро, сознательно, точно взвѣсивъ смыслъ своихъ словъ: — Да, конечно, конечно, сказала бы! А ты не слыхалъ когда-нибудь, что это за штука болѣзнь, которая называется сифилисомъ?

— Конечно, слышалъ... Носъ проваливается...

— Нѣтъ, Коля, не только носъ! Человѣкъ заболѣваетъ весь: заболѣваютъ его кости, жилы, мозги... Говорятъ иные доктора такую ерунду, что можно отъ этой болѣзни вылѣчиться. Чувствуй! Никогда не вылѣчишься! Человѣкъ гниетъ десять, двадцать, тридцать лѣтъ. Каждую секунду его можетъ разбить параличъ, такъ что правая половина лица, правая рука, правая нога умираютъ, живетъ не человѣкъ, а какая-то половинка. Полулюдишечко-полутрупъ. Боль-

шинство изъ нихъ сходить съ ума. И каждый понимаетъ... каждый человѣкъ... каждый такой зараженный понимаетъ, что, если онъ ѣсть, пьетъ, цѣлуется, просто даже дышитъ,— онъ не можетъ быть увѣреннымъ, что не заразить сейчасъ кого-нибудь изъ окружающихъ, самыхъ близкихъ—сестру, жену, сына... У всѣхъ сифилитиковъ дѣти рождаются уродами, недоносками, зобастыми, чахоточными, идиотами. Вотъ, Коля, что такое представляетъ собою эта болѣзнь! А теперь,— Женька вдругъ быстро выпрямилась, крѣпко схватила Колю за голыя плечи, повернула его лицомъ къ себѣ, такъ что онъ былъ почти ослѣпленъ сверканіемъ ея печальныхъ, мрачныхъ, необыкновенныхъ глазъ,— а теперь, Коля, я тебѣ скажу, что я уже больше мѣсяца больна этой гадостью. Вотъ оттого-то я тебѣ и не позволяла поцѣловать себя...

— Ты шутишь!.. Ты нарочно дразнишь меня, Женя!— бормоталъ злой, испуганный и растерявшійся Гладышевъ.

— Шучу?.. Иди сюда!

Она рѣзко заставила его встать на ноги, зажгла спичку и сказала:

— Теперь смотри внимательно, что я тебѣ покажу.

Она широко открыла ротъ и поставила оговоръ такъ, чтобы онъ освѣщалъ ей гортань. Коля поглядѣлъ и отшатнулся.

— Ты видишь эти бѣлыя пятна? Это—сифились, Коля! Понимаешь?—сифились въ самой страшной, самой тяжелой степени. Теперь одѣвайся и благодари Бога.

Онъ молча и не оглядываясь на Женьку сталъ торопливо одѣваться, не попадая ногами въ одежду. Руки его тряслись и нижняя челюсть прыгала такъ, что зубы стучали нижніе о верхніе, а Женька говорила съ поникнутой головой:

— Слушай, Коля, это твое счастье, что ты попалъ на честную женщину, другая бы не пощадила тебя. Слышишь ли ты это? Мы, которыхъ вы лишаете невинности и потомъ

выгоняете изъ дома, а потомъ платите намъ два рубля за визитъ, мы всегда,—понимаешь ли ты?—она вдругъ подняла голову,—мы всегда ненавидимъ васъ и никогда не жалѣемъ!

Полуодѣтый Коля вдругъ бросилъ свой туалетъ, сѣлъ на кровать около Женьки, и, закрывъ ладонями лицо, расплакался искренно, совсѣмъ по-дѣтски...

— Господи, Господи,—шепталъ онъ,—вѣдь это правда!.. Какая же это подлость!.. И у насъ, у насъ дома было это: была горничная Нюша... горничная... ее еще звали синьоритой Анитой... хорошенькая... и съ нею жилъ братъ... мой старшій братъ... офицеръ... и когда онъ уѣхалъ, она стала беременная и мать выгнала ее... ну да,—выгнала... выпшвырнула изъ дома, какъ половую тряпку... Гдѣ она теперь? И отецъ... отецъ... Онъ тоже съ гор... горничной.

И полуголая Женька, эта Женька безбожница, ругательница и скандалистка. вдругъ поднялась съ постели, стала передъ гимназистомъ и медленно, почти торжественно перекрестила его.

— Да хранить тебя Господь, мой мальчикъ!—сказала она съ выраженіемъ глубокой нѣжности и благодарности.

И тотчасъ же побѣжала къ двери, открыла ее и крикнула:

— Экономка!

На зовъ ея пришла Зося.

— Вотъ что, экономочка,—распорядилась Женька,—подите узнайте, пожалуйста, кто изъ нихъ свободень—Тамара или Манька Бѣленькая. И свободную пришлите сюда.

Коля проворчалъ что-то сзади, но Женька нарочно не слушала его.

— Да поскорѣе, пожалуйста, экономочка, будь такая добренькая.

— Сейчасъ, сейчасъ, барышня.

— Зачѣмъ, зачѣмъ ты это дѣлаешь, Женья?—спросилъ Гладышевъ съ тоской.—Ну для чего это?.. Неужели ты хочешь рассказать?..

— Подожди, это не твое дѣло... Подожди, и ничего не сдѣлаю непріятнаго для тебя.

Черезъ минуту пришла Манька Бѣленькая въ своемъ коричневомъ, гладкомъ, умышленно скромномъ и умышленно обтянутомъ короткомъ платьѣ гимназистки.

— Ты что меня звала, Женья? Или поссорились?

— Нѣтъ, не поссорились, Манечка, а у меня очень голова болитъ,—отвѣтила спокойно Женька,—и поэтому мой дружокъ находитъ меня очень холодной. Будь другомъ, Манечка, останься съ нимъ, замѣни меня!

— Будетъ, Женья, перестань, милая!—тономъ искренняго страданія возразилъ Коля.—Я все, все понялъ, не нужно теперь... Не добивай же меня!..

— Ничего не понимаю, что случилось,—развела руками легкомысленная Манька.—Можетъ-быть, угостите чѣмъ-нибудь бѣдную дѣвочку?

— Ну, иди, иди!—ласково отравила ее Женька.—Я сейчасъ приду. Мы пошутили.

Уже одѣтые, они долго стояли въ открытыхъ дверяхъ между коридоромъ и спальней и безъ словъ, грустно глядѣли другъ на друга. И Коля не понималъ, но чувствовалъ, что въ эту минуту въ его душѣ совершается одинъ изъ тѣхъ громаднхъ переломовъ, которые властно сказываются на всей жизни.

Потомъ онъ крѣпко пожалъ Женьѣ руку и сказалъ:

— Прости!.. Ты простишь меня, Женья? Простишь?..

— Да, мой мальчикъ!.. Да, мой хорошій!.. Да... да...

Она нѣжно, тихо, по-матерински погладила его низко стриженную жесткую голову и слегка подтолкнула его въ коридоръ.

— Куда же ты теперь?—спросила она вдогонку, полуоткрывъ дверь.

— Я сейчасъ возьму товарища и домой.

— Какъ знаешь!.. Будь здоровъ, миленькій!

— Прости меня!.. Прости меня!..—еще разъ повторилъ Коля, протягивая къ ней руки.

— Я уже сказала, мой славный мальчикъ... И ты меня прости... Больше вѣдь не увидимся!..

И она, затворивъ дверь, осталась одна.

Въ коридорѣ Гладышевъ замялся, потому что онъ не зналъ, какъ найти тотъ номеръ, куда удалился Петровъ съ Тамарой. Но ему помогла экономка Зося, пробѣгавшая мимо него очень быстро и съ очень озабоченнымъ, встревоженнымъ видомъ.

— Ахъ, не до васъ тутъ!—огрызнулась она на вопросъ Гладышева,—третья дверь направо.

Коля подошелъ къ указанной двери и постучался. Въ комнатѣ послышалась какая-то возня и шопотъ. Онъ постучался еще разъ.

— Керковіусъ, отвори! Это я—Солитеровъ.

Среди учащихся, отправлявшихся въ подобнаго рода экспедиціи, всегда было условлено называть другъ друга вымышленными именами. Это была не такъ конспирація или уловка противъ бдительности начальства или боязнь скомпрометировать себя передъ случайнымъ семейнымъ знакомымъ, какъ своего рода игра въ таинственность и пересодѣваніе,—игра, ведшая свое начало еще съ тѣхъ временъ, когда молодежь увлекается Густавомъ Эмаромъ, Майнъ-Ридомъ и сыщикомъ Лекокомъ.

— Нельзя!—послышался изъ-за двери голосъ Тамары.— Нельзя входить. Мы заняты.

Но ее сейчасъ же перебилъ басистый голосъ Петрова:

— Пустяки! Она вреть. Входи. Можно!

Коля отворилъ дверь.

Петровъ сидѣлъ на стулѣ одѣтый, но весь красный, суровый, съ надутыми по-дѣтски губами, съ опущенными глазами.

— Тоже и товарища привели—нечего сказать!—загово-

рля Тамара насмѣшливо и сердито.—Я думала, онъ въ самомъ дѣлѣ мужица, а это—дѣвчонка какая-то! Скажите, пожалуйста, жалко ему свою невинность потерять. Тоже нашель сокровище! Да возьми назадъ, возьми свои два рубля!—закричала она вдругъ на Петрона и швырнула на столъ двѣ монеты.—Все равно отдашь ихъ горняшкѣ какой-нибудь! А то на перчатки себѣ прибереги, сусликъ!

— Да что же вы ругаетесь!—бурчалъ Петровъ, не поднимая глазъ.—Вѣдь я васъ не ругаю. Зачѣмъ же вы первая ругаетесь? Я имѣю полное право поступать, какъ я хочу. Но я провелъ съ вами время, и возьмите себѣ. А насильно я не хочу. И съ твоей стороны, Гладышевъ... тобишь, Солитеровъ, совѣтъ это нехорошо. Я думалъ, она порядочная дѣвушка, а она все дѣзетъ дѣловаться а Богъ знаетъ что дѣлаетъ...

Тамара, несмотря на свою злость, расхохоталась.

— Ахъ, ты, слупышъ, слупышъ! Ну, не сердись—возьму я твои деньги. Только смотри. сегодня же вечеромъ пожалѣешь. плакать будешь. Ну, не сердись, не сердись, ангель, давай помиримся. Протни мнѣ руку, какъ я тебѣ.

— Идемъ, Керковиусъ,—сказалъ Гладышевъ.—До свиданія. Тамара!

Тамара опустила деньги, по привычкѣ всѣхъ проституткъ, въ чулокъ и пошла проводить мальчиговъ.

Еще въ то время, когда они проходили коридоромъ, Гладышева поразила странная, молчаливая, напряженная суета въ залѣ. топотъ ногъ и какіе-то заглушенные, вполголоса, быстрые разговоры.

Около того мѣста, гдѣ они только-что сидѣли подѣ картиной, собрались всѣ обитатели дома Аяны Марковны и вѣскольکو постороннихъ людей. Они стояли тѣсной кучкой, наклонившись внизъ. Коля съ любопытствомъ подошелъ и, протиснувшись немного, заглянулъ между головами: на полу, бокомъ, какъ-то неестественно скорчившись, лежалъ Ванька-

Встанька. Лицо у него было синее, почти черное. Онъ не двигался и лежалъ странно маленькій, съезжившись, съ согнутыми ногами. Одна рука была у него поджата подъ грудь, а другая откинута назадъ.

— Что съ нимъ?—спросилъ испуганно Гладышевъ.

Ему отвѣтила Нюрка, заговоривъ быстрымъ, прерывающимся шопотомъ:

— Ванька-Встанька только-что пришелъ сюда... Отдалъ Манькѣ конфекты, а потомъ сталъ намъ загадывать армянскія загадки...—„Синяго цвѣта, виситъ въ гостиной и свиститъ“... Мы никакъ не могли угадать, а онъ говоритъ: „сеledка“. Вдругъ засмѣялся, закашлялся и началъ валиться на бокъ, а потомъ—хлопъ на землю и не движется... Послали за полиціей... Господи, вотъ страсть-то какал!.. Ужасно я боюсь упокойниковъ!..

— Подожди!—остановилъ ее Гладышевъ.—Надо пощупать лобъ: можетъ-быть, еще живъ...

Онъ сунулся-было впередъ, но пальцы Симеона точно желѣзные клещи схватили его выше локтя и оттащили назадъ.

— Нечего, нечего разглядывать,—сурово приказалъ Симеонъ,—идите-ка, паньчи, вонъ отсюда! Не мѣсто вамъ здѣсь: придетъ полиція, позоветъ васъ въ свидѣтели,—тогда васъ изъ благороднаго заведенія—кишъ, къ чортовой матери! Идете-ка по-добру, по-здорову!

Онъ проводилъ ихъ до передней, сунулъ имъ въ руки шинели и прибавилъ еще болѣе строго:

— Ну, теперь—гэтъ бѣгомъ!.. Живо! Чтобы духу вашего не было! А другой разъ придете, такъ и вовсе не пустю. Тоже—умницы! Дали старому псу на водку. Вотъ и околѣлъ.

— Ну, ты не больно-то!—ершомъ налетѣлъ на него Гладышевъ.

— Что не больно?..—закричалъ вдругъ бѣшено Симеонъ, и его черные безбровые и безрѣсницы глаза сдѣ-

дались такими страшными, что молодые люди отшатнулись.—И тебя такъ съѣзжу по сусаламъ, что ты палу-маму говорить разучишься! Ну, мигомъ! А то козырну по шеѣ.

Гимназисты спустились съ лѣстницы.

Въ это время наверхъ поднимались двое мужчинъ въ сукошныхъ картузахъ набекрень, въ пиджакахъ нараспашку, одинъ въ синей, другой въ красной рубахахъ на выпускъ подъ разстегнутыми пиджаками—очевидно, товарищи Симеона по профессіи.

— Чтò,—весело крикнулъ одинъ изъ нихъ снизу, обращаясь къ Симеону,—каюкъ Ванькѣ-Встанькѣ?

— Да, должно-быть, амба,—отвѣтилъ Симеонъ.—Надо, пока чтò, хлопцы, выбросить его на улицу, а то пойдутъ духи цѣпляться. Чортъ съ нимъ, пускай думаютъ, что напился пьянъ и подохъ на дорогѣ.

— А ты его... не того?.. не пришилъ?

— Ну вотъ глупости! Было бы за что. Безвредный былъ челоуѣкъ. Совсѣмъ ягненокъ. Такъ, должно-быть, пора ему своя пришла.

— И нашель же мѣсто гдѣ помереть! Хуже-то не могъ придумать?—сказаль тотъ, чтò былъ въ красной рубахѣ.

— Это ужъ вѣрно!—подтвердилъ другой.—Жиль смѣшно и умеръ грѣшно. Ну, идемъ, что ли, товарищъ!

Гимназисты бѣжали чтò есть мочи. Теперь въ темнотѣ фигура скорчившагося на полу Ваньки-Встаньки съ его синимъ лицомъ представлялась имъ такой страшной, какой кажутся покойники въ ранней молодости, да если о нихъ еще вспоминать ночью, въ темнотѣ.

XXI.

Съ утра моросилъ мелкій, какъ пыль, дождикъ, упрямый и скучный. Платоновъ работаль въ порту надъ разгрузкой арбузовъ. На заводѣ, гдѣ онъ еще съ лѣта предполагаль устроиться, ему не повезло: черезъ недѣлю уже онъ

поссорился и чуть не подрался со старшимъ мастеромъ, который былъ чрезвычайно грубъ съ рабочими. Съ мѣсяць Сергѣй Ивановичъ пробивался кое-какъ, съ хлѣба на воду, гдѣ-то на задворкахъ Темниковской улицы, таская время отъ времени въ редакцію „Отголосковъ“ замѣтки объ уличныхъ происшествіяхъ или смѣшныя сценки изъ камеръ мировыхъ судей. Но черное газетное дѣло давно уже опостылѣло ему. Его всегда тянуло къ приключеніямъ, къ физическому труду на свѣжемъ воздухѣ, къ жизни, совершенно лишенной хотя бы малѣйшаго намека на комфортъ, къ безпечному бродяжничеству, въ которомъ человекъ, отбросивъ отъ себя всевозможныя внѣшнія условія, самъ не знаетъ, что съ нимъ будетъ завтра. И поэтому, когда съ низовьевъ Днѣпра потянулись первыя баржи съ арбузами, онъ охотно вошелъ въ артель, въ которой его знали еще съ прошлаго года и любили за веселый нравъ, за товарищескій духъ и за мастерское умѣніе вести счетъ.

Работа шла дружно и ловко. На каждой баржѣ работало одновременно четыре партіи, каждая изъ пяти человекъ. Первый номеръ доставалъ арбузъ изъ баржи и передавалъ его второму, стоявшему на борту. Второй бросалъ его третьему, стоявшему уже на набережной, третій перекидывалъ четвертому, а четвертый подавалъ пятому, который стоялъ на подводѣ и укладывалъ арбузы—то темно-зеленые, то бѣлые, то полосатые—въ ровные блестящіе ряды. Работа эта чистая, веселая и очень спорая. Когда подбирается хорошая партія, то любо смотрѣть, какъ арбузы летятъ изъ рукъ въ руки, ловятся съ цирковой быстротой и удачей, и вновь и вновь безъ перерыва летятъ, чтобы въ концѣ концовъ наполнить телегу. Трудно бываетъ только новичкамъ, которые еще не наловчились, не вошли въ особенное чувство темпа. И не такъ трудно ловить арбузъ, какъ сумѣть бросить его.

Платоновъ хорошо помнилъ свои первые прошлогодніе опыты. Какая ругань, лживая, насмѣшливая, грубая по-

сыпалась на него, когда на третьемъ или на четвертомъ разѣ онъ зазѣвался и замедлилъ передачу: два арбуза, не брошенные въ тактъ, съ сочнымъ хрустомъ разбились о мостовую, а окончательно растерявшійся Платоновъ уронилъ и тотъ, который держалъ въ рукахъ. На первый разъ къ нему отнеслись мягко, на второй же день за каждую ошибку стали вычитать съ него по пяти копеекъ за арбузъ изъ общей дѣлежки. Въ слѣдующій разъ, когда это случилось, ему пригрозили безъ всякаго расчета сейчасъ же вышвырнуть его изъ партіи. Платоновъ и теперь еще помнилъ, какъ внезапная злоба охватила его:—„Ахъ, такъ? чортъ васъ поберей!—подумаль онъ.—Чтобы я еще сталъ жалѣть ваши арбузы! Такъ вотъ на-те, на-те!“ Эти вспышки какъ будто мгновенно помогли ему. Онъ небрежно ловилъ арбузы, такъ же небрежно ихъ перебрасывалъ и къ своему удивленію вдругъ почувствовалъ, что именно теперь-то онъ весь со своими мускулами, зрѣніемъ и дыханіемъ вошелъ въ настоящій пульсъ работы, и понималъ, что самымъ главнымъ было вовсе не думать о томъ, что арбузъ представляетъ собой какую-то стоимость, и тогда все идетъ хорошо. Когда онъ наконецъ совсѣмъ овладѣлъ этимъ искусствомъ, то долгое время оно служило для него своего рода пріятной и занимательной атлетической игрой. Но и это прошло. Онъ дошелъ наконецъ до того, что сталъ чувствовать себя безвольнымъ, механически движущимся колесомъ общей машины, состоявшей изъ пяти человѣкъ, и безконечной цѣпи летящихъ арбузовъ.

Теперь онъ былъ вторымъ номеромъ. Наклоняясь ритмически внизъ, онъ, не глядя, принималъ въ обѣ руки холодный, упругій, тяжелый арбузъ, раскачивалъ его вправо и, тоже почти не глядя или глядя только краемъ глаза, швырилъ его внизъ и сейчасъ же опять нагибался за слѣдующимъ арбузомъ. И ухо его улавливало въ это время, какъ чмокъ-чмокъ... чмокъ-чмокъ... шлепались въ рукахъ пойман-

ные арбузы, и тотчас же нагибался вниз и опять бросалъ, съ шумомъ выдыхая изъ себя воздухъ—гхе... гхе...

Сегодняшня работа была очень выгодной: ихъ артель, состоявшая изъ сорока человекъ, взялась, благодаря большой спѣшкѣ, за работу не подепно, а сдѣльно, по-подводно. Старостѣ—огромному, могучему полтавцу Заворотному—удалось чрезвычайно ловко обойти хозяина, человека молодого и, должно-быть, еще не очень опытнаго. Хозяинъ, правда, спохватился позднѣе и хотѣлъ перемѣнить условія, но ему въ-время отсовѣтовали опытные бахчевники: „Бросьте. Убьютъ“,—сказали ему просто и твердо. Вотъ изъ-за этой-то удачи каждый членъ артели зарабатывалъ теперь до четырехъ рублей въ сутки. Всѣ они работали съ необыкновеннымъ усердiемъ, даже съ какою-то яростью, и если бы возможно было измѣрить какимъ-нибудь приборомъ работу каждого изъ нихъ, то, навѣрно, по количеству сдѣланныхъ пудо-футовъ она равнялась бы рабочему дню большого воронежскаго битюга.

Однако Заворотный и этимъ былъ недоволенъ—онъ все поторапливалъ и поторапливалъ своихъ хлопцевъ. Въ немъ говорило профессиональное честолюбіе: онъ хотѣлъ довести ежедневный заработокъ каждого члена артели до пяти рублей на рыло. И весело, съ необычайной легкостью мелькали отъ пристани до подводы, вертясь и сверкая, мокрые, зеленые и бѣлые арбузы и слышались ихъ сочные всплески о привычныя ладони.

Но вотъ въ порту на землечерпательной машинѣ раздался длинный гудокъ. Ему отозвался другой, третій на рѣкѣ, еще нѣсколько на берегу, и долго они ревѣли вмѣстѣ мощнымъ разноголосымъ хоромъ.

— Ба-а-а-ст-а-а!—хрипло и густо, точь въ точь какъ паровозный гудокъ, заревѣлъ Заворотный.

И вотъ послѣдніе чмокъ-чмокъ—и работа мгновенно остановилась.

Платоновъ съ наслажденіемъ выпрямилъ спину и выгнулъ ее назадъ и расправилъ затекшія руки. Онъ съ удовольствіемъ подумалъ о томъ, что уже переболѣлъ ту первую боль во всѣхъ мускулахъ, которая такъ сказывается въ первые дни, когда съ отвычки только-что втигиваешься въ работу. А до этого дня, просыпаясь по утрамъ въ своемъ логовищѣ на Темниковской, тоже по условному звуку фабричнаго гудка, онъ въ первыя минуты испытывалъ такіе страшныя боли въ шеѣ, спинѣ, въ рукахъ и ногахъ, что ему казалось, будто только чудо сможетъ заставить его встать и сдѣлать нѣсколько шаговъ.

— Иди-и-и обѣд-а-ть!—завопилъ опять Заворотный.

Крючники сходили къ водѣ, становились на колѣни или ложились ничкомъ на сходянхъ или на плотяхъ и, зачерпывая горстями воду, мыли мокрая разгорѣвшіяся лица и руки. Тутъ же на берегу, въ сторонѣ, гдѣ еще осталось немного травы, расположились они къ обѣду: положили въ крутъ десятокъ самыхъ спѣлыхъ арбузовъ, чернаго хлѣба и 20 тараней. Гаврюшка-пуля уже бѣжалъ съ полведерной бутылкой въ кабакъ и пѣлъ на-ходу солдатскій сигналъ къ обѣду:

Бери ложку, тащи бакъ,
Нѣту хлѣба, лопай такъ.

Босой мальчишка, грязный и такой оборванный, что на немъ было гораздо больше голаго собственнаго тѣла, чѣмъ одежды, подбѣжалъ къ артели.

— Который у васъ тутъ Платоновъ?—спросилъ онъ, быстро бѣгая вороватыми глазами.

Сергѣй Ивановичъ назвалъ себя:

— Я—Платоновъ, а тебя какъ дразнятъ?

— Тутъ за угломъ, за церковью, тебя барышня какая-то ждетъ... На записку тебѣ.

Артель густо заржала.

— Чего рты-то поразетегивали, дурачье!—сказаль споккойно Платоновъ.—Давай сюда записку.

Это было письмо отъ Женьки, написанное круглымъ, наивнымъ, катящимся дѣтскимъ почеркомъ и не очень грамотное.

„Сергѣй Ивановичъ. Простите, что я васъ безъ покою. Мнѣ нужно съ вами поговорить по очепь, очень важному дѣлу. Не стала бы тревожить, если бы Пустяки. Всего только на 10 минутъ. Извѣстная вамъ Женька отъ Анны Марковны“.

Платоновъ всталъ.

— Я пойду ненадолго, — сказалъ онъ Заворотному.— Какъ начнете, буду на мѣстѣ.

— Тоже дѣло нашель,—лѣниво и презрительно отозвался староста.—На это дѣло ночь есть... Иди, иди, кто жъ тебя держить. А только какъ начнемъ работать, тебя не будетъ, то вонѣшній день не въ счетъ. Возьму любого босняка. А сколько онъ наколотитъ кавуновъ,—тоже съ тебя...

Женька ждала его въ маленькомъ скверикѣ, приютившемся между церковью и набережной и состоявшемъ изъ десятка жалкихъ тополей. На ней было строе цѣльное выходное платье, простая круглая соломенная шляпа съ черной ленточкой.

„А все-таки, хоть и скромно одѣлась, — подумаль Платоновъ, глядя на нее издали своими привычно прищуренными глазами, — а все-таки каждый мужчина пройдетъ мимо, посмотритъ и непременно три-четыре раза оглянется: сразу почувствуешь особенный топъ“.

— Здравствуй, Женька! Очень радъ тебя видѣть,—привѣтливо сказалъ онъ, пожимая руку дѣвушки.—Вотъ ужъ не ждалъ-то!

Женька была скромна, печальна и видимо чѣмъ-то озабочена. Платоновъ это сразу поняль и почувствовалъ.

— Ты меня извини, Женечка, я сейчасъ долженъ обѣдать, — сказалъ онъ.—такъ, можетъ-быть, ты пойдешь вмѣ-

стѣ со мной и расскажешь, въ чемъ дѣло, а я заодно успѣю поѣсть. Тутъ неподалеку есть скромный кабачишко. Въ это время тамъ совсѣмъ гдѣтъ народа и даже имѣется маленькое стойлице въ родѣ отдѣльнаго кабинета. — тамъ намъ съ тобой будетъ чудесно. Пойдемъ! Можетъ-быть, и ты что-нибудь скушашь.

— Нѣтъ, я ѣсть не буду,—отвѣтила Женька хрипло:— и я не долго тебя задержу... нѣсколько минутъ. Надо по-совѣтоваться, поговорить, а мнѣ не съ кѣмъ.

— Очень хорошо... Идемъ же! Чѣмъ только могу, готовъ всѣмъ служить. Я тебя очень люблю, Женька!

Она взглянула на него грустно и благодарно.

— Я это знаю, Сергѣй Ивановичъ, оттого и пришла.

— Можетъ-быть, денегъ нужно? Говори прямо. У меня у самого немного, но артель мнѣ повѣрить впередъ.

— Нѣтъ, спасибо... Совсѣмъ не то. Я ужъ тамъ, куда пойдемъ, все разомъ расскажу.

Въ темноватомъ низенькомъ кабачкѣ, обычномъ притонѣ мелкихъ воровъ, гдѣ торговля производилась только вечеромъ, до самой глубокой ночи, Платоновъ занялъ маленькую подутемную каморку.

— Дай мнѣ мяса варенаго, огурцовъ, большую рюмку водки и хлѣба,—приказалъ онъ половому.

Половой—молодой малый съ грязнымъ лицомъ, курносый, весь такой засаленный и грязный, какъ будто его только-что вытащили изъ помойной ямы, вытеръ губы и смило спросилъ:

— На сколько копеекъ хлѣба?

— На сколько выйдетъ.

Потомъ онъ разсмѣялся:

— Неси какъ можно больше,—потомъ посчитаемся... И квасу!..

— Ну, Женья, говори, какал у тебя бѣда... Я ужъ по лицу вижу, что бѣда или вообще что-то кислое... Рассказывай!

Женька долго теребила свой носовой платокъ и глядѣла себѣ на кончики туфель, точно собиралась съ силами. Ею овладѣла робость — никакъ не приходили на умъ пужныя и важныя слова. Платоновъ пришелъ ей на помощь:

— Не стѣсняйся, милая Женья, говори все, что есть! Ты вѣдь знаешь, что я человекъ свой и никогда не выдамъ. А можетъ-быть, и впрямь что-нибудь хорошее посоветую. Ну, бухъ съ моста въ воду — начинай!

— Вотъ я именно и не знаю, какъ начать-то, — сказала Женька нерѣшительно. — Вотъ что, Сергѣй Ивановичъ, больная я... Понимаете? — нехорошо больна... Самою гадкою болѣзнью... Вы знаете. — какой?

— Дальше! — сказали Платоновъ, кивнувъ головой.

— И давно это у меня... больше мѣсяца... можетъ-быть, полтора... Да больше, чѣмъ мѣсяць, потому что я только на Троицу узнала объ этомъ...

Платоновъ быстро потеръ добъ рукою

— Подожди, я вспомнилъ... Это въ тотъ день, когда я тамъ былъ вмѣстѣ со студентами... Не такъ ли?

— Вѣрно, Сергѣй Ивановичъ, такъ...

— Ахъ, Женька, — сказалъ Платоновъ укоризненно и съ сожалѣніемъ. — А вѣдь знаешь, что послѣ этого двое студентовъ заболѣли... Не отъ тебя ли?

Женька гнѣвно и презрительно сверкнула глазами.

— Можетъ-быть, и отъ меня... Почему я знаю? Ихъ много было... Помню, вотъ этотъ былъ, который еще все лѣзъ съ вами подрасться... Высокій такой, бѣлокурый, въ пенснэ...

— Да, да... Это — Собашниковъ. Мнѣ передавали... Это — онъ... Ну, этотъ еще ничего — фатишка! А вотъ другой, — того мнѣ жаль. Я хоть давно его знаю, но какъ-то никогда не справлялся толкомъ объ его фамиліи... Помню только, что онъ происходитъ отъ какого-то города — Поллнска... Звенигородска... Товарищи его звали Рамзесъ...

Когда врач, — ошъ къ нѣсколькимъ врачамъ обращался, — когда они сказали ему безповоротно, что онъ боленъ люэсомъ, онъ пошелъ домой и застрѣдился... И въ запискѣ, которую онъ написалъ, были удивительныя слова, приблизительно такія: „Я полагаю весь смыслъ жизни въ торжествѣ ума, красоты и добра, съ этой же болѣзнью я не человѣкъ, а рухлядь, гниль, падалъ, кандидатъ въ прогрессивныя паралитики. Съ этимъ не мирится мое человеческое достоинство. Виноватъ же во всемъ случившемся, а значить и въ моей смерти, только одинъ я, потому что, повинувшись минутному скотскому влеченію, взялъ женщину безъ любви за деньги. Потому я и заслужилъ наказаніе, которое самъ на себя палагаю...“ Мнѣ его очень жалъ... — прибавилъ Платоновъ тихо.

Женька раздула ноздри.

— А мнѣ вотъ ни чуточки.

— Напрасно... Ты теперь, малый, уйди. Когда нужно будетъ, я тебя покричу, — сказалъ Платонъ служащему. — Совсѣмъ напрасно, Женька! Это былъ необыкновенно крупный и сильный человѣкъ. Такіе попадаются одинъ на сотни тысячъ. Я не уважаю самоубійцъ. Чаще всего это мальчишки, которые стрѣляются и вѣшаются по пустякамъ, подобно ребенку, которому не дали конфетку, и онъ бьется на зло окружающимъ объ стѣну. Но передъ его смертью я благоговѣнно и съ горечью склоняю голову. Онъ былъ умный, щедрый, ласковый человѣкъ, внимательный ко всѣмъ и, какъ видишь, слишкомъ строгій къ себѣ.

— А мнѣ это рѣшительно все равно, — упрямо возразила Женька: — умный или глупый, честный или нечестный, старый или молодой, — я ихъ всѣхъ возненавидѣла! Потому что, — погляди на меня, — что я такое? Какая-то всемірная плевательница, помойная яма, отхожее мѣсто. Подумай, Платоновъ, вѣдь тысячи, тысячи человѣкъ брали меня, хватали, хрюкали, сопѣли надо мной, и всѣхъ тѣхъ,

которые были, и тѣхъ, которые могли бы еще быть на моей постели,—ахъ! какъ ненавижу я ихъ всѣхъ! Если бы могла, я осудила бы ихъ на пытку огнемъ и желѣзомъ!.. Я велѣла бы..

Ты злая и гордая, Женя,—тихо сказалъ Платоновъ.

— Я была и не злая и не гордая... Это только теперь. Мнѣ не было десяти лѣтъ, когда меня продала родная мать, и съ тѣхъ поръ я пошла гулять по рукамъ... Хоть бы кто-нибудь во мнѣ увидѣлъ человѣка! Нѣтъ!.. Гадина, отребье, хуже ницаго, хуже вора, хуже убійцы!.. Даже палачъ—у насъ и такіе бывають въ заведеніи—и тотъ отнесся ко мнѣ свысока, съ омерзѣніемъ: я — ничто, я — публичная дѣвка! Понимаете ли вы, Сергій Ивановичъ, какое это ужасное слово? Пу-бли-чная!.. Это значить ничья: ни своя, ни папина, ни мамина, ни русская, ни рязанская, а просто — публичная! И никому ни разу въ голову не пришло подойти ко мнѣ и подумать: а вѣдь это тоже человѣкъ, у него сердце и мозгъ, онъ о чемъ-то думаетъ, что-то чувствуетъ, вѣдь онъ сдѣланъ не изъ дерева и набитъ не соломой, трухой или мочалкой! И все-таки это чувствую только я. Я, можетъ-быть, одна изъ нихъ всѣхъ, которая чувствуетъ ужасъ своего положенія, эту черную, воющую грязную яму. Но вѣдь всѣ дѣвушки, съ которыми я встрѣчалась и съ которыми вотъ теперь живу,—поймите, Платоновъ, поймите меня! — вѣдь онѣ ничего не сознають!.. Говорящіе, ходящіе куски мяса! И это еще хуже, чѣмъ моя злоба!..

— Ты права! — тихо сказалъ Платоновъ, — и вопросъ этотъ такой, что съ нимъ всегда упрешься въ стѣну. Вамъ никто не поможетъ...

— Никто, никто!.. — страстно воскликнула Женя. — Помнишь ли, — при тебѣ это было: увезъ студентъ нашу Любку...

— Какъ же, хорошо помню!.. Ну и что же?

— А то, что вчера она вернулась обтреспанная, мокрая... Плачетъ... Бросилъ, подлецъ!.. Поигралъ въ доброту, да и за щеку! Ты, говоритъ, сестра! Я, говоритъ, тебя спасу, и тебя сдѣлаю человѣкомъ...

— Неужели такъ?

— Такъ!.. Одного человѣка я и видѣла, ласковаго и снисходительнаго, безъ всякихъ кобелиныхъ расчетовъ,— это тебя. Но вѣдь ты совсѣмъ другой. Ты какой-то странный. Ты все гдѣ-то бродишь, ищешь чего-то... Вы простите меня, Сергѣй Ивановичъ, вы блаженненькій какой-то!.. Вотъ потому-то я къ вамъ и пришла, къ вамъ одному!..

— Говори, Женечка...

— И вотъ, когда я узнала, что больна, я чуть съ ума не сошла отъ злобы, задохлась отъ злобы... Я подумала: вотъ и копецъ, стало-быть, нечего жалѣть больше, не о чемъ печалиться, нечего ждать... Крышка!.. Но за все, что я перенесла,—неужели нѣтъ отплаты? Неужели нѣтъ справедливости на свѣтѣ? Неужели я не могу наслаждаться хоть местию? — за то, что я никогда не знала любви, о семьѣ знаю только по наслыжкѣ, что меня, какъ поскудную собачонку, подзываютъ, погладятъ и потомъ сапогомъ по головѣ — пошла прочь! — что меня сдѣлали изъ человѣка, равнаго всѣмъ имъ, не глуше всѣхъ, кого я встрѣчала, сдѣлали половую тряпку, какую-то сточную трубу для ихъ пакостныхъ удовольствій?.. Тьфу!.. Неужели за все это я должна еще принять и такую болѣзнь съ благодарностью?.. Или я раба? Безсловесный предметъ?.. Вьючная кляча?.. И вотъ, Платоновъ, тогда-то я и рѣшила заражать ихъ всѣхъ,—молодыхъ, старыхъ, бѣдныхъ, богатыхъ, красивыхъ, уродливыхъ,—всѣхъ, всѣхъ, всѣхъ!..

Платоновъ, давно уже отставившій отъ себя тарелку, глядѣлъ на нее съ изумленіемъ и даже больше—почти съ ужасомъ. Ему, видѣвшему въ жизни много тяжелаго, грязнаго, порою даже кроваваго, — ему стало страшно живот-

нымъ страхомъ передъ этимъ напряженіемъ громадной, не излившейся ненависти. Очнувшись, онъ сказалъ:

— Одинъ великій французскій писатель рассказываетъ о такомъ случаѣ. Пруссакъ завоевали французовъ и всячески издѣвались надъ ними: разстрѣливали мужчинъ, насилывали женщинъ, грабили дома, поля сжигали... И вотъ одна красивая женщина, француженка, очень красивая, заразившись, стала на зло заражать всѣхъ нѣмцевъ, которые попадали къ ней въ объятія. Она сдѣлала больными цѣлыя сотни, можетъ-быть, даже тысячи... И когда она умирала въ госпиталѣ, она съ радостью и съ гордостью вспоминала объ этомъ... Но вѣдь то враги, попиравшіе ея отечество и избивавшіе ея братьевъ... Но ты, ты, Женечка?..

— А я всѣхъ, именно всѣхъ! Скажите мнѣ, Сергій Ивановичъ, по совѣсти только скажите: если бы вы нашли на улицѣ ребенка, котораго кто-то обезчестилъ, надругался надъ нимъ... ну, скажемъ, выкололъ бы ему глаза, отрѣзала уши,—и вотъ вы бы узнали, что этотъ человѣкъ сейчасъ проходитъ мимо васъ и что только одинъ Богъ, если только Онъ есть, смотритъ на васъ въ эту минуту съ небеси,—что бы вы сдѣлали?

— Не знаю,—отвѣтилъ глухо и потупившись Платоновъ, но онъ поблѣднѣлъ, и пальцы его подъ столомъ судорожно сжались въ кулаки.—Можетъ-быть, убилъ бы его...

— Не „можетъ-быть“, а навѣрно! Я васъ знаю, я васъ чувствую. Ну, а теперь подумайте: вѣдь надъ каждой изъ насъ такъ надругались, когда мы были дѣтьми!.. Дѣтьми!—страстно простонала Женька и закрыла на мгновение глаза ладонью.—Объ этомъ вѣдь, помнится, и вы какъ-то говорили у насъ, чуть ли не въ тотъ самый вечеръ, на Троицу... Да, дѣтьми, глупыми, довѣрчивыми, слѣпыми, жадными, пустыми... И не можемъ мы вырваться изъ своей лямки,—куда пойдешь? что сдѣлаешь?.. И вы не думайте, пожалуйста, Сергій Ивановичъ, что во мнѣ сильна злоба только

къ тѣмъ, кто имѣно меня, лично меня обижали... Нѣтъ, вообще ко всѣмъ нашимъ гостямъ, къ этимъ кавалерамъ, отъ мала до велика... Ну и вотъ я рѣшилась мстить за себя и за своихъ сестеръ. Хорошо это или нѣтъ?..

— Женечка, я, право, не знаю... Я не могу... я ничего не смѣю сказать... Я не понимаю.

— Но я не въ этомъ главное... А главное вотъ въ чемъ... Я ихъ заражала и не чувствовала ничего—ни жалости, ни раскаянія, ни вины передъ Богомъ или передъ отечествомъ. Во мнѣ была только радость, какъ у голоднаго волка, который дорвался до крови... Но вчера случилось что-то, чего и я не могу понять. Ко мнѣ пришелъ гимназистъ, совѣтъ мальчишка, глупый, желторотый... Онъ ко мнѣ ходилъ еще съ прошлой зимы... И вотъ вдругъ я пожалѣла его... Не оттого, что онъ былъ очень красивъ и очень молодъ, и не оттого, что онъ всегда былъ очень вѣжливъ, пожалуй, даже нѣжель... Нѣтъ, у меня бывали и такіе и такіе, но я не щадила ихъ: я съ наслажденіемъ отмѣчала ихъ, точно скотину, раскаленнымъ клеймомъ... А этого я вдругъ пожалѣла... Я сама не понимаю,—почему? Я не могу разобратъся. Мнѣ казалось, что это все равно, что украсть деньги у дурачка, у идиотика, или ударить слѣпого, или зарѣзать спящаго... Если бы онъ былъ какой-нибудь заморышъ худосочный или поганенькій, блудливый старикашка, я не остановилась бы. Но онъ былъ здоровый, крѣпкій, съ грудью и съ руками, какъ у статуи... и я не могла... Я отдала ему деньги, показала ему свою болѣзнь, словомъ, была дура-дура. Онъ ушелъ отъ меня... расплакался... И вотъ со вчерашняго вечера я не спала. Хожу какъ въ туманѣ... Стало-быть,—думаю я вотъ теперь, — стало-быть, то, что я задумала, моя мечта заразить ихъ всѣхъ, заразить ихъ отцовъ, матерей, сестеръ, невѣсть, — хоть весь міръ,—стало-быть, это все было глупостью, пустой фантазійей, разъ я остановилась?.. Опять-таки я ничего не пони-

...аю... Сергѣй Ивановичъ, вы такой умный, вы такъ много видѣли въ жизни,—помогите же мнѣ найти теперь себя!..

— Не знаю, Женечка! — тихо произнесъ Платоновъ.— Не то что я боюсь говорить тебѣ или совѣтовать, но я совсѣмъ ничего не знаю. Это выше моего разсудка... выше совѣсти...

Женя скрестила пальцы съ пальцами и нервно хрустнула ими.

— И я не знаю... Стало-быть, то, что я думала, — неправда?.. Стало-быть, мнѣ остается только одно... Эта мысль сегодня утромъ пришла мнѣ въ голову...

— Не дѣлай, не дѣлай этого, Женечка!.. Женя!..—быстро перебилъ ее Платоновъ.

— ...Одно: повѣситься...

— Нѣтъ, нѣтъ, Женя, только не это!.. Будь другія обстоятельства, непреоборимыя, я бы, повѣрь, смѣло сказала тебѣ: ну что же, Женя, пора кончить базаръ... Но тебѣ вовсе не это нужно... Если хочешь, я подскажу тебѣ одинъ выходъ, не менѣе злой и безпощадный, но который, можетъ-быть, во сто разъ больше насытитъ твой гнѣвъ...

— Какой это? — устало спросила Женя, сразу точно увидшая послѣ своей вспышки.

— А вотъ какой... Ты еще молода и, по правдѣ я тебѣ скажу, ты очень красива, т.-е. ты можешь быть, если захочешь, необыкновенно эффектной... Это даже больше, чѣмъ красота. Но ты еще никогда не знала размѣровъ и власти своей наружности, а главное, ты не знаешь, до какой степени обаятельны такія натуры, какъ ты, и какъ онѣ властно приковываютъ къ себѣ мужчинъ и дѣлаютъ изъ нихъ больше чѣмъ рабовъ и скотовъ... Ты гордая, ты смѣлая, ты независимая, ты умница. Я знаю: ты много читала, предположимъ даже—дрянныхъ книжекъ, но все-таки читала, у тебя лзыкъ совсѣмъ другой, чѣмъ у другихъ. При удачномъ оборотѣ жизни ты можешь вылѣчиться, ты можешь уйти

изъ этихъ „ямковъ“ на свободу. Тебѣ стѣитъ только пальцемъ пошевелинуть, чтобы видѣть у своихъ ногъ сотни мужчинъ, покорныхъ, готовыхъ для тебя на подлость, на воровство, на растрату... Владѣй ими на тугихъ поводьяхъ, съ жестокимъ хлыстомъ въ рукахъ!.. Разорй ихъ, своди съ ума, пока у тебя хватитъ желанія и энергій!.. Посмотри, милая Женя, кто ворочаетъ теперь жизнью, какъ не женщины! Вчерашняя горничная, прачка, хористка раскусываютъ миллионныя состоянія, какъ тверская баба подсолнушки. Женщина, едва умѣющая подписать свое имя, вліяетъ иногда черезъ мужчину на судьбу цѣлаго королевства. Наслѣдные принцы женятся на вчерашнихъ потаскушкахъ, содержанкахъ. Женечка, вотъ тебѣ просторъ для твоей необузданной мести, а я полюбуюсь тобой издали... А ты,—ты замѣшана именно изъ этого тѣста—хищницы, разорительницы... Можетъ-быть, не въ такомъ размахѣ, но ты бросишь ихъ себѣ подъ ноги.

— Нѣтъ, — слабо улынулась Женька.—Я думала объ этомъ раньше... Но выгорѣло во мнѣ что-то главное. Нѣтъ у меня силъ, нѣтъ у меня воли, нѣтъ желаній... Я вся какая-то пустая внутри, тухлая... Да вотъ, знаешь, бываетъ грибокъ такой — бѣлый, круглый, — сожмешь его, а оттуда нюхательный порошокъ сыплется. Такъ и я. Все во мнѣ эта жизнь выѣла кромѣ злости. Да и вялая я, и злость моя вялая... Опять увижу какого-нибудь мальчишку, пожалѣю, опять буду казнить... Нѣтъ, ужъ... лучше такъ!..

Она замолчала. И Платоновъ не зналъ, что сказать. Стало обоимъ тяжело и неловко. Наконецъ Женька встала и, не глядя на Платонова, протянула ему холодную слабую руку.

— Прощайте, Сергѣй Ивановичъ! Простите, что я отняла у васъ время... Что же, я сама вижу, что вы помогли бы мнѣ, если бы сумѣли... Но ужъ, видно, тутъ ничего не попишешь... Прощайте!..

Только глупости не дѣлай, Женечка! Умоляю тебя!..
Ладно ужъ!—сказала она и устало махнула рукой.

Выйдя из сквера, они разошлись, но, пройдя нѣсколько шаговъ, Женька вдругъ окликнула его:

— Сергѣй Ивановичъ, а Сергѣй Ивановичъ!..

Онъ остановился, обернулся, подошелъ къ ней.

— Ванька-Встанька у насъ вчера подохъ въ залѣ. Прыгаль-прыгаль, а потомъ вдругъ и окочурился... Чтò жъ, по крайней мѣрѣ, легкая смерть! И еще я забыла васъ спросить, Сергѣй Ивановичъ... Это ужъ послѣднее... Есть Богъ или нѣтъ?

Платоновъ нахмурился.

— Чтò я тебѣ отвѣчу? Не знаю. Думаю, что есть, но не такой, какъ мы Его воображаемъ. Онъ—больше, мудрѣе, справедливѣе...

— А будущая жизнь? Тамъ, послѣ смерти? Вотъ, говорятъ, рай есть, или адъ? Правда это? Или ровно ничего? Пустышка? Сонъ безъ сна? Темный подвалъ?

Платоновъ молчалъ, стараясь не глядѣть на Женьку. Ему было тяжело и страшно.

— Не знаю, — сказалъ онъ наконецъ съ усиленіемъ. — Не хочу тебѣ врать.

Женька вздохнула и улыбнулась жалкой кривой улыбкой.

— Ну, спасибо, мой милый. И на томъ спасибо... Желаю вамъ счастья. Отъ души. Ну, прощайте...

Она отвернулась отъ него и стала медленно, колеблющейся походкой взбираться въ гору.

Платоновъ какъ разъ вернулся на работу во-время. Босая, почесываясь, позѣвывая, разминалъ свои привычные вывихи, становилась по мѣстамъ. Заворотный издали своими зоркими глазами увидалъ Платонова и закричалъ на весь портъ:

— Пospѣлъ-таки, сутулый чортъ!.. А я ужъ хотѣлъ тебя за хвостъ и изъ компаніи вонъ... Ну, становись!..

— И кобель же ты у меня, Сережка!.. Хоша бы ночью, а то, — гляди-ка, среди бѣла дня захороводилъ...

XXII

Суббота была обычнымъ днемъ докторскаго осмотра, къ которому во всѣхъ домахъ готовились очень тщательно и съ трепетомъ, какъ, впрочемъ, готовятся и дамы изъ общества, собираясь съ визитомъ къ врачу-специалисту: старательно дѣлали свой интимный туалетъ и непременно надѣвали чистое нижнее бѣлье, даже по возможности болѣе нарядное. Окна на улицу были закрыты ставнями, а у одного изъ тѣхъ оконъ, что выходили во дворъ, поставили столъ съ твердымъ валикомъ подъ спину.

Всѣ дѣвушки волновались... — „А вдругъ болѣзнь, которую сама не замѣтила?.. А тамъ отправка въ больницу, позоръ, скука больничной жизни, плохая пища, тяжелое лѣченіе...“

Только Манька Большая, или, иначе, Манька-Крокодилъ, Зоя и Генріетта—тридцатилѣтнія, значить, уже старыя по ямскому счету проститутки, все видѣвшія, ко всему претерпѣвшіяся, равнодушныя въ своемъ дѣлѣ, какъ бѣлыя жирныя цирковыя лошади, оставались невозмутимо-спокойными. Манька-Крокодилъ даже часто говорила о самой себѣ:

И огонь и воду прошла и мѣдныя трубы... Ничто уже больше ко мнѣ не прилипнетъ.

Женька съ утра была кротка и задумчива. Подарила Манькѣ Вѣленькой золотой браслетъ, медальонъ на тоненькой цѣпочкѣ со своей фотографіей и серебряный нашийный крестикъ. Тамару упросила взять на память два кольца: одно серебряное раздвижное о трехъ обручахъ, въ серединѣ сердце, а подъ нимъ двѣ руки, которыя сжимали одна другую, когда всѣ три части кольца соединялись, а другое—изъ золотой тонкой проволоки съ алмаздиномъ.

— А мое бѣлье, Тамарочка, отдай Аннушкѣ горничной. Пусть выстираетъ хорошенько и носитъ на здоровье, на память обо мнѣ.

Онъ были вдвоемъ въ комнатѣ Тамары. Женька съ утра еще послала за конькомъ и теперь медленно, точно лѣниво, тянула рюмку за рюжкой, закусывая лимономъ съ кусочкомъ сахара. Въ первый разъ это наблюдала Тамара и удивлялась, потому что всегда Женька была не охотница до вина и пила очень рѣдко и то только по принужденію гостей.

— Чтò это ты сегодня такъ раздарилась, — спросила Тамара, — точно умирать собралась или въ монастырь итти?..

— Да я и уйду, — отвѣтила вяло Женька. — Скучно мнѣ, Тамарочка!..

— Кому же весело изъ насъ?

— Да нѣтъ!.. Не то что скучно, а какъ-то мнѣ все—все равно... Гляжу вотъ я на тебя, на столъ, на бутылку, на свои руки и ноги и думаю, что все это одинаково и все ни къ чему... Нѣтъ ни въ чемъ смысла... Точно на какой-то старой-престарой картинѣ. Вотъ смотри: идетъ по улицѣ солдатъ, а мнѣ все равно, какъ будто завели куклу и она двигается... И что мокро ему подъ дождемъ, мнѣ тоже все равно... И что онъ умретъ и я умру, и ты, Тамара, умрешь, — тоже въ этомъ я не вижу ничего ни страшнаго ни удивительнаго... Такъ все для меня просто и скучно...

Женька помолчала, выпила еще рюмку, пососала сахаръ и, все еще глядя на улицу, вдругъ спросила:

— Скажи мнѣ, пожалуйста, Тамара, я вотъ никогда еще тебя объ этомъ не спрашивала, откуда ты къ намъ поступила сюда, въ домъ? Ты совсѣмъ непохожа на всѣхъ насъ, ты все знаешь, у тебя на всякій случай есть хорошее, умное слово... Вонъ и по-французски какъ ты тогда говорила хорошо! А никто изъ насъ о тебѣ ровно ничего не знаетъ... Кто ты?

— Милая Женька, право, не стòитъ... Жизнь какъ жизнь... Была институткой, гувернанткой была, въ хорѣ пѣла, потомъ тиръ въ лѣтнемъ саду держала, а потомъ

спуталась съ однимъ шарлатаномъ и сама научилась стрѣлять изъ винчестера... По циркамъ ѣздила,—американскую амазонку изображала. Я прекрасно стрѣляла... Потомъ въ монастырь попала. Тамъ пробыла года два... Много было у меня... Всего не упомнишь... Воровала.

— Много ты пожила... пестрѣ...

— Мнѣ и лѣтъ-то не мало. Ну, какъ ты думаешь, — сколько?

— Двадцать два, двадцать четыре?..

— Нѣтъ, ангель мой! Тридцать два ровно стукнуло недѣлю тому назадъ. Я пожалуй что старше всѣхъ васъ здѣсь, у Анны Марковны. Но только ничему я не удивлялась, ничего не принимала близко къ сердцу. Какъ видишь, не пью никогда... Занимаюсь очень бережно уходомъ за своимъ тѣломъ, а главное, самое главное—не позволяю себѣ никогда увлекаться мужчинами...

— Ну, а Сенька твой?..

— Сенька—это особая статья: сердце бабѣ глупое, нелѣпое... Развѣ оно можетъ жить безъ любви? Да и не люблю я его, а такъ... самообманъ... А впрочемъ, Сенька мнѣ скоро очень понадобится.

Женька вдругъ оживилась и съ любопытствомъ поглядѣла на подругу:

— Но здѣсь-то, въ этой дырѣ, какъ ты застряла? — умница, красивая, обходительная такая...

— Долго рассказывать... Да и лѣнь... Попала я сюда изъ-за любви: спуталась съ однимъ молодымъ человѣкомъ и дѣлала съ нимъ вмѣстѣ „революцію“. Вѣдь мы всегда такъ поступаемъ, женщины: куда милый смотритъ, туда и мы, чтò милый видитъ, то и мы... Не вѣрила я душой-то въ его дѣло, а пошла. Лстивый былъ человѣкъ, умный, говорунъ, красавецъ... Только оказался онъ потомъ подлецомъ и предателемъ. Игралъ въ революцію, а самъ товарищей выдавалъ жандармамъ. Провокаторомъ былъ. Какъ его убили и

разоблачили. такъ съ меня и вся дурь соскочила. Однако пришлось скрываться... Паспортъ перемѣнила. Тутъ мнѣ посоветовали, что легче всего прикрыться желтымъ билетомъ... А тамъ и пошло!.. Да и здѣсь я въ родѣ какъ на подножномъ корму: придетъ время, удастся у меня минутка,—уйду!

— Куда?—съ нетерпѣніемъ спросила Женья.

— Свѣтъ великъ... А я жизнь люблю!.. Вотъ я такъ же и въ монастырѣ: жила, жила, пѣла антифоны и задостойники, пока не отдохнула, не соскучилась вконецъ, а потомъ сразу—хопъ! и въ кафешантанъ... Хорошъ скачокъ? Такъ и отсюда... Въ театръ пойду, въ циркъ, въ кордебалетъ... а больше, знаешь, тянетъ меня, Жепечка, все-таки воровское дѣло... Смылое, опасное, жуткое и какое-то пьяное... Тянетъ!... Ты не гляди на меня, что я такая приличная и скромная и могу казаться воспитанной дѣвицей. Я совсѣмъ-совсѣмъ другая.

У нея вдругъ ярко и весело вспыхнули глаза.

— Во мнѣ дьяволъ живетъ!

— Хорошо тебѣ! — задумчиво и съ тоской произнесла Женья,—ты хоть хочешь чего-нибудь, а у меня душа дохлая какая-то... Вотъ мнѣ двадцать лѣтъ, а душа у меня старушечья, сморщенная, землей пахнетъ... И хоть бы пожила бы толкомъ!.. Тьфу!.. Только слякоть какая-то была.

— Брось, Женья, ты говоришь глупости. Ты умна, ты оригинальна, у тебя есть та особенная сила, передъ которой такъ охотно ползаютъ и пресмыкаются мужчины. Уходи отсюда и ты. Не со мной, конечно, — я всегда одна, — а уйди сама по себѣ.

Женька покачала головой и тихо, безъ слезъ, спрятала свое лицо въ ладоняхъ.

— Нѣтъ, — отозвалась она глухо послѣ долгаго молчанія,—нѣтъ, у меня это не выходитъ: изжевала меня судьба!.. Не человекъ я больше, а какая-то поганая жвачка... Эхъ!—вдругъ махнула она рукой.—„Выпьемъ-ка, Жечечка, лучше

коньячку,—обратилась она сама къ себѣ,—и пососемъ лимончикъ!..“ Брр... гадость какая!.. И гдѣ это Аннушка всегда такую мерзость достанетъ? Собакѣ шерсть если помазать, такъ обליняетъ... И всегда подлая полтинникъ лишній возьметъ. Разъ я какъ-то спрашиваю ее, — зачѣмъ деньги копишь?—„А я,—говоритъ, — на свадьбу коплю. Чтò жъ, — говоритъ,—будетъ мужу моему за радость, что я ему одну свою невинность преподнесу! Надо еще сколько-нибудь сотенъ приработать“. Счастливая она!.. Тутъ у меня, Тамара, денегъ немножко есть, въ ящичкѣ подъ зеркаломъ, ты ей передай, пожалуйста...

— Да чтò ты, дура, помирать, что ли, хочешь?—рѣзко, съ упрекомъ сказала Тамара.

— Нѣтъ, я такъ, на всякій случай... Возьми-ка, возьми деньги! Можетъ-быть, меня въ больницу заберутъ... А тамъ какъ знать, чтò произойдетъ? Я мелочь себѣ оставила на всякій случай... А чтò же, если и въ самомъ дѣлѣ, Тамарочка, захотѣла бы что-нибудь надъ собой сдѣлать, неужели ты стала бы мѣшать мнѣ?

Тамара поглядѣла на нее пристально, глубоко и спокойно. Глаза Женьки были печальны и точно пусты. Живой огонь погасъ въ нихъ, и они казались мутными, точно выпѣтшими, съ бѣлками, какъ лунный камень.

— Нѣтъ,—сказала наконецъ тихо, но твердо Тамара.— Если бы изъ-за любви—помѣшала бы, если бы изъ-за денегъ—отговорила бы, но есть случаи, когда мѣшать нельзя. Способствовать, конечно, не стала бы, но и цѣпляться за тебя и мѣшать тебѣ тоже не стала бы.

Въ это время по коридору пронеслась съ крикомъ быстроногая экономка Зося:

— Барышни, одѣвайтесь!—докторъ пріѣхалъ... Барышни, одѣвайтесь!.. Барышни, живо!..

— Ну, иди, Тамара, иди!—ласково сказала Женька, вставая.—Я къ себѣ зайду на минутку,—я еще не пере-

одѣвалась, хоть, правда, это тоже все равно. Когда будутъ меня вызывать, и если я не послѣю, крикни, сбѣгай за мной.

И, уходя изъ Тамариной комнаты, она какъ будто незначай обняла ее за плечо и ласково погладила.

Докторъ Клименко—городской врачъ—приготовлялъ въ залѣ все необходимое для осмотра: растворъ сулемы, вазелинъ и другія вещи, и все это разставлялъ на отдѣльномъ маленькомъ столикѣ. Здѣсь же у него лежали и бѣлые бланки дѣвушекъ, замѣнявшіе имъ паспорта, и общій алфавитный списокъ. Дѣвушки, одѣтыя только въ сорочки, чулки и туфли, стояли и сидѣли въ отдаленіи. Ближе къ столу стояла сама хозяйка—Анна Марковна, а немножко сзади ея—Эмма Эдуардовна и Зося.

Докторъ, старый, опустившійся, грязноватый, ко всему равнодушный человекъ, надѣлъ криво на носъ пенснэ, поглядѣлъ въ списокъ и выкрикнулъ:

— Александра Будзинская!..

Вышла нахмуренная, маленькая, курносая Нина. Сохранила на лицѣ сердитое выраженіе и сопя отъ стыда, отъ сознанія своей собственной неловкости и отъ усилій, она неуклюже встѣла на столъ и легла ногами къ свѣту. Зося поправила ей привычнымъ движеніемъ подъ спиной валикъ. Докторъ, щурясь черезъ пенснэ и поминутно роняя его, произвелъ осмотръ. Затѣмъ велѣлъ ей стать на полъ и открыть ротъ. Посмотрѣвъ въ горло, для чего крѣпко придавилъ ложечкой языкъ, онъ скомадовалъ:

— Иди!.. Здорова.

И на оборотной сторонѣ бланка отмѣтилъ: „двадцать восьмого августа. Здорова“ и поставилъ каракульку. И, когда еще не кончилъ писать, крикнулъ:

— Вощенкова, Ирина!..

Теперь была очередь Любки. Она за эти прошедшіе полтора мѣсяца своей сравнительной свободы успѣла уже

отвыкнуть отъ этихъ еженедѣльныхъ осмотровъ, и когда докторъ завернулъ ей на грудь рубашку, она вдругъ покраснѣла такъ, какъ умѣютъ краснѣть только очень стыдливыя женщины,—даже спиной и грудью.

За нею была очередь Зои, потомъ Маньки Бѣленькой, затѣмъ Тамары и Нюрки, у которой докторъ нашелъ горючку и велѣлъ отправить въ больницу.

Докторъ производилъ осмотръ съ удивительной быстротой. Вотъ уже около двадцати лѣтъ какъ ему приходилось каждую недѣлю по субботамъ осматривать такимъ образомъ нѣсколько сотенъ дѣвушекъ, и у него выработалась та привычная техническая ловкость и быстрота, спокойная небрежность въ движеніяхъ, которая бываетъ часто у цирковыхъ артистовъ, у карточныхъ шуллеровъ, у носильщиковъ и ушаковщиковъ мебели и у другихъ профессионаловъ. И производилъ онъ свои манипуляціи съ такимъ же спокойствіемъ, съ какимъ гуртовщикъ или ветеринаръ осматриваютъ въ день нѣсколько сотенъ головъ скота.

Думалъ ли онъ когда-нибудь о томъ, что передъ нимъ живые люди, или о томъ, что онъ является послѣднимъ и самымъ главнымъ звеномъ той страшной цѣпи, которая называется узаконенной проституціей?..

Нѣтъ! Если и испытывалъ, то, должно-быть, въ самомъ началѣ своей карьеры. Теперь передъ нимъ были только голые животы, голыя спины и открытые рты. Ни одного экземпляра изъ этого ежесубботняго безликаго стада онъ не узналъ бы впоследствии на улицѣ. Главное, надо было какъ можно скорѣе окончить осмотръ въ одномъ заведеніи, чтобы перейти въ другое, третье, десятое, двадцатое...

— Сусанна Райцына!—выкрикнулъ наконецъ докторъ.

Никто не подходилъ къ столу.

Всѣ обитательницы дома переглянулись и зашептались:

— Женька... Гдѣ Женька?

Но ея не было среди дѣвушекъ.

Тогда Тамара, только-что отпущенная докторомъ, выдвинулась немного впередъ и сказала:

— Ея нѣтъ. Она не успѣла еще приготовиться. Извините, господинъ докторъ. Я сейчасъ пойду позову ее.

Она побѣжала въ коридоръ и долго не возвращалась. Слѣдомъ за нею пошла сначала Эмма Эдуардовна, потомъ Зоя, нѣсколько дѣвушекъ и даже сама Анна Марковна

— Пфуй! Что за безобразіе!..—говорила въ коридорѣ величественная Эмма Эдуардовна, дѣлая негодующее лицо.—И вѣчно эта Женька!.. Постоянно эта Женька!.. Кажется, мое терпѣніе уже лопнуло...

Но Женьки нигдѣ не было—ни въ ея комнатѣ ни въ Тамариной. Заглянули въ другія каморки, во всѣ закоулки... Но и тамъ ея не оказалось.

— Надо поглядѣть въ ватеръ... Можетъ-быть, она тамъ,—догадалась Зоя.

Но это учрежденіе было заперто изнутри на задвижку. Эмма Эдуардовна постучалась въ дверь кулакомъ.

— Женя, да выходите же вы! Что это за глупости?!

И, возвысивъ голосъ, крикнула нетерпѣливо и съ угрозой:

— Слышишь, ты, свинья?.. Сейчасъ же иди—докторъ ждетъ!

Не было никакого отвѣта.

Всѣ переглянулись со страхомъ въ глазахъ, съ одной и той же мыслью въ умѣ.

Эмма Эдуардовна потрясла дверь за мѣдную ручку, но дверь не подалась.

— Сходите за Симеономъ!—распорядилась Анна Марковна.

Позвали Симеона... Онъ пришелъ, по обыкновенію, заspanный и хмурый. По растеряннымъ лицамъ дѣвушекъ и экономокъ онъ уже видѣлъ, что случилось какое-то недоразумѣніе, въ которомъ требуется его профессиональная жестокость и сила. Когда ему объяснили, въ чемъ дѣло,

онъ молча взялся своими длинными обезьяньими руками за дверную ручку, уперся въ стѣну ногами и рвануль.

Ручка осталась у него въ рукахъ, и самъ онъ, отшатнувшись назадъ, едва не упалъ спиной на полъ.

— А-а, чортъ!—глухо заворчалъ онъ.—Дайте мнѣ столовый ножикъ.

Сквозь щель двери столовымъ ножомъ онъ прощупалъ внутреннюю задвижку, обстругалъ немного лезвиемъ края щели и распирилъ ее такъ, что могъ просунуть наконецъ туда кончикъ ножа, и сталъ понемногу отскребать назадъ задвижку. Всѣ слѣдили за его руками, не двигаясь, почти не дыша. Слышался только скрипъ металла о металлъ.

Наконецъ Симсонъ распахнулъ дверь.

Женька висѣла посреди ватеръ-клозета на шнуркѣ отъ корсета, прикрѣпленномъ къ ламповому крюку. Тѣло ея, уже неподвижное послѣ недолгой агоніи, медленно раскочивалось въ воздухъ и описывало вокругъ своей вертикальной оси едва замѣтные обороты влѣво и вправо. Лицо ея было сине-багрово, и кончикъ языка высовывался между прикушенныхъ и обнаженныхъ зубовъ. Снятая лампа валялась здѣсь же на полу.

Кто-то истерически завизжалъ, и всѣ дѣвушки, какъ испуганное стадо, толпясь и толкая другъ друга въ узкомъ коридорѣ, голая и давясь истерическими рыданіями, кинулись бѣжать.

На крики пришелъ докторъ... Именно пришелъ, а не прибѣжалъ. Увидѣвъ, въ чемъ дѣло, онъ не удивился и не взволновался: за свою практику городского врача онъ посмотрѣлся такихъ вещей, что уже совсѣмъ одеревянѣлъ и окаменѣлъ къ человѣческимъ страданіямъ, ранамъ и смерти. Онъ приказалъ Симеону приподнять немного вверхъ трупъ Женьки и самъ, забравшись на сидѣнье, перерѣзалъ шнурокъ. Для проформы онъ приказалъ отнести

Женьку въ ея бывшую комнату и пробовалъ при помощи того же Симеона произвести искусственное дыханіе, но минутъ черезъ пять махнулъ рукой, поправилъ свое скрившееся на носу пенсне и сказалъ:

— Позовите полицію составить протоколъ.

Опять пришелъ Кербешъ, опять долго шептался съ хозяйкой въ ея маленькомъ кабинетикѣ и опять захрустѣлъ въ карманѣ новой сторублевой

Протоколъ былъ составленъ въ пять минутъ, и Женьку, такую же полуголую, какой она повѣсилась, отвезли въ наемной телѣгѣ въ анатомическій театръ, окутавъ и прикрывъ ее двумя рогожами.

Эмма Эдуардовна первая нашла записку, которую оставила Женька у себя на почномъ столѣикѣ. На листѣ, вырванномъ изъ прихода-расходной книжки, обязательной для каждой проститутки, карандашомъ, наивышмъ круглымъ дѣтскимъ почеркомъ, по которому однако можно было судить, что руки самоубійцы не дрожали въ послѣднія минуты, было написано:

„Въ смерти моей прошу никого не винить. Умираю оттого, что заразилась, и еще оттого, что всѣ люди подлецы и что жить очень гадко. Какъ раздѣлить мои вещи, объ этомъ знаетъ Тамара. Я ей сказала подробно“.

Эмма Эдуардовна обернулась назадъ къ Тамарѣ, которая въ числѣ другихъ дѣвушекъ была здѣсь же, и съ глазами, полными холодной зеленой ненависти, прошипѣла:

— Такъ ты знала, подлая, что она собиралась съдѣлать?.. Знала, гадина?.. Знала и не сказала?..

Она уже замахнулась, чтобы по своему обыкновенію жестоко и расчетливо ударить Тамару, но вдругъ такъ и остановилась съ разинутымъ ртомъ и съ широко раскрывшимися глазами. Она точно въ первый разъ увидѣла Тамару, которая глядѣла на нее твердымъ, гнѣвнымъ,

непереносимо-презрительнымъ взглядомъ и медленно-медленно подымала снизу и наконецъ подняла въ уровень съ лицомъ экономки маленькій, блестящій бѣлымъ металломъ предметъ.

XXIII.

Въ тотъ же день вечеромъ совершилось въ домѣ Анны Марковны очень важное событіе: все учрежденіе—съ землей и съ домомъ, съ живымъ и мертвымъ инвентаремъ — перешло въ руки Эммы Эдуардовны.

Объ этомъ уже давно поговаривали въ заведеніи, по, когда слухи такъ неожиданно, тотчасъ же послѣ смерти Женьки превратились въ явь, дѣвицы долго не могли прійти въ себя отъ изумленія и страха. Онѣ хорошо знали, испытавъ на себѣ власть вѣмки, ея жестокой, неумолимый педантизмъ, ея жадность, высокомѣріе и, наконецъ, ея требовательную, отвратительную любовь то къ одной, то къ другой фавориткѣ. Кромѣ того, ни для кого не было тайной, что изъ пятнадцати тысячъ, которыя Эмма Эдуардовна должна была уплатить прежней хозяйкѣ за фирму и за имущество, треть принадлежала Кербешу, который давно уже велъ съ толстой экономкой полудружескія, полудѣловыя отношенія. Отъ соединенія двухъ такихъ людей, безстыдныхъ, безжалостныхъ и алчныхъ, дѣвушки могли ожидать для себя всякихъ напастей.

Анна Марковна такъ дешево уступила домъ не только потому, что Кербешъ, если бы даже и не зналъ за нею нѣкоторыхъ темныхъ дѣлишекъ, все-таки могъ въ любое время подставить ей ножку и съѣсть безъ остатка. Предлогъ и зацѣпокъ къ этому можно было найти хоть по сту каждый день, и иные изъ нихъ грозили бы не однимъ только закрытіемъ дома, но, пожалуй, и судомъ.

Но, притворяясь, охая и вздыхая, плачась на свою бѣдность, болѣзни и сиротство, Анна Марковна въ душѣ

была рада и такой сдѣлкѣ. Да и то сказать: она давно уже чувствовала приближеніе старческой немощи вмѣстѣ со всякими недугами и жажду полного, ничѣмъ не смущаемаго добродѣтельнаго покоя. Все, о чемъ она не смѣла и мечтать въ ранней молодости, когда она сама еще была рядовой проституткой,—все пришло къ ней теперь само собой, одно къ одному: спокойная старость, домъ — полная чаша на одной изъ уютныхъ, тихихъ улицъ, почти въ центрѣ города, обожаемая дочь Берточка, которая не-сегодня-завтра должна выйти замужъ за почтеннаго человѣка, домовладѣльца и гласнаго городской думы, обеспеченная солиднымъ приданымъ и прекрасными драгоценностями... Теперь можно спокойно, не торопясь, со вкусомъ сладко обѣдать и ужинать, къ чему Анна Марковна всегда питала большую слабость, выпить послѣ обѣда хорошей домашней крѣпкой наливки, а по вечерамъ поиграть въ преферансъ съ уважаемыми знакомыми пожилыми дамами, которыя хоть никогда и не показывали вида, что знаютъ настоящее ремесло старушки, но на самомъ дѣлѣ отлично его знали и не только не осуждали ея дѣла, но даже относились съ уваженіемъ къ тѣмъ громаднымъ процентамъ, которые она зарабатывала на капиталъ. И этими милыми знакомыми, радостью и утѣшеніемъ тихой старости, были: одна — содержательница ссудной кассы, другая — хозяйка бойкой гостиницы около желѣзной дороги, третья — владѣлица небольшого, но очень ходкаго, хорошо извѣстнаго между крупными ворами ювелирнаго магазина и т. д. И про нихъ, въ свою очередь, Анна Марковна знала и могла бы рассказать нѣсколько темныхъ и не особенно законныхъ анекдотовъ, но въ ихъ средѣ было не принято говорить объ источникахъ семейнаго благополучія — цѣнились только ловкость, смѣлость, удача и приличные манеры.

Но и кромѣ того у Анны Марковны, довольно ограниченной умомъ и не особенно развитой, было какое-то уди-

вительное внутреннее чутье, которое всю жизнь позволяло ей безукоризненно, но инстинктивно избѣгать неприятностей и въ-время находить разумные пути. Такъ и теперь, послѣ скоропостижной смерти Вальки-Встаньки и послѣдовавшаго на другой день самоубійства Женьки, она своей бессознательно-проницательной душой предугалала, что судьба, до сихъ поръ благоволившая къ ея публичному дому, посылавшая удачи, отводившая всякія подводныя мели, теперь собирается вернуться къ ней спиною. И она первая отступила.

Говорятъ, что незадолго до пожара въ домѣ или до крушенія корабля умныя, нервныя крысы стаями перебираются въ другое мѣсто. И Анной Марковной руководило то же крысиное, звѣриное пророческое чутье. И она была права: тотчасъ же послѣ смерти Женьки надъ домомъ, бывшимъ Анны Марковны Шайбестъ, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнеръ, точно нависло какое-то роковое проклятіе: смерти, несчастія, скандалы такъ и падали на него безпрестанно, все учащаясь, подобно кровавымъ событіямъ въ шекспировскихъ трагедіяхъ, какъ, впрочемъ, это было и во всѣхъ остальныхъ домахъ Ямъ.

И одной изъ первыхъ, черезъ недѣлю послѣ ликвидаціи дѣла, умерла сама Анна Марковна. Впрочемъ, это часто случается съ людьми, выбитыми изъ привычной тридцатилѣтней колеи: такъ умираютъ чиповники, вышедшіе въ отставку, — люди несокрушимаго здоровья и желѣзной воли; такъ сходятъ быстро со сцены бывшіе биржевые дѣльцы, ушедшіе счастливо на покой, но лишеныя жгучей прелести риска и азарта; такъ быстро старятся, опускаются и дряхлѣютъ и покинувшіе сцену большіе артисты... Смерть ея была смертью праведницы. Однажды за преферансомъ она почувствовала себя дурно, просила подождать, сказала, что приляжетъ на минутку, прилегла въ спальнѣ на кровать, вдохнула глубоко и перешла въ иной міръ, со спокойнымъ лицомъ, съ мирной старческой улыбкой на устахъ.

Исай Саввичъ—вѣрный товарищъ на ея жизненномъ пути, немного забытый, всегда игравшій второстепенную, подчиненную роль—пережилъ ее только на мѣсяцъ.

Берточка осталась единственной наслѣдницей. Она обратила очень удачно въ деньги уютный домъ и также и землю гдѣ-то на окраинѣ города, вышла, какъ и предполагалось, очень счастливо замужъ и до сихъ поръ убѣждена, что ея отецъ велъ крупное коммерческое дѣло по экспорту пшеницы черезъ Одессу и Новороссійскъ въ Малую Азію.

Вечеромъ того дня, когда трупъ Жени увезли въ анатомическій театръ, въ часъ, когда ни одинъ даже случайный гость еще не появлялся на Ямской улицѣ, всѣ дѣвушки, по настоянію Эммы Эдуардовны, собрались въ залѣ. Никто изъ нихъ не осмѣлился роптать на то, что въ этотъ тяжелый день ихъ, еще не оправившихся отъ впечатлѣнія ужасной Женькиной смерти, заставятъ одѣться, по обыкновенію, въ дико-праздничные наряды и итти въ ярко освѣщенную залу, чтобы танцовать, пѣть и заманивать своимъ обнаженнымъ тѣломъ похотливыхъ мужчинъ.

Наконецъ въ залу вошла и сама Эмма Эдуардовна. Она была величественнѣе, чѣмъ когда бы то ни было,—одѣтая въ черное шелковое платье, изъ котораго, точно боевыя башни, выступали ея огромныя груди, на которыя ниспадали два жирныхъ подбородка, въ черныхъ шелковыхъ митенкахъ, съ огромной золотой цѣпью, трижды обмотанной вокругъ шеи и кончавшейся тяжелымъ медальономъ, висѣвшимъ на самомъ животѣ.

— Барышни!.. — начала она внушительно,—я должна... Встать! — вдругъ крикнула она повелительно. — Когда я говорю, вы должны стоя выслушивать меня.

Всѣ переглянулись съ недоумѣніемъ: такой приказъ былъ новостью въ заведеніи. Однако встали одна за другой, перѣшитительно, съ открытыми глазами и ртами.

— Sie sollen... вы должны съ этого дня оказывать мнѣ то уваженіе, которое вы обязаны оказывать вашей хозяйкѣ, — важно и вѣско начала Эмма Эдуардовна. — Начиная отъ сегодня, заведеніе перешло законнымъ порядкомъ отъ нашей доброй и почтенной Анны Марковны ко мнѣ, Эммѣ Эдуардовнѣ Тицнеръ. Я надѣюсь, что мы не будемъ ссориться и вы будете вести себя какъ разумныя, послушныя и благовоспитанныя дѣвушки. Я вамъ буду вмѣсто родная мать, но только помните, что я не потерплю ни лѣности, ни пьянства, ни какихъ-нибудь фантазій или какой-нибудь беспорядокъ. Добрая мадамъ Шайбестъ, надо сказать, держала васъ слишкомъ на мягкихъ вожжахъ. О-о, я буду гораздо строже. Дисциплина über alles... раньше всего. Очень жаль, что русскій народъ, лѣнивый, грізный и глупій, не понимаетъ этого правила, но не безпокойтесь, я васъ научу этому къ вашей же пользѣ. Я говорю „къ вашей пользѣ“ потому, что моя главная мысль — убить конкуренцію Треппеля. Я хочу, чтобы мой кліентъ былъ солидный мужчина, а не какой-нибудь шарлатанъ и оборванецъ, какой-нибудь тамъ студентъ или актерщикъ. Я хочу, чтобы мои барышни были самыя красивыя, самыя благовоспитанныя, самыя здоровыя и самыя веселыя во всемъ городѣ. Я не пожалѣю никакихъ денегъ, чтобы завести шикарную обстановку, и у васъ будутъ комнаты съ шелковой мебелью и съ настоящими прекрасными коврами. Гости у васъ не будутъ уже требовать пива, а только благородныя бордосскія и бургундскія вина и шампанское. Помните, что богатый, солидный, пожилой мужчина никогда не любитъ вашей простой, обыкновенной, грубой любви. Ему нуженъ кайенскій перецъ, ему нужно не ремесло, а искусство, и этому вы скоро научитесь. У Треппеля берутъ три рубля за визитъ и десять рублей за ночь... Я поставлю такъ, что вы будете получать пять рублей за визитъ и двадцать пять за ночь. Вамъ будутъ дарить золото и брильянты. Я устрою такъ, что

вамъ не нужно будетъ переходить въ заведенія низшаго сорта, und so weiter.. вплоть до солдатскаго грязнаго притона. Нѣтъ! У каждой изъ васъ будутъ откладываться и храниться у меня ежемѣсячные взносы и откладываться на ваше имя въ сберегательную кассу, гдѣ на нихъ будутъ расти проценты и проценты на проценты. И тогда, если дѣвушка почувствуетъ себя усталой или захочетъ выйти замужъ за порядочнаго человѣка, въ ея распоряженіи всегда будетъ небольшой, но вѣрный капиталъ. Такъ дѣлается въ лучшихъ заведеніяхъ Риги и повсюду за границей. Пускай никто не скажетъ про меня, что Эмма Эдуардовна—паукъ, мегера, кровососная бабка. Но за непослушаніе, за лѣность, за фантазіи, за любовниковъ на сторони я буду жестоко наказывать и, какъ гадкую, сорную траву, выброшу вонъ, на улицу или еще хуже. Теперь я все сказала, что мнѣ нужно. Нина, подойди ко мнѣ. И вы все остальные подходите по очереди.

Нинка нерѣшительно подошла вплотную къ Эммѣ Эдуардовнѣ и даже отшатнулась отъ изумленія: Эмма Эдуардовна протягивала ей правую руку съ опущенными внизъ пальцами и медленно приближала ее къ Нинкинымъ губамъ.

— Цѣлуй!.. — внушительно и твердо произнесла Эмма Эдуардовна, прищурившись и откинувъ голову назадъ въ великолѣпной позѣ принцессы, вступающей на престолъ.

Нинка была такъ растеряна, что громко чмокнула протянутую руку и отошла въ сторонку. Слѣдомъ за нею такъ же подошли Зоя, Генриетта, Ванда и другія. Одна Тамара продолжала стоять у стѣны спиной къ зеркалу, къ тому зеркалу, въ которое такъ любила, бывало, прохаживаясь взадъ и впередъ по залѣ, заглядывать, любясь собой. Женька.

Эмма Эдуардовна остановила на ней повелительный, упорный взглядъ удава, но гипнозъ не дѣйствовалъ. Тамара выдержала этотъ взглядъ, не отворачиваясь, не ми-

гая, но безъ всякаго выраженія на лицѣ. Тогда новая хозяйка опустила руку, сдѣлала на лицѣ нѣчто похожее на улыбку и сказала хрипло:

— А съ вами, Тамара, мнѣ нужно поговорить немножко отдѣльно, съ глазу на глазъ. Пойдемте!

— Слушаю, Эмма Эдуардовна! — спокойно отвѣтила Тамара.

Эмма Эдуардовна пришла въ маленькій кабинетикъ, гдѣ когда-то любила пить кофе съ топлеными сливками Анна Марковна, сѣла на диванъ и указала Тамарѣ мѣсто напротивъ себя. Нѣкоторое время женщины молчали, испытующе, недовѣрчиво оглядывая другъ друга.

— Вы правильно поступили, Тамара, — сказала наконецъ Эмма Эдуардовна. — Вы умно сдѣлали, что не подошли, подобно этимъ овцамъ, поцѣловать у меня руку. Но все равно я васъ до этого не допустила бы. Я тутъ же при всѣхъ хотѣла, когда вы подойдете ко мнѣ, позвать вамъ руку и предложить вамъ мѣсто первой экономки, — вы понимаете? — моей главной помощницы — и на очень выгодныхъ для васъ условіяхъ...

— Благодарю васъ...

— Нѣтъ, подождите, не перебивайте меня. Я выскажусь до конца, а потомъ вы выскажете ваши за и противъ. Но объясните вы мнѣ, пожалуйста, когда вы утромъ прицѣливались въ меня изъ револьвера, что вы хотѣли? Неужели убить меня?

— Наоборотъ, Эмма Эдуардовна, — почтительно возразила Тамара, — наоборотъ: мнѣ показалось, что вы хотѣли ударить меня.

— Пфуй! Что вы, тамарочка!.. Развѣ вы не обращали вниманія, что за все время нашего знакомства я никогда не позволила себѣ не то что ударить васъ, но даже обратиться къ вамъ съ грубымъ словомъ... Что вы, что вы?.. Я васъ не смѣшиваю съ этимъ быдломъ... Слава Богу,

я—человѣкъ опытный и хорошо знающій людей. Я отлично вижу, что вы по-настоящему воспитанная барышня, гораздо образованнѣе, напримѣръ, чѣмъ я сама. Вы тонкая, изящная, умная. Вы знаете иностранные языки. Я убѣждена въ томъ, что вы даже недурно знаете музыку. Наконецъ, если признаться, я немножко... какъ бы вамъ сказать... всегда была немножко влюблена въ васъ. И вотъ вы меня хотѣли застрѣлить! Меня, человѣка, который могъ бы быть вамъ отличнымъ другомъ! Ну, что вы на это скажете?

— Но... ровно ничего, Эмма Эдуардовна, — возразила Тамара самымъ кроткимъ и правдоподобнымъ тономъ.— Все было очень просто. Я еще раньше нашла подъ подушкой у Женьки револьверъ и принесла, чтобы вамъ передать его. Я не хотѣла вамъ мѣшать, когда вы читали письмо, но вотъ вы обернулись ко мнѣ, и протянула вамъ револьверъ и хотѣла сказать: поглядите, Эмма Эдуардовна, что я нашла,—потому что, видите ли, меня ужасно поразило, какъ это покойная Женья, имѣя въ распоряженіи револьверъ, предпочла такую ужасную смерть, какъ повѣшеніе? Вотъ и все!

Густыя страшныя брови Эммы Эдуардовны поднялись кверху, глаза весело расширились, и по ея щекамъ бегемота расплылась настоящая цеподдѣльная улыбка. Она быстро протянула обѣ руки Тamarъ.

— И только это? О, mein Kind! А я думалъ... мнѣ Богъ знаетъ что представилось! Дайте мнѣ ваши руки, Тамара, ваши милыя бѣлыя ручки и позвольте васъ прижать auf mein Herz, на мое сердце, и поцѣловать васъ.

Поцѣлуй былъ такъ дологъ, что Тамара съ большимъ трудомъ и съ отвращеніемъ едва высвободилась изъ объятий Эммы Эдуардовны.

— Ну, а теперь о дѣлѣ. Итакъ, встѣ мои условія: вы будете экономкой, я вамъ даю пятнадцать процентовъ изъ чистой прибыли. Обратите вниманіе, Тамара: пятнадцать

процентовъ. И, кромѣ того, небольшое жалованіе — тридцать, сорокъ, ну, пожалуй, пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. Прекрасныя условія,—не правда ли? Я глубоко увѣрена, что не кто другой, какъ именно вы, поможете мнѣ поднять домъ на настоящую высоту и сдѣлать его самымъ шикарнымъ не то что въ нашемъ городѣ, по и во всемъ югѣ Россіи. У васъ вкусъ, пониманіе вещей!.. Кромѣ того, вы всегда сумѣете занять и расшевелить самаго требовательнаго, самаго неподатливаго гостя. Въ рѣдкихъ случаяхъ, когда очень богатый и знатный господинъ—по-русски это называется „карась“, а у насъ Freier, — когда онъ увлечется вами,—вѣдь вы такая красивая, Тамарочка (хозяйка поглядѣла на нее туманными, увлажненными глазами),—то я вовсе не запрещаю вамъ провести съ нимъ весело время, только упирать всегда на то, что вы не имѣете права по своему долгу, положенію, und so weiter, und so weiter... Aber sagen Sie bitte, объясняетесь ли вы легко по-нѣмецки?

— Die deutsche Sprache beherrsche ich in geringerem Grade, als die französische: indess kann ich stets in einer Salon-Plauderei mitmachen *).

— O, wunderbar! Sie haben eine entzückende Rigac Ausssprache, die beste aller deutschen Ausssprachen. Und also,—fahren wir in unserer Sprache fort. Sie klingt viel süsser meinem Ohr, die Muttersprache. Schön? **)

— Schön ***)).

— Am Ende werden Sie nachgeben, dem Anschein nach ungerne, unwillkürlich, von der Laune des Augenblicks hingerissen,—und, was die Hauptsache ist, lautlos, heim-

*) Нѣмецкимъ языкомъ я владѣю немножко хуже, чѣмъ французскимъ, но могу всегда поддержать салонную болтовню.

**) О, чудесно!.. У васъ очаровательный рижскій выговоръ, самый правильный изъ всѣхъ нѣмецкихъ. Итакъ, будемъ продолжать на моемъ языкѣ. Это мнѣ гораздо слаще—родной языкъ. Хорошо?

***) Хорошо!

lich vor mir. Sie verstehen? Dafür zahlen Narren ein schweres Geld. Uebrigens brauche ich Sie wohl nicht zu lehren *).

— Ja, gnädige Frau. Sie sprechen gar kluge Dinge. Doch das ist schon keine Plauderei mehr, sondern eine ernste Unterhaltung **). И поэтому мнѣ удобнѣе, если вы перейдете на русский языкъ... Я готова васъ слушаться.

— Дальше!.. Я только-что говорила насчетъ любовника. Я вамъ не смѣю запрещать этого удовольствія, но будемъ благоразумными: пусть онъ не появляется сюда, или появляется какъ можно рѣже. Я вамъ дамъ выходные дни, когда вы будете совершенно свободны. Но лучше, если бы вы совсѣмъ обошлись безъ него. Это послужитъ къ вашей же пользѣ. Это только тормозъ п ярмо. Говорю вамъ по своему личному опыту. Подождите, черезъ три-четыре года мы такъ расширимъ дѣло, что у васъ уже будутъ солидные деньги, и тогда я возьму васъ въ дѣло полноправнымъ товарищемъ. Черезъ десять лѣтъ вы еще будете молоды и красивы, и тогда берите и покупайте мужчинъ сколько угодно. Къ этому времени романтическія глупости совсѣмъ выйдутъ изъ вашей головы, и уже не васъ будутъ выбирать, а вы будете выбирать съ толкомъ и съ чувствомъ, какъ знатокъ выбираетъ драгоценные камни. Вы согласны со мной?

Тамара опустила глаза и чуть-чуть улыбнулась.

— Вы говорите золотыя истины, Эмма Эдуардовна. Я брошу моего, но не сразу. На это мнѣ нужно будетъ недѣли двѣ. Я постараюсь, чтобы онъ не являлся сюда. Я принимаю ваше предложеніе.

*) Въ концѣ концовъ вы уступите какъ будто бы нехотя, какъ будто позволю, какъ будто отъ увлеченія, минутнаго каприза и—главное дѣло—потихоньку отъ меня. Вы понимаете? За это дураки платятъ огромныя деньги. Впрочемъ, кажется, мнѣ васъ не приходится учить.

***) Да, сударыня. Вы говорите очень умныя вещи. Я готова васъ слушаться. Но это ужъ не болтовня, а серьезный разговоръ...

— И прекрасно!—сказала Эмма Эдуардовна, вставая.— Теперь заключимъ нашъ договоръ однимъ хорошимъ сладкимъ поцѣлуемъ.

И она опять обняла и принялась врасосъ цѣловать Тамару, которая со своими опущенными глазами и наивнымъ нѣжнымъ лицомъ казалась теперь совсѣмъ дѣвочкой. Но, освободившись наконецъ отъ хозяйки, она спросила по-русски:

— Вы видите, Эмма Эдуардовна, что я во всемъ согласна съ вами, но за это прошу васъ исполнить одну мою просьбу. Она вамъ ничего не будетъ стоить. Имепно, надѣюсь, вы позволите мнѣ и другимъ дѣвицамъ проводить покойницу Женю на кладбище.

Эмма Эдуардовна сморщилась.

— О, если хотите, милая Тамара, я ничего не имѣю противъ вашей прихоть. Только для чего? Мертвому человеку это не поможетъ и не сдѣластъ его живымъ. Выйдетъ только одна лишъ сентиментальность... Но хорошо! Только вѣдь вы сами знаете, что по вашему закону самоубійца не хоронятъ, или,—я не знаю навѣрно,—кажется, бросаютъ въ какую-то грязную яму за кладбищемъ.

— Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ сдѣлать самой, какъ я хочу. Пусть это будетъ мол прихоть, но уступите ее мнѣ, милая, дорогая, прелестная Эмма Эдуардовна! Зато я обещаю вамъ, что это будетъ послѣдняя моя прихоть. Послѣ этого я буду какъ умный и послушный солдатъ въ распоряженіи талаптливаго генерала.

— *Es ist gut!*—сдалась со вздохомъ Эмма Эдуардовна.— Я вамъ, дитя мое, ни въ чемъ не могу отказать. Дайте я пожму' вашу руку. Будемъ вмѣстѣ трудиться и работать для общаго блага!..

И, отворивъ дверь, она крикнула черезъ залу въ переднюю: „Симеонъ!“. Когда же Симеонъ появился въ комнату, она приказала ему вѣско и торжественно:

— Принесите намъ сюда полбутылки шампанскаго, только настоящаго—Roederer demi sec и похолоднѣе. Ступай живо!—приказала она швейцару, вытаращившему на нее глаза.—Мы выпьемъ съ вами, Тамара, за новое дѣло, за наше прекрасное и блестящее будущее.

Говорить, что мертвецы приносятъ счастье. Если въ этомъ суевѣрїи есть какое-нибудь основаніе, то въ эту субботу оно оказалось какъ нельзя яснѣе: наплывъ посѣтителей былъ необычайный, даже и для субботняго времени. Правда, дѣвицы, проходя коридоромъ мимо бывшей Женькиной комнаты, учащали шаги, боязливо косились туда краемъ глазъ, а инныя даже крестились. Но къ глубокой ночи страхъ смерти какъ-то улегся, обтерпѣлся. Всѣ комнаты были заняты, а въ залѣ, не переставая, заливался новый скрипачъ—молодой, развязный бритый человѣкъ, котораго гдѣ-то отыскалъ и привелъ съ собой бѣльмистый таперъ.

Назначеніе Тамары въ экономки было принято съ холоднымъ недоумѣніемъ, съ молчаливой сухостью. Но, выждавъ время, Тамара успѣла шепнуть Манькѣ Бѣленькой:

— Послушай, Мани! Ты скажи имъ всѣмъ, чтобы онѣ не обращали вниманія на то, что меня выбрали экономкой. Это такъ нужно. А онѣ пусть дѣлаютъ что хотятъ, только бы не подводили меня. Я имъ попрежнему—другъ и заступница... А дальше видно будетъ.

XXIV.

На другой день, въ воскресенье, у Тамары было множество хлопотъ. Ею овладѣла твердая и непреклонная мысль похоронить покойнаго друга наперекоръ всѣмъ обстоятельствамъ такъ, какъ хоронятъ самыхъ близкихъ людей—похристіански, со всѣмъ печальнымъ торжествомъ чина погребенія мірскихъ человѣкъ.

Она принадлежала къ числу тѣхъ странныхъ натуръ, ко-

торыи подѣ внѣшнимъ лѣнливымъ спокойствіемъ, небрежной молчаливостью и эгонистичной замкнутостью таятъ въ себѣ необычайную энергію, всегда точно дремлющую въ полглаза, берегущую себя отъ напраснаго расходованія, но готовую въ одинъ моментъ оживиться и устремиться впередъ, не считаясь съ препятствіями.

Въ двѣнадцатъ часовъ она на извозчикѣ спустилась внизъ, въ старый городъ, проѣхала въ узенькую улицу, выходящую на ярмарочную площадь, и остановилась около довольно грязной чайной, велѣвъ извозчику подождать. Въ чайной она справилась у рыжаго, остриженного въ скобку съ маслянымъ пробормомъ на головѣ мальчика, не приходилъ ли сюда Сенька-Вокзаль? Услужаящій мальчишка, судя по его изысканной и галантной готовности, давно уже знавшій Тамару, отвѣтилъ, что „никакъ нѣтъ-съ; онѣ—Семень Игнатичъ—еще не были и, должно-быть, не скоро еще будутъ, потому какъ онѣ вчера въ „Трансвалъ“ изволили кутить, играли на бильярдѣ до шести часовъ утра, и что теперь онѣ, по всѣмъ вѣроятіямъ, дома, въ номерахъ „Перепутье“, и что ежели барышня прикажутъ, то къ нимъ можно сей минуту спорхнуть“.

Тамара попросила бумаги и карандашъ и тутъ же написала нѣсколько словъ. Затѣмъ отдала половому записку вмѣстѣ съ полтинникомъ на чай и уѣхала.

Слѣдующій визитъ былъ къ артисткѣ Ровинской, жившей, какъ еще раньше знала Тамара, въ самой аристократической гостиницѣ города, „Европѣ“, гдѣ она занимала нѣсколько номеровъ подѣ-рядъ.

Добиться свиданія съ артисткой было не очень-то легко: швейцаръ внизу сказалъ, что Елены Викторовны, кажется, нѣтъ дома, а личная горничная, вышедшая на стукъ Тамары, объявила, что у барыни болитъ голова и что она никого не принимаетъ. Пришлось опять Тамарѣ написать на вѣсточкѣ бумаги:

„Я къ Вамъ являюсь отъ той, которая однажды въ домѣ, не называемомъ громко, плакала, стоя передъ Вами на ко-
лѣняхъ, послѣ того, какъ Вы спѣли романсъ Даргомыж-
скаго. Тогда Вы такъ чудесно приласкали ее. Помните?
Не бойтесь: ей теперь не нужна ничья помощь: она вчера
умерла. Но Вы можете сдѣлать въ ея память одно очень
серьезное дѣло, которое Васъ почти совсѣмъ не затруднитъ.
И же—именно та особа, которая позволила сказать нѣ-
сколько горькихъ истинъ бывшей съ Вами тогда баро-
цессѣ Т., въ чемъ до сихъ поръ раскаиваюсь и извиняюсь“.

— Передайте!—приказала она горничной.

Та вернулась черезъ двѣ минуты:

— Барыня просить васъ. Очень извиняются, что
имъ нездоровится и что опѣ примуть васъ не совсѣмъ
одѣтыя.

Она проводила Тамару, открыла передъ нею дверь и
тихо затворила ее.

Великая артистка лежала на огромной тахтѣ, покрытой
прекраснымъ текинскимъ ковромъ и множествомъ шелко-
выхъ подушечекъ и цилиндрическихъ мягкихъ ковровыхъ
валиковъ. Ноги ея были укутаны серебристымъ нѣжнымъ
мѣхомъ. Пальцы руки, по обыкновенію, были украшены
множествомъ колець съ изумрудами, притягивавшими глаза
своей глубокой и нѣжной зеленью.

У артистки былъ сегодня одинъ изъ ея нехорошихъ, чер-
ныхъ дней. Вчера утромъ вышли какіе-то нелады съ дирек-
ціей, а вечеромъ публика приняла ее не такъ восторженно,
какъ бы ей хотѣлось, или, можетъ-быть, ей это просто по-
казалось. а сегодня въ газетахъ дуракъ-рецензентъ, кото-
рый столько же понималъ въ искусствѣ, сколько корова въ
астрономіи, расхвалилъ въ большой замѣткѣ ея соперницу
Титанову. И вотъ Елена Викторовна увѣрила себя въ томъ,
что у нея болитъ голова, что въ вискахъ у нея нервный
тикъ, а сердце пѣтъ-нѣтъ и вдругъ точно упадетъ куда-то.

— Здравствуйте, моя дорогая!—сказала она немножко въ носъ, слабымъ, блѣднымъ голосомъ, съ разстановкой, какъ говорятъ на сценѣ героини, умирающія отъ любви и отъ чахотки.—Присядьте здѣсь... Я рада васъ видѣть... Только не сердитесь—я почти умираю отъ мигрени и отъ моего несчастнаго сердца. Извините, что говорю съ трудомъ. Кажется, я перепѣла и утомила голосъ...

Ровинская, конечно, вспомнила и безумную эскападу того вечера и оригинальное, незабываемое лицо Тамары, но теперь, въ дурномъ настроеніи, при скучномъ прозаическомъ свѣтѣ осенняго дня, это приключеніе показалось ей ненужной бравадой, чѣмъ-то искусственнымъ, придуманнымъ и колюче-постыднымъ. Но она была одинаково искренней какъ въ тотъ странный кошмарный вечеръ, когда она властью таланта повергла къ своимъ ногамъ гордую Женьку, такъ и теперь, когда вспомнила объ этомъ съ усталостью, лѣнью и съ артистическимъ пренебреженіемъ. Она, какъ и многіе отличные артисты, всегда играла роль, всегда была не самой собой и всегда смотрѣла на свои слова, движенія, поступки, какъ бы глядя на себя издали, глазами и чувствами зрителей.

Она томно подняла съ подушки свою узкую, худую, прекрасную руку и приложила ее ко лбу, и таинственные, глубокіе изумруды зашевелились какъ живые и засверкали теплымъ глубокимъ блескомъ.

— Я сейчасъ прочитала въ вашей запискѣ, что бѣдная... простите, пмя у меня исчезло изъ головы...

— Женья.

— Да-да, благодарю васъ! Я теперь вспомнила. Она умерла? Отъ чего же?

— Она повѣсилась... вчера утромъ, во время докторскаго осмотра...

Глаза артистки, такіе вялые, точно выцвѣтшіе, вдругъ раскрылись и чудомъ ожили и стали блестящими и зеле-

ными, точно ея изумруды, и въ нихъ отразилось любопытство, страхъ и брезгливость.

— О, Боже мой! Такая милая, такая своеобразная, красивая, такая пылкая!.. Ахъ, несчастная, несчастная!.. И причиною этому было?..

— Вы знаете... болѣзнь. Она говорила вамъ.

— Да, да... Помню, помню... Но повѣситесь!.. Какой ужасъ!.. Вѣдь я совѣтовала ей тогда лѣчиться. Теперь медицина дѣлаетъ чудеса. Я сама знаю нѣсколько людей, которые совсѣмъ... ну, совсѣмъ излѣчились. Это знаютъ всѣ въ обществѣ и принимаютъ ихъ... Ахъ, бѣдняжка, бѣдняжка!..

— Вотъ я и пришла къ вамъ, Елена Викторовна. Я бы не посмѣла васъ беспокоить, но я какъ въ лѣсу, и мнѣ не къ кому обратиться. Вы тогда были такъ добры, такъ тротательно-внимательны, такъ нѣжны къ намъ... Мнѣ нуженъ только вашъ совѣтъ и, можетъ-быть, немножко ваше вліяніе, ваша протекція...

— Ахъ, пожалуйста, голубушка!.. Чтò могу, я все... Ахъ, моя бѣдная голова! И потомъ это ужасное извѣстіе... Скажите же, чѣмъ я могу помочь вамъ?

— Признаться, я и сама еще не знаю,—отвѣтила Тамара.—Видите ли, ее отвезли въ анатомическій театръ... Но пока составили протоколъ, пока дорога, да тамъ еще прошло время для приѣма,—вообще я думаю, что ее не успѣли еще вскрыть... Мнѣ бы хотѣлось, если только это возможно, чтобы ее не трогали. Сегодня—воскресенье, можетъ-быть, отложить до завтра, а покаместъ можно что-нибудь сдѣлать для нея...

— Не умѣю вамъ сказать, милая... Подождите!.. Нѣтъ ли у меня кого-нибудь знакомаго изъ профессоровъ, изъ медицинскаго міра?.. Подождите — я потомъ посмотрю въ своихъ записныхъ книжкахъ. Можетъ-быть, удастся что-нибудь сдѣлать.

— Кромѣ того,—продолжала Тамара,—я хочу ее похо-

рошить... На свой счет... Я къ ней была при ея жизни привязана всѣмъ сердцемъ.

— Я съ удовольствіемъ помогу вамъ въ этомъ матеріально...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Тысячи разъ благодарю васъ!.. Я все сдѣлаю сама. Я бы не постѣснялась прибѣгнуть къ вашему доброму сердцу, но это...—вы поймете меня... — это нѣчто въ родѣ обѣта, который даетъ человѣкъ самому себѣ и памяти друга. Главное затрудненіе въ томъ, — какъ бы намъ похоронить ее по христіанскому обряду. Она была, кажется, невѣрующая или совсѣмъ плохо вѣровала. И я тоже развѣ только случайно иногда перекрещу лобъ. Но я не хочу, чтобы ее зарывали точно собаку гдѣ-то за оградой кладбища, молча, безъ словъ, безъ пѣнія... Я не знаю, разрѣшать ли похоронить ее какъ слѣдуетъ — съ пѣвчими, съ попами? Потому-то я и прошу у васъ помощи совѣтомъ. Или, можетъ, вы направите меня куда-нибудь?..

Теперь артистка мало-по-малу заинтересовалась и уже забывала и о своей усталости, и о мигрени, и о чахоточной героинѣ, умирающей въ четвертомъ актѣ. Ей уже рисовалась роль заступницы, прекрасная фигура генія, милостиваго къ падшей женщинѣ. Это оригинально, экстравагантно и въ то же время такъ театрално-трогательно. Ровинская, подобно многимъ своимъ братьямъ, не пропускала ни одного дня, и если бы возможно было, то не пропускала бы даже ни одного часа безъ того, чтобы не выдѣлиться изъ толпы, не заставлятъ о себѣ говорить: сегодня она участвовала въ патріотической манифестаціи, а завтра читала съ эстрады въ пользу ссыльныхъ-революционеровъ возбуждающіе стихи, полные пламени и мести. Она любила продавать цвѣты на гуляньяхъ, въ манежахъ и торговать шампанскимъ на большихъ балахъ. Она заранѣе придумывала острые словечки, которые на другой же

день подхватывался всё́мъ городомъ. Она хотѣла, чтобы повсюду и всегда толпа глядѣла только на нее, повторяла ея имя, любила ея египетскіе зеленые глаза, хищный и чувственный ротъ, ея изумруды на худыхъ и нервныхъ рукахъ.

— Я не могу сейчасъ всего сообразить какъ слѣдуетъ,— сказала она, помолчавъ. — Но если человѣкъ чего-нибудь сильно хочетъ, онъ достигнетъ, а я хочу всей душой исполнить ваше желаніе. Пойдите, пойдите!.. Кажется, мнѣ приходитъ въ голову великолѣпная мысль... Вѣдь тогда, въ тотъ вечеръ, если не ошибаюсь, съ нами были, кромѣ меня и баронессы...

— Я ихъ не знаю... Одинъ изъ нихъ вышелъ изъ кабинета позднѣе васъ всѣхъ. Онъ поцѣловалъ Женину руку и сказалъ, что если онъ когда-нибудь понадобится, то всегда къ ея услугамъ, и далъ ей свою карточку, но просилъ ее никому не показывать изъ постороннихъ. А потомъ все это какъ-то прошло и забылось. Я какъ-то никогда не удосужилась спросить у Жени, кто былъ этотъ человѣкъ, а вчера искала карточку и не могла найти...

— Позвольте, позвольте!.. Я вспомнила! — оживилась вдругъ артистка. — Ага,—воскликнула она, быстро поднимаясь съ тахты,—это былъ Рязановъ... Да, да, да... Присиженный повѣренный Эрастъ Андреевичъ Рязановъ. Сейчасъ мы все устроимъ! Это чудесная мысль!

Она повернулась къ маленькому столику, на которомъ стоялъ телефонный аппаратъ, и позвонила:

— Барышня, пожалуйста, 13—85... Благодарю васъ... Алло!.. Попросите Эраста Андреевича къ телефону... Артистка Ровинская... Благодарю васъ... Алло!.. Это вы, Эрастъ Андреевичъ? Хорошо, хорошо, но теперь дѣло не въ ручкахъ. Свободны ли вы?.. Бросьте глупости!.. Дѣло серьезное. Не можете ли вы ко мнѣ пріѣхать на четверть часа?.. Нѣтъ, нѣтъ... Да... Только какъ добраго и умнаго

человѣка. Вы клевете на себя... Ну и прекрасно!.. Да и не особенно одѣта, но у меня оправданіе—страшная головная боль... Нѣтъ—дама, дѣвушка... Сами увидите, пріѣзжайте скорѣе... Спасибо! До свиданія!..

— Онъ сейчасъ пріѣдетъ, — сказала Ровинская, вѣшая трубку.—Онъ милый и ужасно умный человѣкъ. Ему возможно все, даже почти невозможное для человѣка... А покаместъ... простите—ваше имя?

Тамара замаялась, но потомъ сама улыбнулась надъ собой:

— Да не стѣбитъ вамъ беспокоиться, Елена Викторовна! Моп пом de guerre Тамара, а такъ — Анастасія Николаевна. Все равно—зовите хоть Тамарой... Я больше при-выкла...

— Тамара!.. Это такъ красиво!.. Такъ вотъ, m-lle Тамара, можетъ-быть, вы не откажетесь со мной позавтракать? Можетъ-быть, и Рязановъ съ нами...

— Некогда...

— Это очень жаль!.. Надѣюсь, въ другой разъ когда-нибудь... А можетъ-быть, вы курите? — и она подвинула къ ней золотой портсигаръ, украшенный громадной буквой Е. изъ тѣхъ же обожаемыхъ ею изумрудовъ.

Очень скоро пріѣхалъ Рязановъ.

Тамара, не разглядѣвшая его какъ слѣдуетъ въ тотъ вечеръ, была поражена его наружностью. Высокаго роста, почти атлетическаго сложенія, съ широкимъ, какъ у Бетховена, лбомъ, опутаннымъ небрежно-художественно черными съ просѣдью волосами, съ большимъ мясистымъ ртомъ страстнаго оратора, съ ясными, выразительными, умными, насмѣшливыми глазами, онъ имѣлъ такую наружность, которая среди тысячъ бросается въ глаза,—наружность покорителя душъ и побѣдителя сердецъ, глубоко-честолюбиваго, еще не пресыщеннаго жизнью, еще пламеннаго въ любви и никогда не отступающаго передъ красивымъ без-

разсудствомъ... „Если бы меня судьба не изломала такъ жестоко, — подумала Тамара, съ удовольствіемъ слѣдя за его движеніями, — то вотъ человѣкъ, которому я бросила бы свою жизнь шутя, съ наслажденіемъ, съ улыбкой, какъ бросаютъ возлюбленному сорванную розу...“

Рязановъ поцѣловалъ руку Ровинской, потомъ съ непри-
нужденной простотой поздоровался съ Тамарой и сказалъ:

— Мы знакомы еще съ того шального вечера, когда вы поразили насъ всѣхъ знаніемъ французскаго языка и когда вы говорили... То, что вы говорили, было—между нами—парадоксально, но зато какъ это было сказано!.. До сихъ поръ я жмю тонъ вашего голоса, такой горячій, выразительный... Итакъ, Елена Викторовна,—обратился онъ опять къ Ровинской, садясь на маленькое низкое кресло безъ спинки,—чѣмъ я могу быть вамъ полезенъ? Располагайте мною.

Ровинская опытъ съ томнымъ видомъ приложила концы пальцевъ къ вискамъ.

— Ахъ, право, я такъ разстроена, дорогой мой Рязановъ, — сказала она, умышленно погашая блескъ своихъ прекрасныхъ глазъ,—потомъ моя несчастная голова... Постарайтесь передать мнѣ съ того столика пирамидонъ... Пусть m-lle Тамара вамъ все расскажетъ... Я не могу, не умѣю... Это такъ ужасно!..

Тамара коротко, толково передала Рязанову всю печальную исторію Женькиной смерти, упомянула и о карточкѣ, оставленной у Жени, и о томъ, какъ покойная благоговѣнно хранила эту карточку, и вскользь о его обѣщаніи помочь въ случаѣ нужды.

— Конечно, конечно!—вскричалъ Рязановъ, когда она кончила, и тотчасъ же заходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ большими шагами, ероша по привычкѣ и отбрасывая назадъ свои живописные волосы.—Вы совершаете великодушный, сердечный, товарищескій поступокъ! Это хорошо!..

Это очень хорошо!.. Я вашъ... Вы говорите — разрѣшеніе о похоронахъ... Гм!.. Дай Богъ памяти!..

Онъ потеръ лобъ рукой.

— Гм... гм... Если не ошибаюсь,—Мопоканонъ, правило сто семьдесятъ... сто семьдесятъ... сто семьдесятъ... восьмое... Позвольте, я его, кажется, помню наизусть... Позвольте!.. Да, такъ! „Аще убіетъ самъ себя человекъ, не поютъ надъ нимъ, ниже поминаютъ его, развѣ еще бѣше изумленъ, сирѣчь внѣ ума своего“... Гм... Смотри св. Тимофея Александрійскаго... И такъ, милая барышня, первымъ дѣломъ... Вы говорите, что съ петли она была снята вашимъ докторомъ, т.-е. городскимъ врачомъ... Фамилія?..

— Клименко.

— Кажется, я съ нимъ встрѣчался гдѣ-то... Хорошо!.. Кто въ нашемъ участкѣ околоточный надзиратель?

— Кербешъ.

— Ага, знаю... Такой крѣпкій, мужественный малый, съ рыжей бородой вѣромъ... Да?

— Да, это—онъ.

— Прекрасно знаю! Вотъ ужъ по комъ каторга давно тоскуетъ!.. Разъ десять онъ мнѣ попадался въ руки и всегда, подлець, какъ-то увертывался. Скользкій, точно налимъ... Придется дать ему барашка въ бумажекъ. Ну-съ! И затѣмъ анатомическій театръ... Вы когда хотите ее похоронить?

— Правда, я не знаю... Хотѣлось бы доскорѣе... Если возможно, сегодня.

— Гм... Сегодня... Не ручаюсь—врядъ ли успѣемъ... Но вотъ вамъ моя памятная книжка. Вотъ хотя бы на этой страницѣ, гдѣ у меня знакомые на букву Т,—такъ и напишите: Тамара и вашъ адресъ. Часа черезъ два я вамъ дамъ отвѣтъ. Это васъ устраиваетъ? Но опять повторяю, что, должно-быть, вамъ придется отложить похороны до завтра... Потомъ, — простите меня за безцеремонность, — нужны, можетъ-быть, деньги?

— Нѣтъ, благодарю васъ!—отказалась Тамара.—Деньги есть. Спасибо за участие!.. Мнѣ пора. Благодарю васъ сердечно, Елена Викторовна!..

— Такъ ждите же черезъ два часа, — повторилъ Рязановъ, провожая ее до дверей.

Тамара не сразу поѣхала въ домъ. Она по дорогѣ вернула въ маленькую кофейную на Католической улицѣ. Тамъ дождался ее Сенька-Вокзаль—веселый малый съ наружностью красиваго цыгана, не черно, а сине-волосый, черноглазый съ желтыми бѣлками, рѣшительный и смѣлый въ своей работѣ, гордость мѣстныхъ воровъ, большая знаменитость въ ихъ мѣрѣ, первый закоперщикъ и заводиловка.

Онъ протянулъ ей руку, не поднимаясь съ мѣста. Но въ томъ, какъ бережно, съ нѣкоторымъ насиліемъ усадилъ ее на мѣсто, видна была широкая добродушная ласка.

— Здравствуй, Тамарка! Давно тебя не видалъ—соскучился... Хочешь кофе?

— Нѣтъ! Дѣло... Завтра хоронимъ Женьку... Повѣсилась она...

— Да, я читалъ въ газетѣ, — небрежно процѣдилъ Сенька. — Все равно!..

— Достань мнѣ сейчасъ пятьдесятъ рублей.

— Тамарочка, марушка моя, — ни копейки!..

— Я тебѣ говорю—достань! — повелительно, но не сердясь, приказала Тамара.

— Ахъ, ты, Господи!.. Твоихъ-то я не трогалъ, какъ обѣщался, но вѣдь — воскресенье... Сберегательныя кассы закрыты...

— Пускай!.. Заложки книжку! Вообще дѣлай что хочешь!..

— Зачѣмъ тебѣ это, душечка ты моя?

— Не все ли тебѣ равно, дуракъ?.. На похороны.

— Ахъ! Ну ладно ужъ! — вздохнулъ Сенька. — Такъ я

лучше тебѣ вечеромъ бы самъ привезъ... Право, Тамарочка?.. Очень мнѣ невтерпежъ безъ тебя жить! Ужъ такъ-то бы я тебя, мою милую, расцѣловаль, глазъ бы тебѣ сомкнуть не далъ!.. Или прійти?..

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Ты сдѣлай, Сенечка, какъ я тебя прошу! Уступи мнѣ!.. А приходитъ тебѣ нельзя—я теперь экономка.

— Вотъ такъ штука!.. — протянулъ изумленный Сенька и даже свистнулъ.

— Да. И ты покамѣсть ко мнѣ не ходи. Но потомъ, потомъ, голубчикъ, чтò хочешь... Скоро всему конецъ!

— Ахъ, не томилла бы ты меня! Развязывай скорѣй!

— И развяжу! Подожди недѣльку еще, милый! Порошки досталь?

— Порошки—пустякъ!—недовольно отвѣтилъ Сенька.— Да и не порошки, а пилюли.

— И ты вѣрно говоришь, что въ водѣ онѣ сразу распустятся?

— Вѣрно. Самъ видалъ.

— Но онѣ не умрутъ? Послушай, Сеня: не умрутъ? Это вѣрно?..

— Ничего ему не сдѣлается... Поддыхаетъ только... Ахъ, Тамарка!—вдругъ воскликнулъ онъ страстнымъ шопотомъ и даже вдругъ крѣпко, такъ, что суставы затрещали, потянулся отъ нестерпимаго чувства:—кончай, ради Бога, скорѣй!.. Сдѣлаемъ дѣло и—айда! Куда хочешь, голубка! Весъ въ твоей волѣ: хочешь—на Одессу подадимся, хочешь—за границу. Кончай скорѣй!..

— Скоро, скоро...

— Ты только мигни мнѣ, и я ужъ готовъ... съ порошками, съ инструментами, съ паспортами... А тамъ угу-у! поѣхала машина! Тамарочка! Ангель мой!.. Золотая, брильянтовая!..

И онъ, всегда сдержанный, забывъ, что его могутъ ви-

дѣтъ посторонніе, хотѣлъ уже обнять и прижать къ себѣ Тамару

— Но, но!..—быстро и ловко, какъ кошка, вскочила со стула Тамара.—Потомъ... потомъ, Сенечка, потомъ, миленькій!.. Вся твоя буду—ни отказу ни запрету. Сама надоѣмъ тебѣ... Прощай, дурачокъ мой!

И, быстрымъ движеніемъ руки взъерошивъ ему черныя кудри, она поспѣшно вышла изъ кофeyни.

XXV.

На другой день, въ понедѣльникъ, къ десяти часамъ утра, почти всѣ жилицы дома, бывшаго мадамъ Шайбесъ, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнеръ, поѣхали на извозчикахъ въ центръ города, къ анатомическому театру,—всѣ, кромѣ дальновидной, многоопытной Геприетты, трусливой и безчувственной Нинки и слабоумной Пашки, которая вотъ уже два дня какъ не вставала съ постели, молчала и на обращенныя къ ней вопросы отвѣчала блаженной, идиотскою улыбкой и какимъ-то невнятнымъ животнымъ мычаніемъ. Если ей не давали ѣсть, она и не спрашивала, но если приносили, то ѣла съ жадностью, прямо руками. Она стала такой перьяшливой и забывчивой, что ей приходилось напоминать о нѣкоторыхъ естественныхъ отправленіяхъ во избѣжаніе неприятностей. Эмма Эдуардовна не высылала Пашку къ ея постояннымъ гостямъ, которые Пашку спрашивали каждый день. Съ нею и раньше бывали такіе періоды ущерба сознанія, однако они продолжались недолго, и Эмма Эдуардовна рѣшила на всякій случай переждать: Пашка была настоящимъ кладомъ для заведенія и его поистинѣ ужасной жертвой.

Анатомическій театръ представлялъ собою длинное одноэтажное темно-сѣрое зданіе, съ бѣлыми обрамками вокругъ оконъ и дверей. Было въ самой внѣшности его что-то низкое, придавленное, уходящее въ землю, почти жуткое.

Дѣвушки одна за другой останавливались у воротъ и робко проходили черезъ дворъ въ часовню, пріютившуюся на другомъ концѣ двора, въ углу, окрашенную въ такой же темно-сѣрый цвѣтъ съ бѣлыми обводами.

Дверь была заперта. Пришлось итти за сторожемъ. Тамара съ грудомъ разыскала плѣшиваго древняго старика, заросшаго, точно болотнымъ мхомъ, сваленой сѣрой щетиной, съ маленькими слезящимися глазами и огромнымъ, въ видѣ лепешки, бугорчатымъ красно-сизымъ носомъ.

Онъ отворилъ огромный висячій замѣкъ, отодвинулъ болтъ и открылъ ржавую, поющую дверь. Холодный влажный воздухъ вмѣстѣ со смѣшаннымъ запахомъ каменной сырости, ладана и мертвечины дохнулъ на дѣвушекъ. Онѣ попятились назадъ, тѣсно сбившись въ робкое стадо. Одна Тамара пошла, не колеблясь, за сторожемъ.

Въ часовнѣ было почти темно. Осенній свѣтъ скупо проникалъ сквозь узенькое, какъ бы тюремное окошко, загороженное рѣшеткой. Два-три образа безъ ризъ, темные и безликіе, висѣли на стѣнахъ. Нѣсколько простыхъ дощатыхъ гробовъ стояли прямо на полу, на деревянныхъ переносныхъ дрогахъ. Одинъ посрединѣ былъ пустъ, и открытая крышка лежала рядомъ.

— Кака-така ваша-то?—спросилъ сипло сторожь и понюхалъ табаку.—Въ лицо-то знаете, ай нѣтъ?

— Знаю.

— Ну, такъ мотри! Я тебѣ ихъ всѣхъ покажу. Можетъ-быть, эта?..

И онъ снялъ съ одного изъ гробовъ крышку, еще не заколоченную гвоздями. Тамъ лежала одѣтая кое-какъ въ отребья морщинистая старуха съ отекившимъ синимъ лицомъ. Лѣвый глазъ у нея былъ закрытъ, а правый таранился и глядѣлъ неподвижно и страшно, уже потерявши свой блескъ и похожій на залежавшуюся слюду.

— Говоришь,—не эта? Ну, мотри... На тебѣ еще!—ска-

залъ сторожъ и одного за другимъ показывалъ, открывая крышки, покойниковъ,—все, должно-быть, голытьбу: подобранныхъ на улицѣ, пьяныхъ, раздавленныхъ, изувѣченныхъ и исковерканныхъ, начавшихъ разлагаться. У нѣкоторыхъ уже попли по рукамъ и лицамъ сине-зеленяя пятна, похожія на плѣсень,—признаки гніенія. У одного мужчины, безносаго, съ раздвоенной пополамъ верхней заячьей губой, копошились на лицѣ, изъѣденномъ язвами, какъ маленькія бѣлыя точки, черви. Женщина, умершая отъ водянки, цѣлой горой возвышалась изъ своего дощатаго ложа, выпирая крышку.

Всѣ они наскоро послѣ вскрытія были зашиты, починены и обмыты замшѣлымъ сторожемъ и его товарищами. Чтѣ имъ было за дѣло, если порою мозгъ попадалъ въ желудокъ, а печенью начинали черепъ и грубо соединяли его при помощи липкаго пластыря съ головой?! Сторожа ко всему привыкли за свою кошмарную, неправдоподобную пьяную жизнь, да и кстати у ихъ безгласныхъ кліентовъ почти никогда не оказывалось ни родныхъ ни знакомыхъ...

Тяжелыи духъ падали, густой, сытный и такой липкій, что Тамарѣ казалось, будто онъ точно клей покрываетъ всѣ живыя поры ея тѣла.—стоялъ въ часовнѣ.

— Слушайте, сторожъ, —спросила Тамара, — чтѣ это у меня все трещить подѣ ногами?

— Трыш-нитъ?—переспросилъ сторожъ и почесался, — а випи, должно быть,—сказалъ онъ равнодушно.—На мертвякахъ этого звѣрья всегда страсть сколько распложается!.. Да ты кого ищешь-то,—мужика аль бабу?

— Женщину,—отвѣтила Тамара.

— И эти все, значить, не твой?

— Нѣтъ, все чужіе.

— Ишь ты!.. Значить, мнѣ въ мертвецкую иттить. Когда привезли-то ея?

— Въ субботу, дѣдушка,—и Тамара при этомъ достала портмоне.—Въ субботу днемъ. На-ка тебѣ, почтенный, на табачокъ!

— Это дѣло! Въ субботу, говоришь, днемъ? А что на сѣ было?

— Да почти ничего: ночная кофточка, юбка нижняя... и то и то бѣлое.

— Та-акъ! Должно, двѣсти семнадцатый номеръ... Звать-то какъ?..

— Сусанна Райцына.

— Пойду погляжу,—можетъ, и есть. Ну-ка вы, мамзели,—обратился онъ къ дѣвицамъ, которыя робко жались въ дверяхъ, загораживая свѣтъ.—Кто изъ васъ похрабрѣе? Коли третьяго дня ваша знакомая прѣехала, то, значить, теперича она лежитъ въ томъ видѣ, какъ Господь Богъ сотворилъ всѣхъ человѣковъ,—значить, безъ никого... Ну, кто изъ васъ побойчѣе будетъ? Кто изъ васъ двое пойдутъ? Одѣть ее треба...

— Иди, что ли, ты, Манька,—приказала Тамара подругѣ, которая, похолодѣвъ и поблѣднѣвъ отъ ужаса и отвращенія, глядѣла на покойниковъ широко открытыми свѣтлыми глазами.—Не бойся, дура,—я съ тобой пойду! Кому жъ итти, какъ не тебѣ?!

— Я что жъ?.. я что жъ? — пролепетала Манька Маленькая едва двигавшимися губами.— Пойдемъ. Мнѣ все равно...

Мертвецкая была здѣсь же, за часовней — низкій, уже совсѣмъ темный подвалъ, въ который приходилось спускаться по шести ступенькамъ.

Сторожъ сбѣгалъ куда-то и вернулся съ огаркомъ и затрепанной книгой. Когда онъ зажегъ свѣчу, то дѣвушки увидѣли десятка два труповъ, которые лежали прямо на каменномъ полу правильными рядами—вытянутые, желтые, съ лицами, искривленными предсмертными судорогами, съ

раскroенными черепами, со сгустками крови на лицахъ, съ оскаленными зубами.

— Сейчасъ... сейчасъ...—говорилъ сторожъ, водя пальцемъ по рубрикамъ.—Третьяго дня... стало-быть, въ субботу... въ субботу... Какъ, говоришь, фамилія-то?

— Райцына, Сусанна,—отвѣтила Тамара.

— Рай-цына, Сусанна...—точно пропѣлъ сторожъ,—Рай-цына, Сусанна. Такъ и есть. Двѣсти семнадцать.

Нагибался надъ покойниками и освѣщая ихъ оплывшимъ и каплющимъ огаркомъ, онъ переходилъ отъ одного къ другому. Наконецъ онъ остановился около трупа, на ногѣ котораго было написано чернилами большими цифрами: 217.

— Вотъ эта самая! Давайте-ка я ее вынесу въ коллдорчикъ да сбѣгаю за ея барахломъ... Подождите!..

Онъ, крихтя, но все-таки съ легкостью, удивительною для его возраста, поднялъ трупъ Женки за ноги и взвалилъ себѣ его на спину головой внизъ, точно это была мысная туша или мѣшокъ съ картофелемъ.

Въ коридорѣ было чуть освѣтлѣе, и когда сторожъ опустилъ свою ужасную ношу на полъ, то Тамара на мгновеніе закрыла лицо руками, а Манька отвернулась и заплакала.

— Коли что надо, вы скажите, — поучалъ сторожъ. — Ежели обрѣзать какъ слѣдуетъ покойницу желаете, то можемъ все достать, что полагается,—парчу, вѣнчикъ, образокъ, саванъ, кисею,—все держимъ... Изъ одежды можно купить что... Туфли вотъ тоже...

Тамара дала ему денегъ и вышла на воздухъ, пропустивъ впередъ себя Маньку.

Черезъ нѣсколько времени принесли два вѣтка: одинъ отъ Тамары изъ астръ и георгинъ съ надписью на бѣлой лентѣ черными буквами: „Женѣ—отъ подруги“; другой былъ

отъ Рязанова, весь пзъ красныхъ цвѣтовъ; на его красной лентѣ золотыми литерами стояло: „Страданіемъ очистимся“. Отъ него же пришла и коротенькая записка съ выраженіемъ соболѣзнованія и съ извиненіемъ, что онъ не можетъ пріѣхать, такъ какъ занятъ неотложнымъ дѣловымъ свиданіемъ.

Потомъ пришли приглашенные Тамарой пѣвчіе, пятнадцать человѣкъ изъ самаго лучшаго въ городѣ хора.

Регентъ въ сѣромъ пальто и въ сѣрой шляпѣ, весь какой-то сѣрый, точно запыленный, но съ длинными прямыми усами, какъ у военнаго, узналъ Вѣрку, сдѣлалъ широкіе, удивленные глаза, слегка улыбнулся и подмигнулъ ей. Два два-три въ мѣсяць, а то и чаще, посѣщалъ онъ съ знакомыми духовными академиками, съ такими же регентами, какъ и онъ, и съ псаломщиками, Ямскую улицу и, по обыкновенію, сдѣлавъ полную ревизію всѣмъ заведеніямъ, всегда заканчивалъ домомъ Анны Марковны, гдѣ выбиралъ неизмѣнно Вѣрку.

Былъ онъ веселый и подвижной человѣкъ, танцевалъ оживленно, съ изступленіемъ, и вывертывалъ такія фигуры во время танцевъ, что всѣ присутствующіе кисли отъ смѣха.

Вслѣдъ за пѣвчими пріѣхалъ нанятый Тамарой катафалкъ о двухъ лошадяхъ, черный, съ бѣлыми султанами, и при немъ семь факельщиковъ. Они же привезли съ собой глазетовый бѣлый гробъ и пьедесталъ для него, обтянутый чернымъ коленкоромъ. Не слѣша, привычно-ловкими движеніями они уложили покойницу въ гробъ, покрыли ей лицо кисеей, занавѣсили трупъ парчой и зажгли свѣчи: одну въ изголовьѣ и двѣ въ ногахъ.

Теперь, при желтомъ колеблющемся свѣтѣ свѣчей, стало яснѣе видно лицо Женьки. Синева почти сошла съ него, оставшись только кое-гдѣ на вискахъ, на носу и между глазъ пестрыми, неровными змѣистыми пятнами. Между раздвинутыми темными губами слегка сверкала бѣлизна

зубовъ и еще видѣлся кончикъ прикушеннаго языка. Изъ раскрытаго ворота на шеѣ, принявшей цвѣтъ стараго пергамента, видѣлись двѣ полосы: одна темная—слѣдъ веревки, другая красная—знакъ царяпины, нанесенной во время схватки Симеономъ,—точно два страшныхъ ожерелья. Тамара подошла и англійской булавкой зашпилила кружева воротничка у самаго подбородка.

Пришло духовенство: маленькій сѣденькій священникъ въ золотыхъ очкахъ, въ скуфейкѣ; длинный, высокій жидковолосый дьяконъ съ бодѣзненнымъ, странно-темнымъ и желтымъ лицомъ, точно изъ терракоты, и юркій длиннополый псаломщикъ, оживленно обмѣнявшійся на ходу какими-то веселыми таинственными знаками со своими знакомыми изъ пѣвчихъ.

Тамара подошла къ священнику.

— Батюшка,—спросила она,—вы какъ будете отпѣвать: всѣхъ вмѣстѣ или порознь?

— Отпѣваемъ всѣхъ купно,—отвѣтилъ священникъ, цѣлуя епитрахиль и выпрастывая изъ ея прорѣзей бороду и волосы.—Это обыкновенно, но по особому желанію и по особому соглашенію можно и отдѣльно. Какою смертью представилась почившая?

— Самоубійца она, батюшка.

— Гм... Самоубійца?.. А знаете ли, молодая особа, что по церковнымъ канонамъ самоубійцамъ отпѣванія не полагается... не надлежитъ? Конечно, исключенія бываютъ,—по особому ходатайству...

— Вотъ здѣсь, батюшка, у меня есть свидѣтельство изъ полиціи и отъ доктора... Не въ своемъ она умѣ была... Въ припадкѣ безумія...

Тамара протянула священнику двѣ бумаги, присланныя ей наканунѣ Рязановымъ, и сверхъ нихъ три кредитныхъ билета по десять рублей.—Я васъ попрошу, батюшка, все какъ слѣдуетъ, по-христіански. Она была прекрасный че-

ловѣкъ и очень много страдала. И ужъ будьте такъ добры, вы и на кладбище ее проводите и тамъ еще панихидку...

— До кладбища проводить можно, а на самомъ кладбищѣ не имѣю права служить—тамъ свое духовенство... А также вотъ что, молодая особа: въ виду того, что мнѣ еще разъ придется возвращаться за остальными, такъ вы ужъ того... еще десяточку прибавите.

И, принявъ изъ рукъ Тамары деньги, священникъ благословилъ кадило, подаваемое псаломщикомъ, и сталъ обходить съ каждениемъ тѣло покойницы. Потомъ, остановившись у нея въ головахъ, онъ кроткимъ, привычно-печальнымъ голосомъ возгласилъ:

— Благословенъ Богъ нашъ всегда, нынѣ и присно!

Псаломщикъ зачастилъ: „Святый Боже“, „Пресвятую Троицу“ и „Отче нашъ“, какъ горохъ просыпалъ.

Тихо, точно повѣряя какую-то глубокую, печальную сокровенную тайну, начали пѣвчіе быстрымъ сладостнымъ речитативомъ: „Со духи праведныхъ скончавшихся душу рабы твоея, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у тебе человеклоубче“.

Псаломщикъ разнесъ свѣчи, и онѣ теплыми, мягкими живыми огоньками одна за другой зажигались въ тяжеломъ, мутномъ воздухѣ, иѣжно и прозрачно освѣщая женскія лица.

Согласно лилась скорбная мелодія, и точно вздохи опечаленныхъ ангеловъ звучали великія слова:

„Упокой, Боже, рабу твою и учини ее въ рай, идѣже лица святыхъ Господи и праведницы сіяютъ яко свѣтила, усопшую рабу твою упокой, презирая ея вся согрѣшенія“.

Тамара вслушивалась въ давно знакомыя, но давно уже не слышанныя слова и горько улыбалась. Вспомнились ей страстныя, безумныя слова Женьки, полныя такого безысходнаго отчаянія и невѣрія... Простить ей или не простить всемилостивый, всеблагій Господь ся грязную, угар-

ную, озлобленную, поганую жизнь? Всезнающей, неужели отринешь Ты ее— жалкую бунтовщицу, невольную развратницу, ребенка, произпосившаго хулы на свѣтлое, святое имя Твое? Ты — Доброта, Ты — Утѣшеніе наше!

Глухой, сдержанный плачь, вдругъ перешедшій въ крикъ, раздался въ часовнѣ. „Охъ, Женьчка!“ . Это, стоя на колѣняхъ и зажимая себѣ ротъ платкомъ, билась въ слезахъ Манька Бѣленькая. И остальные подруги тоже вслѣдъ за нею опустили на колѣни, и часовня наполнилась вздохами, сдвоенными рыданіями и всхлипываніями...

„Самъ единъ еси безсмертный, сотворившій и создавшій человѣка, земнии убо отъ земли создахомся и въ землю туюжде поидемъ, яко же повелѣлъ еси, создавшій мя и рекій ми, яко земля еси и въ землю отыдеши“.

Тамара стояла неподвижно съ суровымъ, точно окаменѣвшимъ лицомъ. Свѣтъ свѣчки тошкими золотыми спиралями сіялъ въ ея бронзово-каштановычъ волосахъ, а глаза не отрывались отъ очертаній Женькинаго влажно-желтаго лба и кончика носа, которые были видны Тамарѣ съ ея мѣста.

— „Земля еси и въ землю отыдеши...“—повторила она въ умѣ слова гѣснопѣнія.— Неужели только и будетъ, что одна земля и ничего больше? И что лучше: ничто или хоть бы что-нибудь, даже хоть самое плохонькое, но только чтобы существовать?

А хоръ, точно подтверждая ея мысли, точно отнимая у нея послѣднее утѣшеніе, говорилъ безнадежно:

„Аможе вси человѣцы поидемъ...“

Пропѣли „вѣчную память“, задули свѣчи, и синія струйки растянулись въ голубомъ отъ ладана воздухѣ. Священникъ прочиталъ прощальную молитву и затѣмъ, при общемъ молчаніи, зачерпнулъ лопаточкой песокъ, поданный ему псаломщикомъ, и посыпалъ крестообразно на трупъ сверхъ

гисей. И говорилъ онъ при этомъ великія слова, полныя суровой, печальной неизбежности таинственнаго міроваго закона: „Господня земля и исполненіе ея вселенная и вси живущіе на ней“.

До самаго кладбища проводили дѣвушки свою умершую подругу. Дорога туда шла какъ разъ пересѣкая въѣздъ на Ямскую улицу. Можно было бы свернуть по ней налѣво, и это вышло бы почти вдвое короче, но по Ямской обыкновенно покойниковъ не возили.

Тѣмъ не менѣе почти изъ всѣхъ дверей повысыпали на перекрестокъ ихъ обитательницы, въ чемъ были: въ туфляхъ на босу ногу, въ почныхъ сорочкахъ, съ платочками на головахъ; крестились, вздыхали, утирали глаза платками и краями кофточекъ.

Погода разошлась... Яркое свѣтило холодное солнце съ холоднаго, блестящаго голубой эмалью неба, зеленѣла послѣдняя трава, золотились, розовѣли и рдѣли увядшіе листья на деревьяхъ... И въ хрустально-чистомъ холодномъ воздухѣ торжественно, величаво и скорбно разносились стройные звуки: „Святый Боже, Святый крѣпкій, Святый безсмертный, помилуй насъ!“. И какой жаркой, ничѣмъ ненасытимой жаждой жизни, какой тоской по мгновенной, уходящей, подобно ему, радости и красотѣ бытія, какимъ ужасомъ передъ вѣчнымъ молчаніемъ смерти звучитъ древній напѣвъ Іоанна Дамаскина!

Потомъ короткая литія на могилѣ, глухой стукъ земли о крышку гроба... небольшой свѣжій холмикъ...

— Вотъ и копецъ!—сказала Тамара подругамъ, когда онѣ остались однѣ.—Что жъ, дѣвушки.—часомъ позже, часомъ раньше!.. Жаль мнѣ Женьку!.. Страхъ какъ жаль!.. Другой такой мы уже не найдемъ. А все-таки, дѣти мои, ей въ ея ямѣ гораздо лучше, чѣмъ намъ въ нашей... Ну, послѣдній крестъ—и пойдемъ домой!..

И, когда онѣ уже всѣ приближались къ своему дому,

Тамара вдругъ задумчиво произнесла странныя, зловѣщія слова:

— Да и не долго намъ быть вмѣстѣ безъ нея: скоро всѣхъ насъ разнесетъ вѣтромъ куда попало. Жизнь хороша!.. Посмотрите: вонъ солнце, голубое небо... Воздухъ какой чистый... Паутинки летаютъ—бабье лѣто... Какъ на свѣтѣ хорошо!.. Одиѣ только мы—дѣвки—мусоръ придорожный.

Дѣвушки тронулись въ путь. Но вдругъ откуда-то сбоку, изъ-за памятниковъ, отдѣлился рослый, крѣпкій студентъ. Онъ догналъ Любку и тихо притронулся къ ея рукаву. Она обернулась и увидѣла Соловьева. Лицо ея мгновенно поблѣднѣло, глаза расширились и губы задрожали.

— Уйди! — сказала она тихо съ безпредѣльной ненавистью.

— Люба... Любочка...—забормоталъ Соловьевъ.—Я тебя искалъ... искалъ... Я... ей-Богу; я не какъ тотъ... какъ Лихонинъ... Я съ чистымъ сердцемъ... хоть сейчасъ, хоть сегодня...

— Уйди! — еще тише произнесла Любка.

— Я серьезно... я серьезно... я не съ глупостями, я жениться...

— Ахъ, тварь: — вдругъ взвизгнула Любка и быстро, крѣпко, по-мужски ударила Соловьева по щекѣ ладонью.

Соловьевъ постоялъ немного, слегка пошатываясь. Глаза у него были мученическіе... Ротъ полуоткрытъ, со скорбными складками по бокамъ.

— Уйди! Уйди! Не могу васъ всѣхъ видѣть! — кричала съ бѣшенствомъ Любка. — Палачи! Свиньи!

Соловьевъ внезапно закрылъ лицо ладонями, круто повернулся и пошелъ назадъ, безъ дороги, нетвердыми шагами, точно пьяный.

XXVI.

И въ самомъ дѣлѣ, слова Тамары оказались пророческими: прошло со дня похоронъ Жени не больше двухъ недѣль, но за этотъ короткій срокъ разразилось столько событій надъ домомъ Эммы Эдуардовны, сколько ихъ не приходилось иногда и на цѣлое пятилѣтiе.

На другой же день пришлось отправить въ богоугодное заведенiе—въ сумасшедшiй домъ—несчастную Пашку, которая окончательно впала въ слабоумiе. Доктора сказали, что никакой нѣтъ надежды на то, чтобы она когда-нибудь поправилась. И въ самомъ дѣлѣ, она, какъ ее положили въ больницѣ на полу, на соломенномъ матрацѣ, такъ и не вставала съ него до самой смерти, все болѣе и болѣе погружаясь въ черную, бездонную пропасть тихаго слабоумiя, но умерла она только черезъ полгода отъ пролежней и зараженiя крови.

Слѣдующая очередь была за Тамарой.

Съ полмѣсяца она исправляла свои обязанности экономки, была все время необыкновенно подвижна, энергична и какъ-то необычно взвинчена тѣмъ своимъ, внутреннимъ, что крѣпко бродило въ ней. Въ одинъ изъ вечеровъ она исчезла и совсѣмъ не возвратилась въ заведенiе...

Дѣло въ томъ, что у нея былъ въ городѣ длительный романъ съ однимъ нотарiусомъ — пожилымъ, довольно богатымъ, но весьма скарднымъ человѣкомъ. Знакомство у нихъ завязалось еще годъ тому назадъ, когда они вмѣстѣ случайно ѣхали на пароходѣ въ загородный монастырь и разговорились. Нотарiуса плѣнила умная, красивая Тамара, съ ея загадочной, развратной улыбкой, съ ея занимательнымъ разговоромъ, съ ея скромной манерой держать себя. Она тогда же намѣтила для себя этого пожилого человѣка съ живописными сѣдинами, съ барскими манерами, бывшаго правовѣда и человѣка хорошей семьи. Она не сказала ему о своей профессii,—ей болыпе правилось мисти-

фицировать его. Она лишь туманно, въ немногихъ словахъ намекнула на то, что она — замужняя дама изъ средняго общества, что она несчастна въ семейной жизни, такъ какъ мужъ ея—игрокъ и деспотъ, и что даже судьбою ей отказано въ такомъ утѣшеніи, какъ дѣти. На прощаніе она отказалась провести вечеръ съ нотариусомъ и не хотѣла встрѣчаться съ нимъ, но зато позволила писать ей въ почтамтъ до востребованія на вымышленное имя. Между ними завязалась переписка, въ которой нотариусъ щеголялъ слогомъ и пылкостью чувствъ, достойными героевъ Поля Бурже. Она держалась все того же замкнутаго, таинственнаго тона.

Потомъ, тронувшись просьбами нотариуса о встрѣчѣ, она назначила ему свиданіе въ Княжескомъ саду, была мила, остроумна и томна, но поѣхать съ нимъ куда-нибудь отказалась.

Такъ она мучила своего поклонника и умѣло разжигала въ немъ послѣднюю страсть, которая иногда бываетъ сильнѣе и опаснѣе первой любви. Наконецъ, этимъ лѣтомъ, когда семья нотариуса уѣхала за границу, она рѣшилась постѣтить его квартиру и тутъ въ первый разъ отдалась ему со слезами, съ угрызениями совѣсти и въ то же время съ такой пылкостью и нѣжностью, что бѣдный нотариусъ совершенно потерялъ голову: онъ весь погрузился въ ту старческую любовь, которая уже не знаетъ ни разума ни оглядки, которая заставляетъ человѣка терять послѣднее—боязнъ казаться смѣшнымъ.

Тамара была очень скупа на свиданія. Это еще больше разжигало ея нетерпѣливаго друга. Она соглашалась принять отъ него букетъ цвѣтовъ, скромный завтракъ въ загородномъ ресторанѣ, но возмущенно отказывалась отъ всякихъ дорогихъ подарковъ и вела себя такъ умѣло и тонко, что нотариусъ никогда не осмѣливался предложить ей денегъ. Когда онъ однажды заикнулся объ отдѣльной квартирѣ и

о другихъ удобствахъ, она поглядѣла ему въ глаза такъ пристально, надменно и сурово, что онъ какъ мальчикъ покраснѣлъ въ своихъ живописныхъ сѣдинахъ и цѣловалъ ея руки, лепеча несвязныя извиненія.

Такъ играла съ нимъ Тамара и все болѣе и болѣе нащупывала подъ собой почву. Она уже знала теперь, въ какіе дни хранятся у нотаріуса въ его несгораемомъ желѣзномъ шкапу особенно крупныя деньги. Однако она не торопилась, боясь испортить дѣло неловкостью или преждевременностью.

И вотъ какъ разъ теперь этотъ давно ожидаемый срокъ подошелъ: только - что кончилась большая контрактная ярмарка, и всѣ нотаріальныя конторы совершали ежедневно сдѣлки на громадныя суммы. Тамара знала, что нотаріусъ отвозилъ обычно деньги въ банкъ по субботамъ, чтобы въ воскресенье быть совершенно свободнымъ. И вотъ потому-то въ пятницу днемъ нотаріусъ получилъ отъ Тамары слѣдующее письмо.

„Милый мой, обожаемый царь Соломонъ! Твоя Суламиѳъ, твоя дѣвочка изъ виноградника привѣтствуетъ тебя жгучими поцѣлуями... Милый, сегодня у меня праздникъ, и я безконечно счастлива. Сегодня я свободна такъ же, какъ и ты. Онъ уѣхалъ въ Гомель на сутки по дѣламъ, и я хочу сегодня провести у тебя весь вечеръ и ВСЮ ночь. Ахъ, мой возлюбленный! Всю жизнь я готова провести на колѣняхъ передъ тобой. Я не хочу ѣхать никуда. Мнѣ давно надоѣли загородныя кабачки и кафешантаны. Я хочу тебя, только тебя... тебя... тебя одного! Жди же меня вечеромъ, моя радость, часовъ около десяти - одиннадцати! Приготовь очень много холоднаго бѣлаго вина, дыню и засахаренныхъ каштановъ. Я сгораю, я умираю отъ желанія! Мнѣ кажется, я измучаю тебя! Я не могу ждать! У меня кружится голова, горитъ лицо и руки холодныя, какъ ледъ. Обнимаю. Твоя Валентина“.

Въ тотъ же вечеръ, часовъ около одиннадцати, она искусно навела въ разговорѣ нотариуса на то, чтобы онъ показалъ ей его несгораемый ящикъ, играя на его своеобразномъ денежномъ честолюбіи. Быстро скользнувъ глазами по полкамъ и по выдвижнымъ ящикамъ, Тамара отвернулась съ ловко сдѣланнымъ зѣвкомъ и сказала:

— Фу, скука какая!

И, обнявъ руками шею нотариуса, прошептала ему губами въ самыя губы, обжигая горячимъ дыханіемъ:

— Запри, мое сокровище, эту гадость! Пойдемъ!.. Пойдемъ!

И вышла первая въ столовую.

— Иди же сюда, Володя!—крикнула она оттуда.—Иди скорѣй! Я хочу вина и потомъ любви, любви, любви безъ конца!.. Нѣтъ! Пей все, до самаго дна! Такъ же, какъ мы выпьемъ сегодня до дна нашу любовь!

Нотариусъ чокнулся съ нею и залпомъ выпилъ свой стаканъ. Потомъ онъ пожевалъ губами и замѣтилъ:

— Странно... Вино сегодня какъ будто горчитъ.

— Да!—согласилась Тамара и внимательно посмотрѣла на любовника.—Это вино всегда чуть-чуть горьковато. Это ужъ такое свойство рейпскихъ винъ...

— Но сегодня особенно сильно, — сказалъ нотариусъ.— Нѣтъ, спасибо, милая,—я не хочу больше!

Черезъ пять минутъ онъ заснулъ, сидя въ креслѣ, откинувшись на его спинку головой и отвѣсивъ нижнюю челюсть. Тамара выждала нѣкоторое время и привялась его будить. Онъ былъ недвижимъ. Тогда она взяла зажженную свѣчу и, поставивъ ее на подоконникъ окна, выходившаго на улицу, вышла въ переднюю и стала прислушиваться, пока не услышала легкихъ шаговъ на лѣстницѣ. Почти беззвучно отворила она дверь и пропустила Сеньку, одѣтаго настоящимъ бариномъ, съ новенькимъ кожанымъ сак-вождемъ въ рукахъ.

— Готово?—спросилъ воръ шопотомъ.

— Спать, — отвѣтила такъ же тихо Тамара. — Смотри, вотъ и ключи.

Они вмѣстѣ прошли въ кабинетъ къ несгораемому шкафу. Осмотрѣвъ замокъ при помощи ручного фонарика, Сенька вполголоса выругался:

— Чортъ бы его побралъ, старую скотину!.. Я такъ и зналъ, что замокъ съ секретомъ. Тутъ надо знать буквы... Придется плавить электричествомъ, а это чортъ знаетъ сколько времени займетъ.

— Не надо, — возразила торопливо Тамара. — Я знаю слово... Подбери: з-а-л-о-г. Безъ твердаго знака.

Черезъ десять минутъ они вдвоемъ спустились съ лѣстницы, пропли нарочно по ломанымъ линіямъ нѣсколько улицъ и только въ старомъ городѣ навяли извозчика на вокзалъ и уѣхали изъ города съ безукоризненными паспортами дворянъ помѣщика и помѣщицы Ставницкихъ. О нихъ долго не было ничего слышно, пока, спустя годъ, Сенька не попался въ Москвѣ на крупной кражѣ и не выдалъ на допросѣ Тамару. Ихъ обоихъ судили и приговорили къ тюремному заключенію.

Вслѣдъ за Тамарой настала очередь наивпой, довѣрчивой и влюбчивой Вѣрки. Она давно уже была влюблена въ полувоеннаго человѣка, который самъ себя называлъ гражданскимъ чиновникомъ военнаго вѣдомства. Фамилія его была—Дилекторскій. Въ ихъ отношеніяхъ Вѣрка была обожающей стороной, а онъ, какъ важный идолъ, снисходительно принималъ поклоненіе и приносимые дары. Еще съ конца лѣта Вѣрка замѣтила, что ея возлюбленный становится съ нею все холоднѣе и небрежнѣе и, говоря съ нею, живетъ мыслями гдѣ-то далеко-далеко. Она терзалась, ревновала, спрашивала, но всегда получала въ отвѣтъ какія-то неопредѣленныя фразы, какіе-то зловѣщіе намеки на близкое несчастіе, на преждевременную могилу.

Въ началѣ сентября онъ наконецъ признался ей, что растратилъ казенныя деньги, большія, что-то около трехъ тысячъ, и что его дней черезъ пять будутъ рѣзывать и ему. Дилекторскому. грозитъ позоръ, судъ и, наконецъ каторжныя работы... Тутъ гражданскій чиновникъ военнаго вѣдомства зарыдалъ, схватившись за голову, и воскликнулъ:

— Моя бѣдная мать!.. Что съ нею будетъ? Она не перенесетъ этого униженія... Нѣтъ! Во сто тысячъ разъ лучше смерть, чѣмъ эти адскія мученія ни въ чемъ неповиннаго человѣка.

Хотя онъ и выжрался, какъ и всегда, стилемъ бульварныхъ романовъ (чѣмъ главнымъ образомъ и предъстилъ довърчивую Вѣрку), но театральная мысль о самоубійствѣ, однажды возникшая, уже не покидала его.

Какъ-то днемъ онъ долго гулялъ съ Вѣркой по Княжескому саду. Уже сильно опустошенный осенью, этотъ чудесный старинный паркъ блисталъ и переливался пышными тонами расцвѣтлившейся листвы: багрянымъ, пурпуровымъ, лимоннымъ, оранжевымъ и густымъ цвѣтомъ стараго устоявшагося вина, и казалось, что холодный воздухъ благоухалъ, какъ драгоценное вино. И все-таки тонкій отпечатокъ, вѣжнѣйшій ароматъ смерти вѣялъ отъ кустовъ, отъ травы, отъ деревьевъ.

Дилекторскій разнѣжился, расчувствовался, умилился надъ собой и заплакалъ. Плакала съ нимъ и Вѣрка.

— Сегодня я убью себя!—сказалъ наконецъ Дилекторскій.—Кончено!..

— Родной мой, не надо!.. Золото мое, не надо!..

— Нельзя,—отвѣтилъ мрачно Дилекторскій.—Проклятыя деньги!.. Что дороже—честь или жизнь?!

— Дорогой мой...

— Не говори, не говори, Анета! (Онъ почему-то предпочиталъ простому имени Вѣрки—аристократическое, имъ самимъ придуманное, Анета). Не говори. Это рѣшено!

— Ахъ, если бы я могла помочь тебѣ! — воскликнула горестно Вѣрка. — Я бы жизнь отдала!.. Каждую каплю крови!..

— Что жизнь?! — съ актерскимъ уныніемъ покачалъ головой Дилекторскій. — Прощай, Анета!.. Прощай!..

Дѣвушка отчаянно закачала головой:

— Не хочу!.. Не хочу!.. Не хочу!.. Возьми меня!.. И я съ тобой!..

Поздно вечеромъ Дилекторскій занялъ номеръ дорогой гостиницы. Онъ зналъ, что черезъ нѣсколько часовъ, можетъ-быть — минутъ, и онъ и Вѣрка будутъ трупами, и потому, хотя у него въ карманѣ было всего-навсего одиннадцать копеекъ, распорядился широко, какъ привычный, заправскій кутила: онъ заказалъ стерляжку уху, дупелей и фрукты и ко всему этому кофе, ликеровъ и двѣ бутылки замороженнаго шампанскаго. Онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ убѣжденъ, что застрѣлится, но думалъ какъ-то наигранно, точно немножко любуясь со стороны своей трагической ролью и наслаждаясь заранѣе отчаяніемъ и удивленіемъ сослуживцевъ. А Вѣрка, какъ сказала внезапно, что пойдетъ на самоубійство вмѣстѣ со своимъ возлюбленнымъ, такъ сразу и укрѣпилась въ этой мысли. И ничего не было для Вѣрки страшнаго въ грядущей смерти. — „Что жъ, развѣ лучше такъ подохнуть, подъ заборомъ?! А тутъ съ милымъ вмѣстѣ! По крайней мѣрѣ, сладкая смерть!..“ И она неистово цѣловала своего чиновника, смѣялась и съ растрепанными курчавыми волосами, съ блестящими глазами была хороша, какъ никогда.

Наступилъ наконецъ послѣдній торжественный моментъ.

— Мы съ тобой насладились, Анета... Выпили чашу до дна и теперъ, по выраженію Пушкина, должны разбить кубокъ! — сказалъ Дилекторскій. — Ты не раскаиваешься, о, моя дорогая?..

— Нѣтъ, нѣтъ!..

— Ты готова?

— Да!—прошептала она и улыбнулась.

— Тогда отвернись къ стѣнѣ и закрой глаза

— Нѣтъ, нѣтъ, милый, не хочу такъ!.. Не хочу! Иди ко мнѣ! Вотъ такъ! Ближе, ближе!.. Дай мнѣ твои глаза, и буду смотрѣть въ нихъ. Дай мнѣ твои губы—я буду тебя цѣловать, а ты... Я не боюсь!.. Смѣлуй!.. Цѣлуй крѣпче!..

Онъ убилъ ее, и когда посмотрѣлъ на ужасное дѣло своихъ рукъ, то вдругъ почувствовалъ омерзительный, гнусный, подлый страхъ. Полуобнаженное тѣло Вѣрки еще трепетало на постели. Ноги у Дилекторскаго подогнулись отъ ужаса, но разсудокъ притворщика, труса и мерзавца бодрствовалъ: у него хватило все-таки настолько мужества, чтобы оттянуть у себя на боку кожу надъ ребрами и прострѣлить ее. И когда онъ падалъ, неистово закричавъ отъ боли, отъ испуга и отъ грома выстрѣла, то по тѣлу Вѣрки пробѣжала послѣдняя судорога.

А черезъ двѣ недѣли послѣ смерти Вѣрки погибла и наивная, смѣшливая, кроткая, скандальная Манька Бѣленькая. Во время одной изъ обычныхъ на Ямкахъ, общихъ крикливыхъ свалокъ, въ громадной дракѣ, кто-то убилъ ее, ударивъ пустой тяжелой бутылкой по головѣ. Убійца такъ и остался неразысканнымъ.

Такъ быстро совершались событія на Ямкахъ, въ домѣ Эммы Эдуардовны, и почти ни одна изъ его жилищъ не избѣгла кровавой, грязной или постыдной участи.

Послѣднимъ, самымъ грандіознымъ и въ то же время самымъ кровавымъ несчастіемъ былъ разгромъ, учиненный на Ямкахъ.

А черезъ недѣлю послѣдовалъ указъ генераль-губернатора о немедленномъ закрытіи домовъ терпимости какъ на Ямкахъ, такъ и на другихъ улицахъ города. Хозяйкамъ дали только недѣльный срокъ для устроенія своихъ имущественныхъ дѣлъ.

Уничтоженные, подавленные, разграбленные, потерявшія все обаяніе прежняго величія, смѣшныя и жалкія—сильно укладывались старыя, поблекшія хозяйки и жирволицыя сиплыя экономки. А черезъ мѣсяць только названіе напоминало о веселой Ямской улицѣ, о буйныхъ, скандальныхъ, ужасныхъ Ямкахъ.

Впрочемъ, и названіе улицы скоро замѣнилось другимъ, болѣе приличнымъ, дабы загладить и самую память о прежнихъ безуардонныхъ временахъ.

И всѣ эти Генриетты-Лошади, Катъки Толстыя, Лельки-Хорьки и другія женщины, всегда наивныя и глупыя, часто трогательныя и забавныя, въ большинствѣ случаевъ обманутыя и исковерканныя дѣти, разошлись въ большомъ городѣ, разсосались въ немъ. Изъ нихъ народился новый слой общества—слой гулящихъ уличныхъ проститутокъ-одиночекъ. И объ ихъ жизни, такой же жалкой и нелѣпой, но окрашенной другими интересами и обычаями, расскажетъ когда-нибудь авторъ этой повѣсти, которую онъ все-таки посвящаетъ юношеству и матерямъ.

РАЗСКАЗЫ.

СНЫ.

(Изъ альбома А. И—ва).

Есть сны безмысленно-простые. „Снѣтъ и на снѣгу щетка“, — такъ рассказываетъ свой сонъ бабушка изъ „Обрыва“. Есть сны, механически, какъ въ кинематографѣ, развертывающіе ленту пройденнаго дня, олицетворяющіе прочитанную книгу или слышанный разговоръ, повторяющіе глубже маленькую уличную сценку. Есть фантастическіе, запутанные и сложные сны, умышленно присочиненные и приукрашенные во время утренняго полубодрствованія. „Рассказывающіе свои сны часто лгутъ“, — замѣчаетъ Меркуціо, другъ Ромео. Есть сны пророческіе, въ которыхъ наше второе „я“, наша вторая темная безсознательная, но вѣчная душа, освобожденная отъ дневнаго шума, отъ жизненной пестрой суеты, отъ низменныхъ расчетовъ трусливаго ума и жадной игры самолюбія, тайно для насъ бодрствуетъ во всеоружіи своей безсмертной мудрости, оцѣниваетъ изъ глубины вѣковъ милліоны мелкихъ и великихъ событій, рассматриваетъ ихъ, какъ правильный, повторяющійся узоръ чудеснаго громаднаго ковра, который не разберешь вблизи, и видитъ естественно и легко его ближайшія очередныя сплетенія ткани.

Есть также сны повторяющіеся, знакомые каждому человеку, общіе всему человѣчеству. Кому изъ насъ не приходилось съ трепетомъ пробираться надъ пропастью, по

узкому карнизу, который становится все уже и уже под ногами, пока не сливается съ гладкою скалою? Кто изъ насъ не бѣжалъ отъ страшнаго преслѣдованія и не становился, какъ животное, на четвереньки, когда ноги отнимались, парализованныя ужасомъ? Наконецъ, кто изъ насъ не лета.тъ?

Летаютъ во снѣ всѣ: взрослые и дѣти, женщины и мужчины, философы и глупцы, ученые и мужики, летаютъ негры, эскимосы, каннибалы, туареги, утонченные европейцы, практичные американцы. Летали спящіе люди и въ глубокой дремлотности; сѣдья сказки, возрастъ которыхъ исчисляется десятками тысячъ лѣтъ, сказки всѣхъ народовъ земли убѣдительно говорятъ о коврахъ-самолетахъ, о волшебныхъ полетахъ на драконахъ, на лебедяхъ, на орлахъ... А сказки не лгутъ. И я думаю, что когда-то, въ страшно отдаленные вѣка, предокъ современнаго человѣка леталъ не только во снѣ, но и въ яви. Когда это было? Въ тѣ ли безслѣдные вѣка, когда на землѣ царила необыкновенно высокая культура, смытая или испепеленная какимъ-нибудь мировымъ катаклизмомъ? Или еще раньше, милліоны лѣтъ тому назадъ, когда, подобно Духу Божію, носился надъ водами крылатый прапрашуръ человѣка?

Безсмертная живая клѣточка, хранящая въ себѣ всѣ накопленныя вѣками формы, свойства и раздраженія, не таетъ ли также въ своей непонятной намъ сущности и бессознательную память всей мировой исторіи?

Я помню отлично мои первые дѣтскіе полеты во снѣ. Тогда мнѣ ничего не стоило однимъ какимъ-то внутреннимъ, непередаваемымъ усиліемъ потерять весь свой вѣсь, отдѣлиться отъ земли, плавно подняться къ высокому потолку и лечь тамъ въ воздухѣ ничкомъ, грудью и лицомъ внизъ. Помню, люди, стоявшіе на землѣ, все старались достать меня оттуда и гонялись за мною съ длинными щетками. Но мнѣ было чрезвычайно легко уходить отъ преслѣдованія. Я дѣлалъ руками и ногами такія же волно-

образныя, скользящія, едва замѣтныя движенія, какія дѣлаетъ хвостомъ и плавниками плавающая рыба, и кругообразными зигзагами изящно в ловко парить въ воздухѣ. И внутри меня все время дрожали ликующій восторженный смѣхъ.

Потомъ я переѣмилъ способъ летанія. Я бралъ въ руки рукоятки обыкновенной дѣтской скакалки, только вмѣсто шнура въ моемъ аппаратѣ была широкая, красная шелковая лента. Я быстро начиналъ вращать эту ленту вокругъ себя и тотчасъ же взмывалъ вверхъ, гораздо выше крышъ и деревьевъ. Леталъ я стоя, и отъ скорости вращенія ленты зависѣли скорость подъема и опусканія. Отставивъ немного въ сторону правую или лѣвую руку, я свободно описывалъ кругъ и вправо и влево. Сильная радость цвѣла въ душѣ. Не такая могучая, какъ прежде, но живая и сладкая.

Потомъ съ каждымъ годомъ летать становилось все труднѣе, и леталъ я все ниже и ниже. Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ не леталъ, а прыгалъ. Разбѣгусь, оттолкнувшись отъ земли и лечу сажень 20, лечу невысоко, волнообразно, то поднимаясь, то опускаясь по своему желанію. И ощущеніе этого длительного прыжка было такъ очаровательно, что хотѣлось вѣрить, что я всегда, когда только захочу, могу повторить опытъ. И, цѣпляясь за эту мысль, я во снѣ убѣждалъ себя: „Вѣдь я не сплю! Если бы я спалъ, я не думалъ бы о томъ, что не сплю. Значитъ, я бодрствую. И значитъ,—какое счастье!—я всегда сумѣю прыгать такъ же далеко, воздушно и пріятно!“

Теперь, на переломѣ лѣтъ зрѣлости, я уже не летаю и не прыгаю вдаль. Изрѣдка мнѣ удается подпрыгнуть на мѣстѣ на аршинъ высоты и продержаться въ воздухѣ секунды 2—3, отчаянно помогая себѣ руками. Я знаю, что вскорѣ и совсѣмъ перестану подниматься на воздухъ. Земля тянетъ, и надо съ этимъ мириться. Но все-таки, если вѣрно то, что жпзнь отдѣльнаго человѣка — это краткое повто-

реніе исторіи всего человѣчества; то я упрямо утверждаю, что люди или ихъ таинственные предки когда-то летали.

И особенно я повѣрилъ въ это однажды, осеннимъ, яснымъ морознымъ утромъ, когда впервые пришлось мнѣ подняться на аэропланъ. Мы тяжело и неукложе отдирались отъ земли. Разъ десять подымались чуть-чуть, и опять падали, и жалко влачили по кочковатой, обмерзшей землѣ. Было немного жутко, немного противно, и хотѣлось потрогать пилота за плечо и сказать ему: „Довольно, Ваня, и не хочу болѣше. Я слѣзу“.

Но вотъ какимъ-то чудомъ мы преодолѣли упорство аппарата, отдѣлились отъ земли и пошли все выше, выше, выше. Нѣтъ, мы не двигались, мы стояли на мѣстѣ, а земля, трибуны, дома, трамвай, деревья, трубы, заборы, дороги, столбы—все это плыло подъ нами назадъ, назадъ. И прежнее младенческое чувство безмѣрнаго восторга, буйнаго и трепетнаго, охватило мою душу какимъ-то холоднымъ сладостнымъ пламенемъ. Какъ будто вмѣстѣ съ вѣсомъ спали съ меня и тяжесть годовъ, и печаль прошлаго, и будничныя заботы настоящаго, и подлый страхъ будущаго. И самая главная мысль, — нѣтъ, вѣрнѣе, главное чувство,—было то, что всѣ эти ощущенія я уже испытывалъ когда-то давнымъ-давно, тысячи лѣтъ тому назадъ, испытывалъ такъ же живо, глубоко и радостно.

И тогда же я подумалъ, что не война, не политика, не умные разговоры, не конференціи приведутъ человѣчество къ братскому единенію, а великое искусство летанія, съ его чистыми блаженными радостями и съ его великой свободой. И теперь, когда крылья бѣлыхъ птицъ, крылья лучшей вѣчной мечты человѣчества бьются судорожно въ крови и въ огнѣ, я все-таки твержу упорно: „Человѣкъ леталъ. Человѣкъ полетитъ. Человѣкъ пришелъ въ міръ для безмѣрной свободы, творчества и счастья“.

Ф і а л к и.

Начало мая. Триста молодыхъ кадетскихъ сердець трепещутъ, переполненныи странными, смѣшными и трогательными чувствами: азартомъ, честолюбіемъ, отчаяніемъ, смертельнымъ ужасомъ, надеждой на слѣпое счастье, униженіемъ, тупой покорностью судьбѣ... Необычайной стала жизнь, вышедшая изъ привычныхъ рамокъ суроваго военного уклада, расчисляющаго по командамъ и сигналамъ каждую минуту дня и ночи... Парты вынесены изъ классовъ въ длинныя рекреационныя залы и разставлены по вкусамъ сосѣдей, которые зимою ссорятся, какъ пара каюторжанниковъ, скованныхъ короткой цѣпью, а генеръ предупредительны, уступчивы и услужливы, точно молодожены. А иногда можно увидѣть, что пять или шесть партъ соединились вмѣстѣ, образовавъ сомкнутую многоугольную фигуру бастіона, со стѣной сзади, въ видѣ неварушимаго тыла. Тамъ засѣдаетъ эгоистическая артель муравьенъ, работающая сообща и безпощадная къ искательствамъ бездомныхъ стрекозъ.

И цѣлый день зубрять, зубрять. Иные, закрывъ пальцами глаза, уши и даже носъ, какъ это дѣлаютъ трусливые купальщики, качаются взадъ и впередъ въ ртучей истомѣ. Первые ученики держатся твердо и увѣренно, но и они поблѣднѣли и осунулись за эти страданные дни. Они хорошо знаютъ, что пройдутъ блестяще, но все-таки коно-

шится тревожная и завистливая мысль:— „А вдругъ? Вдругъ не первымъ, а вторымъ?..“

Милыя дѣти, первые ученики, украшеніе корпуса, гордость родителей! Вы не хуже и не лучше другихъ дѣтей. Но что значитъ первенство и праздное честолюбіе въ сравненіи съ тѣмъ, что мимо васъ прошла еще одна весна юности? Конечно, придутъ и другія весны, которыми вы впоследствии, на досугѣ, будете комфортабельно и медленно наслаждаться, сознательно смакуя ихъ прелести на сѣверѣ и на югѣ хоть всѣхъ странъ міра. Но никогда не вернется именно эта, эта самая весна, готовая буйно и щедро вторгнуться въ ваши зоркіе глаза, въ разверстыя ноздри, въ чуткія уши, въ ваши жадные, наблюдательные, дѣятельные, ничѣмъ не запятанные умы, вторгнуться и оставить тамъ навѣки доброе сѣмя радости и красоты земной.

Того же самаго мнѣнія и семиклассникъ Дмитрій Казаковъ. Вѣрнѣе сказать, у него столько же мнѣнія о вліяніи природы на человѣческія души, сколько его у жеребенка, скачущаго по зеленому лугу, у журавля, пляшущаго и поющаго на полянкѣ, среди болотъ, страстную любовную пѣсню, у годовалой лисицы, трепетно и осторожно нюхающей впервые изъ своей норы весенній волнующій воздухъ, у ручнаго крсткаго верблюда, который вдругъ становится не ною страшнымъ въ своемъ бѣшенствѣ.

Просто-напросто, весна съ ея колдовскими ароматами, вкрадчивыми чарами и мятежными снами обволокла его душу непонятной истомой и щекочущей безсознательной радостью, отъ которой хочешь и плакать и смѣяться и не знаешь, куда дѣвать себя, то отъ непомѣрнаго счастья, то отъ сладкой тоски. Развѣ могъ бы Казаковъ сказать себѣ, почему прошлымъ лѣтомъ, живя въ имѣніи, опъ— солидный шестиклассникъ, курившій почти открыто, бавившій и лучше всѣхъ товарищей притягивавшійся къ

турнику на одной рукѣ,—вдругъ, случилось, не могъ преодолѣть въ себѣ безумнаго мальчишескаго желанія взять и помчаться дикимъ галопомъ по высокой росистой вечерней травѣ, изгибая голову, брыкаясь, визжа и пьянѣя отъ острыхъ запаховъ полыни, повилики, ромашки и клевера? И почему ночью, во время сильной грозы, онъ выскакивалъ изъ дому совсѣмъ голый, босой, торопливо просовывалъ ногу въ ляжку гигантскихъ шаговъ, и одинъ, подъ жестокимъ дождемъ, взмывалъ высоко къ черному небу, къ грому и молніямъ, дрожа отъ изступленнаго восторга, отъ безпредметнаго вызова, отъ нилкаго ликованія молодого тѣла?

Такъ и въ эту весну онъ весь во власти таинственныхъ грезъ, безпокойнаго смятенія и раздражающаго трепетанія жизни. Гдѣ же тутъ учиться? Да и никогда онъ особенно не влегаль въ этотъ хомутъ. Быть среднимъ по успѣхамъ, или немного пониже, — не все ли равно? На экзаменахъ можно овладѣть своей волей, понатужиться—и все наверстать. Но теперь онъ живетъ въ странномъ очарованіи, точно опвоенный сладкимъ дурманомъ. Онъ просыпается, спѣшитъ къ окну, садится на подоконникъ—и точно впервые, съ новымъ удивленіемъ—не говоритъ себѣ, а глубоко чувствуетъ: вотъ синее небо, вотъ легкія сквозныя облака, и трава, и деревья тамъ, далеко, за зданіями. И ходитъ весь день вилый по огромному, вытоптанному многими тысячами ногъ, корпусному плацу. Ложится на чахлаю, жалкую, низкую траву и долго, какъ на сверхъестественное чудо, дивится на суетливую, загадочную бѣготню муравьевъ, на цѣпь сплетшихся букашекъ, красныхъ съ черными пятнами, медленно ползущихъ между былинками. Читаетъ по десяти разъ подъ-рядъ одну и ту же фразу и никакъ не можетъ постичь, что такое здѣсь написано? И, отбросивъ книгу, ложится ничкомъ, смотритъ въ бездонное небо до тѣхъ поръ, пока отъ движенія причудли-

выхъ облаковъ самъ не начинаетъ медленно плыть куда-то, въ вѣчное пространство, вмѣстѣ со своими воздушными мыслями.

И вотъ наступаетъ самое сладкое, самое тревожное, самое чудное—вечеръ. Стемнѣло. Едва-едва пламенѣеть тихая заря. Зеленая сумерки. Черны и рѣзки контуры здавія съ ихъ чуждыми теперь, пустыми, неосвѣщенными окнами. Бѣлыя фигуры товарищей движутся точно завороженные. Каждая вѣточка деревьевъ поразительно четка на небѣ, которое свѣтлѣе земли. Гудитъ невидимые майскіе жуки. Стройная пѣсня вдали. Смягченный смѣхъ и разговоръ. Каждый звукъ доносится точно изъ другого міра. И все это, какъ пряное вино, вливается въ каждую каплю крови и тихо-тихо кружить голову. Кто же это проходитъ сейчасъ черезъ всю землю, незримый и слышимый? Чье дыханіе подымаетъ волосы на головѣ и ласкаетъ щеку? Отчего вдругъ стѣснилось дыханіе и пересохло во рту, и слезы на глазахъ? Какое чудо должно случиться сейчасъ, черезъ минуту, черезъ мгновеніе?

Пора. Зовутъ спать. Летучія мыши низко и косо чертятъ черными зигзагами воздухъ и порою почти касаются лица... Я уйду туда, въ скучныя, сѣрыя стѣны, и безъ меня, безъ мена совершится подъ темнымъ небомъ великое таинство!..

Послѣзавра послѣдніе, самые страшные экзамены по математикѣ, но зато сегодня такое чудное утро, точно на небѣ справляются именины. И Дмитрій рѣшительно швыряетъ толстаго Краевича подъ парту. Сегодня онъ удержитъ и побродяжничаетъ по запретному, старому дворцовому парку. Онъ никого не возьметъ съ собою, никого! Пойдетъ совсѣмъ одинъ.

За завтракомъ онъ ловко утягиваетъ изъ-подъ руки зазѣвавшагося служителя лишнюю котлету и, сжавъ ее между

двумя кусками черного хлѣба, суеть въ карманъ. Можетъ-быть, онъ опоздаетъ къ обѣду, но кому же изъ начальства теперь, въ общее безпокойное и горячее время, придется въ голову доискиваться, всѣ ли налицо?

Трудень путь до парка. На углу древняго земляного бруствера торчитъ дежурный дядька, безналый панъ Пневскій, придиричивый служака и вѣчный довосчикъ. Онъ не спускаетъ своихъ безциѣтныхъ, оловянныхъ, но точныхъ солдатскихъ глазъ съ той единственной дорожки, по которой можно ускользнуть: прорывъ бруствера, затѣмъ кувыркомъ съ горы, рядомъ съ зимнимъ каткомъ, потомъ еще шаговъ тридцать-сорокъ по открытому мѣсту, до пруда, а тамъ уже вдоль зеленаго, густаго, какъ ботвинья, пруда растутъ непроницаемой стѣной корявыя, душистыя столѣтнія ивы! Тамъ незамѣтно.

Надзоръ бдительнаго дядьки берется обмануть вѣрный товарищъ. Съ лицемѣрной щедростью суеть онъ пану Пневскому зараше припасенную утреннюю булку. У пана большая семья, и каждый кусокъ въ ней не лишній. Затѣмъ закидывается коварная, но самая вѣрная удочка: „На какой войнѣ и въ какомъ сраженіи панъ Пневскій лишился двухъ пальцевъ на правой рукѣ?“. Панъ Пневскій сначала недовѣрчиво косится. Опъ уже не разъ клевалъ на эту соблазнительную приманку. Но лицо спрашивающаго такъ простодушно, а въ славныхъ глазахъ такъ много живого участія, а сама тема разказа о томъ, какъ панъ Пневскій, польскій шляхтичъ, изъ красавца, силача и лучшаго работника сдѣлался калѣкой, такъ неумирающе-близка его сердцу, что—хватъ—и рыбка попалась.

А Казакъ въ это время мчится подъ вѣрной защитой развѣсистыхъ ивъ быстрѣ степного вѣтра. Онъ не можетъ умѣрить своего бѣга до самаго конца пруда и остававляется, только достигнувъ пригорка, на которомъ тѣсно столпились кусты бузины, волчьей ягоды и дикой жинто-

лости. Здѣсь онъ передыхаетъ и идетъ шагомъ мимо кухни, мимо заброшенной оранжереи съ уцѣлѣвшими лишь кое-гдѣ мутно-радужными стеклами, легко перепрыгиваетъ водяной розъ и спускается къ узкой, но глубокой рѣчкѣ.

Вода въ рѣкѣ кажется черной, какъ чернила, отъ кустовъ, которые густо обступили ее съ обѣихъ сторонъ и купаютъ въ ней свои свѣсившіяся длинныя вѣтви. И пахнетъ она нехорошо, отъ близости многихъ фабрикъ. Но другого выбора нѣтъ. Раздѣвшись съ непостижимой скоростью, Казаковъ, безъ раздумья, съ разбѣгу бросается въ воду, достигаетъ ногами противнаго, коряжистаго, скользкаго илистаго дна, задыхается на мгновеніе, обожженный жестокимъ холодомъ, и ловко, по саженкамъ, переплываетъ рѣчку безъ отдыха и обратно. И когда онъ, одѣвшись, взбирается медленно наверхъ, то съ наслажденіемъ чувствуетъ удивительную легкость въ каждомъ мускулѣ: точно все его тѣло потеряло вѣсъ, и, кажется, стѣдуетъ сдѣлать лишь самое незначительное усиліе, чтобы отдѣлиться отъ земли и полетѣть въ воздухъ, какъ большая птица.

И вотъ наконецъ онъ входитъ подъ высокіе навѣсы парковой аллеи. Старинныя липы, современницы Петра Великаго, подарившаго когда-то этотъ паркъ вмѣстѣ съ дворцомъ любимому вельможѣ, такъ сказочно, такъ невѣроятно высоки, что каждый человекъ, идя подъ ними, невольно чувствуетъ себя маленькимъ. Здѣсь всегда зеленая подутьма и сыроватая прохлада. Липы изрѣдка тамъ и сямъ на землѣ блестятъ, струятся и трепещутъ двойныя солнечныя кружочки, точно кто-то бросаетъ сверху капризной рукой золотыя монеты. И Казаковъ идетъ по широкой, тихой, величавой аллеѣ, точно по пустому, безлюдному, холодному храму, куда онъ зашелъ случайно въ жаркій полдень. Вотъ мраморная, изрытая временемъ, львиная голова, точащая изъ пасти въ плоскую чашу тонкую се-

ребристую нитку воды. Казаковъ подставляетъ ротъ и съ наслажденіемъ глотаетъ холодную сладкую влагу.

Но когда онъ отнимае ть ротъ, съ котораго падаютъ свѣтлыя капли, то неожиданно его обонянiя касается удивительный аромать—топкій, нѣжный и упонительно-скромный. Слѣдя за нимъ, поворачивая голову въ разныя стороны, вдыхая воздухъ расширенными ноздрями, точно собака на охотѣ, онъ спускается внизъ, въ сырой, мокроватый оврагъ, куда ручейкомъ стекаетъ вода, переполняющая чашу. Чудесное открытіе. Цѣлый оазисъ пашихъ милыхъ, темныхъ, маленькихъ, сѣверныхъ фіалокъ, благоухающихъ, какъ нигдѣ въ цѣломъ мірѣ.

Онъ осторожно, ползая на колѣнахъ, рветъ цвѣты, стараясь ихъ не мять, дѣлае ть съ безсознательнымъ изыществомъ небольшой букетикъ, обворачиваетъ его круглыми, влажными листьями и наконецъ обматываетъ ниткой, которую зубами выдергиваетъ изъ казеннаго платка.

Но когда онъ опять подымается наверхъ, на полузаросшую травой дорогу, то невиданное, очаровательнее зрѣлище заставляе ть его остановиться въ нѣмомъ восторгѣ, почти въ страхѣ. Прямо на него, посрединѣ аллеи, медленно движется, точно плыве ть въ воздухѣ, не касаясь земли погами, женщина. Она вся въ бѣломъ и среди густой, темной зелени подобна оживленному чудомъ мраморному изваянію, сошедшему съ пьедестала. Она все ближе и ближе, точно надвигающееся сладкое и грозное чудо. Она высока, легка и стройна, и ея цвѣтущее тѣло прекрасно. Ея руки со свободной граціей опущены вдоль бедеръ. Какъ царская корона, лежатъ вокругъ ея головы тяжелыя сіяющія золотыя косы, и кто-то невидимый осыпаетъ сверху ея бѣлую фигуру золотыми скользящими лепестками. Теперь она въ двухъ шагахъ... Каждая черта ея молодого свѣжаго лица чиста, благородна и проста, какъ гениальная мелодія. Взглядъ ея широкихъ глазъ не-

обычайно добръ, ясенъ и радостенъ. И цвѣтъ ихъ странно напоминаетъ тѣ цвѣты, которые дрожатъ въ рукѣ неподвижнаго мальчика.

Но вотъ она со свѣтлой улыбкой останавливается. И, точно звуки віолончели, раздается ея полный, глубокой голосъ:

— Какія прелестныя фіалки... Неужели вы здѣсь ихъ пабрали?.. Какъ много и какія милыя.

— Здѣсь...—отвѣчаетъ чей-то чужой голосъ изъ груди Казакова. И не онъ, а кто-то другой, окруженный розовымъ туманомъ, протягиваетъ цвѣты и произноситъ:

— Прошу васъ, примите ихъ, если они вамъ нравятся... Я буду...

Горло кадета суживается отъ волненія. Сердце бурно бьется. Глаза готовы наполниться слезами. И сказочная принцесса понимаетъ его. Ея лицо озаряется вѣжной улыбкой и слегка краснѣетъ. Она говоритъ ласково: „благодарю“, — и это простое слово звучитъ, какъ литавры въ торжественномъ хорѣ ангеловъ. И изящнымъ движеніемъ она прицѣпляетъ скромный фіолетовый букетикъ къ своей груди, туда, гдѣ сквозь легкое бѣлое кружево розовѣетъ ея тѣло. Она протягиваетъ Казакову свою милую, теплую руку, пожатіе которой такъ плотно, мягко и дружественно. И вмѣстѣ съ ароматомъ фіалокъ мальчикъ слышитъ какое-то новое, шелковое, теплое, сладкое благоуханіе.

Затѣмъ они говорятъ о томъ, чего потомъ Казаковъ никогда не вспомнить. Остались въ памяти лишь отрывки: что она бываетъ ежегодно на рождественскихъ балахъ въ томъ училищѣ, куда Казаковъ поступить, окончивъ корпусъ, и что сегодня вечеромъ она уѣзжаетъ за границу. Она спрашиваетъ, какъ зовутъ Казакова, и неизъяснимой гармоніей поетъ въ ея устахъ имя Дмитрій.

Она первая отпускаетъ его. Она смотритъ на маленькіе золотые часы, опять протягиваетъ ему свою божественную

руку и говоритъ: „До свиданія! Мнѣ очень пріятно было встрѣтиться съ вами“. Да, да, да! Она такъ и сказала— „до свиданія!“ И исчезаетъ, какъ сказка, за поворотомъ аллеи.

А вечеромъ, въ спальнѣ, Казаковъ долго не спитъ, лежа въ своей кровати. Онъ прижимаетъ крѣпко руки къ груди и жарко и благодарно шепчетъ: „Господи! Господи!..“ И въ этихъ словахъ наивное, но великое благословеніе всему: землѣ, водамъ, деревьямъ, цвѣтамъ, небесамъ, запахамъ, людямъ, звѣрямъ, и вѣчной благодати, и вѣчной красотѣ, заключенной въ женщинѣ... И потомъ онъ плачетъ долгими, радостными, свѣтлыми слезами, которыя никогда уже не повторятся въ его жизни. И какъ бы потомъ ни сложилась его жизнь со всѣми ея паденіями и удачами, дружбой и ненавистью, любовью и отвращеніемъ, — онъ всегда, даже въ старости, — онъ, позабывшій имена и лица любившихъ его женщинъ, — благодарно и счастливо улыбнется, вспомнивъ фіалки, приколотыя къ груди принцессы изъ сказки.

Потому что на его долю выпало рѣдкое счастье испытать хоть на мгновеніе ту истинную любовь, въ которой заключено все: цѣломудріе, поэзія, красота и молодость.

1915.

Садъ Пречистой Дѣвы.

(Посвящаю Е. М. Куприной).

Далеко за предѣлами Млечнаго Пути, на планетѣ, которую никогда не увидитъ глазъ прилежнаго астронома, растетъ чудесный таинственный садъ, владѣніе Пресвятой и Пречистой Дѣвы Маріи... Всѣ цвѣты, какіе только существуютъ на нашей бѣдной и грѣшной землѣ, цвѣтутъ тамъ долгою, по многу лѣтъ не увидающею жизнью, охраняемые и лелѣемые терпѣливыми руками незримыхъ работниковъ. И въ каждомъ цвѣткѣ заключена частица души человѣка, живущаго на землѣ, та частица, которая такъ удивительно бодрствуетъ во время нашего ночного сна, водить насъ по диковиннымъ странамъ, воскрешаетъ умчавшіяся столѣтія, показываетъ намъ лица давно ушедшихъ друзей, ткеть въ нашемъ воображеніи пестрыя, узорчатая ткани соннаго бытія — сладкія, забавныя, ужасныя и блаженныя, — заставляетъ насъ просыпаться въ безпричинной радости и въ жгучихъ слезахъ и часто пріоткрываетъ передъ нами непроницаемую завѣсу, за которой таятся темныя пути грядущаго, понятныя только дѣтямъ, мудрецамъ и свитымъ прозорливцамъ. Цвѣты эти — души сновъ человѣческихъ.

Въ каждое полнолуніе, въ тѣ ранніе предутренніе часы, когда ночныя наши видѣнія особенно ярки, подвижны и тревожны, когда блѣдныя лунатики съ закрытыми глазами и съ лицами, обращенными къ небу, возвращаются по

опаснымъ карнизамъ зданій въ свои остывшія постели, когда раскрываются ночные цвѣты, — тогда проходитъ Пречистая тихими, легкими шагами по Своему саду. Круглый, ясный мѣсяцъ скользитъ у Нея съ правой стороны, а за нимъ, не отставая, все въ томъ же разстояніи, течетъ малая звѣзда, подобная лодочкѣ, привязанной невидимой нитью къ кормѣ бѣгущаго корабля. Потомъ корабль и лодка скрываются, зарожутся въ дымныхъ оранжевыхъ пухлыхъ облакахъ и вдругъ снова вынырнуть на темный, синій просторъ. И серебристымъ свѣтомъ одѣнутся голубой хитонъ Пресвятой Дѣвы и Ея прекрасное лицо, всю красоту и благодать котораго не въ силахъ изобразить человѣкъ ни кистью, ни словомъ, ни музыкой.

И, взволнованные, въ радостномъ нетерпѣніи, трепещутъ цвѣты и качаются на своихъ тонкихъ стебелькахъ, стремясь, точно заждавшіяся дѣти, прикоснуться лепестками къ голубому хитону. И нѣжно улыбается ихъ чистому восторгу Марія, Мать Иисуса, такъ любившаго цвѣты во время Своей земной жизни. Своими тонкими, бѣлыми, добрыми пальцами воздушно ласкаетъ Она души младенцевъ, — скромныя маргаритки, лютики, подснежники, веронику и пушистые сказочные шары одуванчиковъ. И никого Она не забываетъ въ Своей безпредѣльной милости: ни нарциссовъ — цвѣтовъ влюбленныхъ, ни гордыхъ страстныхъ розъ, ни чванныхъ піоновъ, ни страшныхъ въ своей причудливой красотѣ орхидей, ни горькихъ огненныхъ маковъ, ни туберозъ и гіацинтовъ, изливающихъ свои пряные ароматы у смертнаго ложа. Дѣвичьи многоцвѣтные сны посылаетъ Она ландышамъ, фіалкамъ, анемонамъ и резедѣ. И простымъ полевымъ цвѣтамъ, душамъ незамѣтныхъ труженниковъ, истомившихъ за день свои ерѣпкія тѣла, даритъ Она глубокой и здоровый покой.

Посѣщаетъ Она и отдаленные дикіе уголки Своего сада, гдѣ растутъ колючіе уродливые кактусы, болѣзненно-зеленые

папоротники, грязно-блѣдная беладонна, пьяный хмель и могильный ползучій плющъ. И всѣмъ имъ, отчаявшимся въ земной радости, разочарованнымъ въ жизни, всѣмъ скорбящимъ, озлобленнымъ и тоскующимъ, всѣмъ мрачно идущимъ навстрѣчу смерти, даетъ Она минуты полнаго забвенія, — безъ грезъ, безъ воспоминаній...

А утромъ, когда изъ пурпура и золота зари встаетъ торжествующее, горящее вѣчной побѣдой солнце, Пречистая поднимаетъ къ небу Свои лучезарные глаза и произноситъ благоговѣнно:

„Да будетъ благословенъ Творецъ, показывающій намъ знаменіе Своего величія. И все Имъ сотворенное да будетъ благословенно. И святое вѣчное материнство міра да будетъ благословенно. Во вѣки вѣковъ“.

И едва слышнымъ шопотомъ отвѣчаютъ цвѣты:

„Аминь“.

И, какъ ошмѣямъ кадильницъ, подымается вверхъ ихъ ароматное дыханіе. И ликъ солнца дрожитъ, отражаясь радужными огнями въ каждой росинкѣ.

И въ эту ночь проходитъ Пречистая по Своему саду. Но опечалено Ея свѣтлое лицо, и олущены рѣсницы прекрасныхъ глазъ, и бессильно упали вдоль складокъ голубого хитона изнеможенные руки. Страшные видѣнія проносятся передъ Нею. Налюенные кровью, сырые, красные дуга и нивы. Сожженные дома и церкви. Поруганные женщины, обиженные дѣти. Сплошные холмы, цѣлыя горы наваленныхъ одинъ на другой труповъ, подъ которыми хрипятъ умирающе. Стоны, проклятія и богохульство, вырывающіеся сквозь предсмертную икоту и скрежетъ зубовой... Изуродованные тѣла, изсохшія материнскія груди, сочащіяся раны, поля сраженій, червья отъ слетѣвшагося воронья.

Надъ миромъ нависла душная, грозовая тишина. Вѣтеръ не вздохнетъ. Но цвѣты шатаются въ смятеніи, точно подъ

бурей, и пригибаются къ землѣ, и съ безпредѣльной мольбой протягиваютъ къ Владычицѣ свои вѣнчики..

Замкнуты Ея уста и скорбно Ея лицо. Снова и снова встаетъ передъ нею образъ Того, Кого человѣческая злоба, зависть, корысть, нетерпимость и властолюбіе осудили на страшнѣйшія мученія и позорную казнь. Вновь Она видитъ Его избитаго, окровавленнаго, несущаго на Себѣ тяжелый крестъ и падающаго подъ нимъ. Видитъ темныя брызги на пыльной дорогѣ — капли Его божественной крови, видитъ Его возлюбленное прекрасное тѣло, теперь изуродованное мученіями, висящее на вывихнутыхъ рукахъ, съ выпяченной грудной клѣткой, съ кровавымъ потомъ на смертельно-блѣдномъ челѣ. Снова слышитъ Она ужасающій шопотъ: „Жажду!..“ И снова, какъ и тогда, острый мечъ вонзается въ Ея материнское сердце.

Восходитъ солнце, окутанное тяжелыми густыми облаками. Огромнымъ багровымъ пятномъ, всемірнымъ кровавымъ пожаромъ горитъ оно на небѣ. И, полнимая вверхъ Свои печальные глаза, спрашиваетъ робко, дрожащимъ голосомъ, Пресвятая:

„Господи! Гдѣ же граница гнѣву Твоему?“

Но неукротимъ гнѣвъ Господень, и никому не дано знать предѣловъ Его. И когда въ тоскѣ смертельной опускаетъ Пречистая Дѣва глаза Свои на землю, то видитъ Она, что невинныя чашечки цвѣтовъ наполнены кровавою росой.

1915.

Два святителя.

Вспыльчивый, страстный, дерзкій на слово и на руку, небрежливый и безпокойный былъ епископъ Николай, кроткій и немудреный пастырь своего стада. Двери его дома всегда были не замкнуты: и днемъ и ночью. Приходили къ нему христіане, и тайные язычники, и даже аріане, приходили знаменитые римскіе вельможи, рыбаки, матросы, всадники, актеры, каменотесы, плотники, землевладѣльцы, рабы и вольноотпущенники, гладіаторы, воры, палачи, наемные убійцы, вдовы, сироты, старики, дѣти... Особенно дѣти. Ссорились и мирились, цѣловались и опять ссорились, дразнили другъ дружку, танцовали, плакали и смѣялись, таскали потихоньку сладкое и во всѣхъ своихъ маленькихъ обидахъ требовали, чтобы судьей ихъ былъ непременно самъ владыка. Бывало, разыгравшись, представляли самого отца Николая (и правда, онъ былъ истиннымъ отцомъ, больше, чѣмъ родные отцы), а онъ увидить и сурово крикнетъ на нихъ. И самъ не можетъ сдержатъ улыбку. И дѣти разсмѣются. Вѣдь онъ только притворяется строгимъ.

Ни одной, даже самой пустячной просьбы онъ не оставялъ безъ вниманія. И сколько тяжелыхъ человѣческихъ грѣховъ онъ разрѣшалъ и лѣчилъ своею благодатною душою! Но его столѣтняя экономка и стряпуха Василида

часто дѣлала ему выговоры за то, что скромная его казна отверста для каждаго проходимца...

Касьянъ Римлянинъ былъ сыномъ, вѣнкомъ в правнукомъ свободныхъ римскихъ гражданъ. Получилъ онъ по тому времени широкое образованіе, т.-е. зналъ очень многое и притомъ зналъ основательно. Онъ свободно владѣлъ греческимъ и древне-еврейскимъ языками, разбиралъ арабскія, халдейскія, финикійскія и египетскія надписи, начертанныя на папирусѣ и на камняхъ, понималъ въ музыкѣ, стихосложеніи и архитектурѣ и былъ усерднымъ посьбителемъ многочисленныхъ философскихъ школъ. Умѣлъ молча слушать и кстати сказать вѣское слово. Цѣнилъ шутку, но самъ рѣдко смѣялся. Былъ образцомъ вниманія, вѣжливости, терпѣнія и учтивости. Никогда не опаздывалъ и всегда приходилъ вѣ-время. Къ чужимъ слабостямъ былъ холодно-снисходителенъ, но къ самому себѣ неумолимо-суровъ.

Подъ конецъ своихъ земныхъ дней, слѣдуя искреннему душевному влеченію, онъ удалился въ монастырь, гдѣ былъ настоятелемъ. Гораздо раньше великихъ учителей Аптонія и Феодосія онъ разработалъ монашескій уставъ, не пренебрегая даже мелочами. Замѣчательны его указанія относительно одеждъ, чиновначалія, братскихъ привѣтствій, постовъ, молитвъ, трапезъ, послушанія, цѣломудрія, а также обѣтовъ молчанія, смиренія и покаянія. Труды его до сихъ поръ еще не оцѣнены по достоинству св. церковью, но несомнѣнно, что многіе умиленные акаѳисты, точные каноны и ставшія апокрифическими, безвѣстныя изреченія принадлежатъ его творчеству. Въ нихъ чувствуется та сжатость и мѣткость, то благородство стили и то уваженіе къ слову, которыя роднятъ Касьяна Римлянина съ Юліемъ Цезаремъ, Светоніемъ, Гораціемъ и другими римскими языческими классиками.

... Не знаю, читалъ ли я гдѣ-нибудь давнымъ-давно эту легенду, или, можетъ-быть, кто-то рассказывалъ мнѣ ее въ моемъ отдаленномъ дѣтствѣ, но вотъ нѣ однажды случилось. Приходить посланецъ Божій, Архангелъ Гавріиль къ обоимъ святителямъ и говоритъ:

— Васъ зоветъ къ Себѣ Господь. Надѣньте бѣлыя одежды.

Касьянъ всегда былъ готовъ предстать предъ страшное и грозное лицо Судіи. Взялъ онъ въ руки легкой посохъ и сказалъ:

— Пойдемъ, братъ Николай.

А Николай забеспокоился. „Какъ же,—думаетъ онъ,— оставлю я свое малое стадо? Вотъ этого завтра будутъ казнить, а того надо освободить изъ тюрьмы, здѣсь грузчикъ плохо обращается съ семьей,—слѣдуетъ его построить, да и дѣтишки безъ меня соскучатся“... Но, впрочемъ, подумаль-подумаль, вздохнулъ и сказалъ:

— Ты ужъ тамъ, Василида, безъ меня не особенно скупись на деньги!

— Знаю,—отвѣтила Василида.—Вы бы сами тамъ, какъ-нибудь, поаккуратнѣе, владыко.

— Постараюсь, честная мать Василида! Пойдемъ, братъ Касьянъ,—я собрался.

Вотъ, стало-быть, идутъ они путемъ-дорогою, и все у нихъ по-хорошему. Оба спокойные, оба въ бѣлыхъ одеждахъ. И сердца ихъ такъ же чисты, какъ ихъ ризы. Но неумная душа Николая нѣтъ-нѣтъ, да и взметнется: „Заушиль ты Арія, Николай?“—спросить Господь.—„Я такъ прямо и отвѣчу: Да, Господи, заушиль!“—„Какъ же тебѣ не стыдно? А еще святитель, а еще епископъ, а еще воздержанія учитель!..“—„Да,—скажу,—Господи, это—мой великій грѣхъ. Не стерпѣлъ. Очень мнѣ противно показалось. Ужъ если сомнѣваться въ томъ, что Иисусъ Христосъ не Твой Сынъ, а простой обыкновенный человѣкъ, то, значить, додой и вѣру, и церковь, и будущую жизнь. Сто-

кратно неправъ былъ я въ тотъ день. Накажи меня, Отецъ, накажи посильнѣе...“ А вотъ то, что ко мнѣ разные люди приходятъ,—и блудницы, и преступники, и язычники, и всякій простой народъ, и я ихъ враую и паставляю, какъ умѣю... Тутъ ужъ я ничего не сумѣю отвѣтить. Просто скажу Ему: „Куда же имъ, глупымъ и бѣднымъ, итти, кромѣ меня? Ну, невольно и пожалѣешь. Прости меня, Всемилостивый, за смѣлость мою!“

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Вотъ уже почти дошли святители до Града Невидимаго, и вдругъ на пути заминка. Оказывается, ѣхалъ мужикъ съ тяжелымъ возомъ по грязной дорогѣ, да заснулъ и увязилъ въ грязищѣ лошадь и телѣгу. Ну, извѣстно, мужикъ—дуракъ. Давай полосовать мерина и кнутомъ и кнутовнщемъ, да еще ругается.

— Экій ты, братецъ, какой несуразный!—говоритъ ему Николай.—Чѣмъ зря животину стегать, ты бы ее разсупонилъ сначала.

— А ты откуда взялся, такой-сякой? Самъ разсупонивай, коли тебѣ охота!

— И обязательно разсупоню.

Разсупонилъ, поставилъ Николай одра на ноги, огладилъ. Лошаденка о святителейъ рукавъ мордой потерлась, а отъ нея паръ идетъ.

— Ну, теперь,—говоритъ Николай,—давай, мужичокъ, телѣгу выворачивать.

— Я тебѣ не батракъ,—это мужикъ-то ему, Николаю.—Самъ тащи!

„Эхъ, дурачокъ, дурачокъ!“—думаетъ Николай. Однако понатужился, покряхтѣлъ, поставилъ возъ на дорогу. Обтеръ, значитъ, ручки объ одежду и ужъ хотѣлъ шагать за Касьяномъ, и еще шага не успѣлъ шагнуть, какъ мужикъ бухъ среди грязи на колѣни и кричить:

— Землячокъ, а землячокъ, положецѣ! Вѣдь это ты правильно сказадь, что л—свинья окаинная и дуракъ. Прости ты меня, пожалуйста. Да и лицо-то твое что-то мнѣ больно знакомое. Можетъ, если по пути, такъ довезъ бы? Ишь ты, какъ пальтецо-то изгваздалъ.

Свѣтло-свѣтло улыбнулся Николай. Погладилъ мужика по его вшивой головѣ и отвѣчаетъ:

— Да ужъ ладно, чего тамъ! Богъ простить. Ты меня не осуди на скоромъ словѣ. А итти намъ не по дорогѣ: мы къ начальству.

Мужичонка ему кричитъ вслѣдъ:

— А можетъ, когда въ нашу деревню завернешь? Я для тебя—все. Самоваръ выпьемъ. Я для тебя въ лепешку растреплюсь. Старуха моя какъ рада будетъ! Она, братъ...

И унесъ вѣтеръ мужиковы слова въ степь.

Идутъ дальше святители. Николай, пѣть-цѣтъ, да и вспомнить про своего мужичка и весело ухмыльнется въ сѣдую, круглую, короткую бороду. Но и Касьянъ его не осуждаетъ. „Будь время,—думаетъ,—и бы и самъ бѣд-няжкѣ пособилъ и вразумилъ бы его. А то вѣдь дѣло-то какое: самъ Господь требуетъ“.

Вотъ такимъ-то манеромъ и пришли они въ рай. Тамъ все кругомъ цвѣты бѣлые, духъ отъ нихъ хорошій, дорожки песочкомъ посыпаны. Ангелы это ходять, крылышки у всѣхъ у нихъ бѣленькіе, ликуются, пѣсни играютъ сладкія. Угоднички святые въ праздничныхъ ризахъ по парочкамъ расхаживаютъ, бесѣды бесѣдуютъ утѣшныя. Жаръ-птицы по деревцамъ перепархиваютъ. Ручейки журчатъ...

Встрѣчаетъ святителей самъ Архангелъ Гавріиль, открываетъ большія золотыя двери брильянтовымъ ключомъ и говоритъ:

— Миръ вамъ, учителя!

— Миръ и тебѣ!

А тутъ какъ разъ сидитъ на тронѣ и Господь-Богъ Саваоѣ. Стали предъ нимъ святители, поклонились трижды до земли. Ждутъ и молчатъ. Потому что оба они знаютъ, что извѣстны всѣ ихъ дѣла и помышленія и взвѣшены напередъ. И вотъ спрашиваетъ Богъ:

— Отчего же вы такъ поздно? И почему Касьянъ такой бѣлый, а ты, Николай, такъ измарался?

Николай и говоритъ:

— Братъ Касьянъ, ужъ сдѣлай милость, расскажи ты все, какъ было.

Конечно, неловко Касьяну товарища выдавать, однако рассказалъ все по порядку, какъ и что: и про Архангела, и про бѣлыя одежды, и про мужичонку, и про лошадь. Подумалъ-подумалъ Богъ и сказалъ. Сказалъ такъ просто, ласково:

— Звалъ я васъ, дѣти, вотъ для чего: хотѣлъ я вамъ именины назначить. Такъ вотъ, Касьянъ: ты будешь именинникомъ разъ въ четыре года на 29-е февраля. Ибо весь ты въ строгости дѣла Моего, и земныя заботы только отяготятъ тебя. Ученики твои будутъ чисты видомъ и крѣпки въ поступкахъ. И уставъ Мой будутъ блюсти паче обычая и паче милосердія.

„Тебя же, Николай, будутъ праздновать дважды въ годъ, на Николу Сухого и на Мокраго. И пусть чтутъ тебя всѣ слабые, голодные, вшивые и больные, всѣ погибающіе и преступные, христіане и язычники, и всѣ грѣшники по неволѣ и по перазмѣнью. Это тебѣ въ наказаніе за твои загрязненные ризы и за то, что ты приласкалъ мужика.

„Итакъ, идите, дѣти мои, съ миромъ и поступайте, какъ доселѣ поступали. Вижу Я, что хоть по-разному, но чисты ваши души и безупречны помышленія... Грядите во имя Мое“.

Поклонились святители Господу, облобызали край Его свѣточарной ризы и возвратились на землю, восхваляя вышнюю Премудрость.

Оглавленіе

ІХ тома

	стр.
Яма. Повѣсть. Ч. II	3

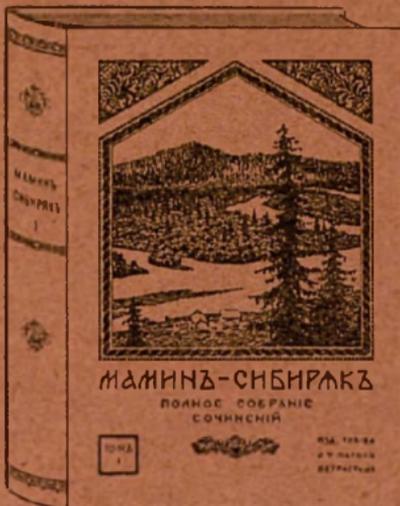
Разказы.

Сны	257
Фіалки	261
Садъ Пречистой Дѣвы	270
Два святителя	274

Контора „Нивы“ составляет долгом обратить внимание гг. подписчиков на то, что на изготовленных нами переплетных крышках к соч. Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. А. Бунина, А. И. Куприна и М. Метерлинка вытиснены: надпись „Заявление Отдѣлу Промышленности“ и утвержденная марка Товарищества, и что нашего изготовления являются только переплеты съ указанной надписью и маркой и только того рисунка, который изображенъ на помѣщенныхъ здѣсь снимкахъ. Съ своей стороны, Конт. ра будетъ преслѣдовать законнымъ порядкомъ всякую поддѣлку.

КРЫШКИ „Нивы“ 1915 г.,

НА ПРИЛОЖЕНИЯ



изготовленные изъ лучшаго англійскаго коленкора, съ красивыми тисненіями красками по рисункамъ художника Я. Я. Бельзена и др.

4 крышки на 1-ю серію полн. собр. соч. (въ 18 кн.) **Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА** (по одной крышкѣ на каждыя 4—5 книгъ).
Цѣна 1 р. 40 к., съ перес. 1 р. 65 к.

3 крышки на полное собр. сочиненій (въ 12 кн.) **И. А. БУНИНА** (по одной крышкѣ на каждыя 4 книги).
Цѣна 3 крышк. 90 к., съ перес. 1 р. 15 к.

1 крышка на новое произведеніе (оконч. пов. „Яма“) въ 2-хъ книг. **А. И. КУПРИНА**
Цѣна 1 крышки 30 к., съ перес. 45 к.

2 крышки на полное собр. сочиненій (въ 8 книг.) **М. МЕТЕРЛИНКА** (по одной крышкѣ на каждыя 4 книги).
Цѣна 2 крышкамъ 60 к., съ перес. 85 к.

Крышки имѣются красн., зелен. и рычн. и голубого цвѣтовъ. При выпискѣ крышекъ просимъ обозначать 2—3 желательныхъ цвѣта на случай замѣны распроданнаго цвѣта другимъ.

1 крышка на журналъ „Нива“ 1915 г.
Цѣна этой крышкѣ на полн. томъ журн. за весь годъ—1 р., съ перес. въ Европ. Россіи 1 р. 25 к.

3 крышки на 12 книгъ „Литературныхъ Приложений“ за 1915 г.
(по 1 крышкѣ на 4 книги). Цѣна 3 крышкамъ 1 руб., съ перес. въ Европ. Россіи 1 р. 25 к.

Выписывающіе одновременно крышки на соч. Мамина-Сибиряка, Бунина, Куприна и Метерлинка на „Ниву“ и „Литер. Прил.“, платятъ за совмѣстную перес. въ Европ. Россіи лишь 1 руб.

КРЫШКИ НА НИВУ и ПРИЛОЖЕНІЯ прочихъ лѣтъ:

Соч. Ростача, Тютчева, Гаршина, Помяловскаго. Цѣна 1 крышкѣ на полн. собр. соч. каждаго автора 30 к., съ перес. 45 к. Соч. Майкога, Вересаева, Мольера, Мейн, Горгунова, Фета, Уайльда. Ц. 2 крышк. на соч. каждаго автора 60 к., съ перес. 85 к. Соч. Гаупмана, Жуковскаго. Ц. 3 крышк. на соч. каждаго автора 90 к., съ перес. 1 р. 15 к. Соч. Андреева, Кудрина, гр. А. Толстого, Ибсенъ. Ц. 4 крышк. на полн. собр. соч. кажд. автора 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 45 к. Соч. Гамсуна. Ц. 5 крышк. на полн. собр. соч. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к. Соч. Успенскаго, Гейне, Гоголя, (гр. горювича, Бсб) рыкина. Ц. 6 крышкамъ на полн. собр. сочинен. каждаго изъ означенныхъ 5 авторовъ 1 р. 80 к., съ перес. 2 р. 30 к. Соч. Мельникова-Пескужаго, Данилевскаго, Гончарова, Тургенева. Ц. 7 крышк. для полн. собр. соч. каждаго изъ означенныхъ 4-хъ авторовъ 2 р. 10 к., съ перес. 2 р. 60 к. Соч. Писемскаго. Ц. 8 крышк. на полн. собр. сочиненій 2 р. 40 к., съ перес. 2 р. 80 к. Соч. Корилево. Ц. 9 крышк. на полн. собр. соч. 2 р. 70 к., съ перес. 3 р. 20 к. Соч. Салтыкова-Щедрина, (Танюковича, Лѣскова, Достоевскаго. Ц. 12 крышк. на полн. собр. соч. каждаго изъ этихъ 4-хъ авторовъ 3 р. 60 к., съ перес. 4 р. 10 к. Соч. Шеллера-Михайлова. Ц. 16 крышкамъ на полн. собр. соч. 4 р. 80 к., съ перес. 5 р. 55 к. Соч. Ант. П. Чехова. Ц. 9 кр. на полн. собр. соч. 2 р. 70 к., съ перес. 3 р. 20 к. Ц. 6 крышк. на 16 том. (1903 г.) 1 р. 80 к., съ перес. 2 р. 30 к. Ц. 3 кр. на дополн. 12 кн. (1911 г.) 90 к., съ перес. 1 р. 15 к.



Цѣна 1 крышки на полный томъ журн. „Нива“ за каждый изъ прошлыхъ годовъ 1 р., съ перес. въ Европ. Россіи—1 р. 25 к. Цѣна одному комплекту крышекъ на 12 книгъ „Ежем. Литер. Приложоній“ за каждый изъ прошлыхъ годовъ 1 руб., съ перес.—1 р. 25 к.

Требованія адресовать въ Контору журнала „НИВА“, Петроградъ, ул. Гоголя, 22.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1915 ГОДЪ

(46-й годъ изданія)

на еженедѣльный иллюстриро-
ванный

ЖУРНАЛЪ

со многими приложеніями.

НИВА

Гг. подписчики „НИВЫ“ получать въ теченіе одного 1915 года:

52 №№ еженедѣльн. художеств.-литер. журн. „НИВА“: повѣсти и рассказы, критич. и популярно-научн. очерки, біографіи, военные и политич. очерки и обзорія, рис. въ красках, снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстраціи съ театра военных дѣйствій.

52 книги, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдутъ:

12 КНИГЪ ежемѣсячнаго журнала „ЛИТЕРАТУРНЫЯ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ“: повѣсти, рассказы, популярно-научн. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями; и отдѣлы бібліографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.

40 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“ **40** книгъ,

которыя подписчики получаютъ въ теченіе одного 1915 года, содержатъ:

первую серію—18 книгъ
больш. формата
полнаго собр. сочин.

Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.

ПОЛНОЕ СОБР. СОЧИН.
въ 12 книгахъ

И. А. БУНИНА.

Новое произведеніе
(сконч. повѣсти „ЯМА“)
въ 2-хъ книгахъ

А. И. КУПРИНА.

ПОЛНОЕ СОБР. СОЧИН.
въ 8 книгахъ

М. МЕТЕРЛИНКА.

1 ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА средне-европейскаго и южнаго театра военных дѣйствій
подъ ред. проф. Ю. М. ШОКАЛЬСКАГО.

Въ 6 красокъ. Размѣръ 108×130 сант., въ масштабѣ 50 верстъ въ дюймѣ.

12 №№ „НОВѢЙШИХЪ МОДЪ“.
До 200 столбцовъ текста и 300 мол-
ныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящи-
комъ.

12 ЛИСТОВЪ: до 300 рукодѣльныхъ
и вышивальныхъ работъ и для выжиганія
и до 300 чертежей выкроекъ.

1 „ОТЪВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ“ на 1915 годъ, отпечатанный красками.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ“ со всѣми приложеніями на годъ:

въ Петро-) безъ доставки — 6 р. 50 к.
градѣ:) съ доставкой — 7 р. 50 к.

Безъ доставки 1) въ Москвѣ, въ конторѣ
Н. Печковской — 7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ
книжн. магаз. „Образованіе“ — 7 р. 50 к.

Съ пересылкою во
всѣ мѣста Россіи — **8** р.

За границу — 12 р.

Желающіе получить, кромѣ „Нивы“ 1915 г., еще собр. соч. Куприна (21 кн.), прилож. при
„Нивѣ“ 1912 г., доплачиваютъ 4 р. 50 к. съ перес. въ Европ. Россіи.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСЬ ВЫСЫЛ. БЕЗПЛАТНО ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАШЮ.

Адресъ: Петроградъ, въ Контору журнала „НИВА“, улица Гоголя, № 22.